

Анатолий Рыбаков

Мой 20 век

РОМАН-воспоминание

Анатолий Рыбаков



Анатолий Рыбаков

Мой 20 век



АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ

Роман-воспоминание



АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ

Роман-воспоминание

МОСКВА · ВАГРИУС ·
1997

УДК 882-94
ББК 83.3Р7
Р 93

ISBN 5-7027-0501-7

1

Воспоминания не поддаются точной хронологии. Написав три повести о детстве и три романа о юности, я смешал правду с вымыслом, трудно теперь отделить одно от другого.

Я родился в 1911 году 14 января в городе Чернигове. Из родильного дома мою мать и меня, завернутого в тулуп, дедушка на санях отвез в село Держановку, где работал отец. Мороз был под тридцать градусов, и всю дорогу дедушка держал палец у меня во рту: проверял, не замерз ли я.

В Держановке мой отец управлял винокуренными заводами. Помню большой помещичий дом в глубине просторного двора, в дом нельзя было заходить — там жил барин. Как-то он прислал нам садок с живой рыбой, и отец что-то выговаривал матери по поводу этой рыбы. Первое мое воспоминание о матери — ее испуганное лицо, об отце — искривленные в злой насмешке губы. Радость, испытанная мной при виде живых серебряных рыбок, была убита.

Однажды отец взял меня в поездку на завод. Для чего, не знаю, не любил ни меня, ни сестру, мы тоже не любили и боялись его. Самого завода не помню, но ощущения раннего детства возникают, когда я чувствую запахи солода, сусла и барды. Возвращались на линейке, теперь таких линеек нет, на нее садились верхом, в затылок друг другу, упираясь ногами в закрепленные стремена, впереди с вожжами в руках отец, за ним я, за мной кучер — рыхлый деревенский парень.

Лошадь бежала, попукивая: пук-пук... пук-пук. Это развлекало меня и отгоняло сон. Кучер, задремывая, приваливался ко мне, я поводил плечами, но молчал, боясь гне-

ва отца: обругал бы и меня и кучера. Я молча отталкивал кучера плечом, он пробуждался и отваливался.

Мы ехали вдоль леса по укатанной проселочной дороге. Вечерняя прохлада сменилась ночной теплынью. Взошла луна, осветив синим светом поля, ровными скатами уходившие за уже невидимый горизонт. Пугающая тишина леса, тоскливое однообразие бескрайних полей, освещенных таинственным лунным светом, — первое воспоминание о родной земле.

После революции до лета девятнадцатого года мы жили у дедушки, отца моей матери, в маленьком городке Сновске Черниговской губернии. Позже он был переименован в Щорс: в честь местного уроженца, героя гражданской войны. Сейчас, возможно, городку возвращено прежнее название.

Дедушку и бабушку со стороны отца я не знал. Дедушкой и бабушкой были для меня родители моей матери — Рыбаковы.

Я был старшим внуком, и дедушка меня очень любил. Широкоплечий чернобородый человек, очень красивый, в Москве, куда он приехал уже стариком, прохожие оборачивались ему вслед. У него было поразительной белизны широкоскулое лицо, оттененное черной цыганской бородой, и раскосые японские глаза с синими белками.

В молодости дедушка работал на строительстве железной дороги, таскал шпалы. Потом на скотобойне, гонял гурты, сбывал сельскохозяйственные машины и, наконец, обзавелся собственным делом — лавкой скобяного и москательного товара. Силы он был необычайной — ухватившись за рога, ставил быка на колени. Происхождение его фамилии — Рыбаков — мне не известно.

Бабушка моя из Гомеля, дочь ломового извозчика. К ней сватался тоже ломовой извозчик, и он уговорил своих товарищей отколотить дедушку, чтобы тому неповадно было ездить в чужой город отбивать невест. Они захватили дедушку на вокзале. Тот, кто видел драки ломовых извозчиков, знает, что это такое: бьются насмерть железными ломами, которыми закручиваются веревки на телегах. Дедушка вырвал у одного извозчика лом и вбежал в станци-

онный зал. Вокзал огласили крики перепуганных женщин, плач детей. Станционное начальство попряталось. С ломом в руках дедушка проложил дорогу через толпу, схватил мою будущую бабушку и сел в поезд. Венчались они в Сновске.

В городе и окрестных селах дедушку уважали за силу, бесстрашие и справедливость. Добрый человек, но вспыльчивый и скорый на расправу. Раздавал женатым сыновьям увесистые оплеухи. Докторов не признавал, от всех болезней употреблял гнилые яблоки — с хорошим поносом, по его убеждению, проходила любая хворь.

Я сам был свидетелем такой сцены. Два мужика украли у дедушки несколько полос железа. Никем не охраняемое, оно лежало возле лавки. Был базар, и как заметил дедушка воров в этой сутолоке, не знаю. Он выскочил из лавки. Увидев его, мужики бросили железо и стояли, оцепенев от страха. Один из них был знаком дедушке, другой нет. Собралась толпа. Кто-то предложил сбегать за милицией. Но дедушка не разрешил. Он велел отнести железо на место. Потом спросил у знакомого мужика:

— Как рассчитываться будем, Ничипор?

Тот молчал.

Ударом кулака дедушка опрокинул мужика на землю, изо рта и из носа у того шла кровь.

— Рассчитались?

Мужик молчал, утирая окровавленный рот.

Второго, незнакомого, дедушка не тронул. Он бил не за воровство, а за предательство — этому, знакомому, он раньше доверял.

До сих пор в моей памяти стоит москательный запах дедушкиной лавки, заставленной ящиками, лотками с гвоздями, мешками с краской, бочками с олифой, железом, косами, серпами, подковами, топорами.

Дедушка был торговец, честный, порядочный, трудолюбивый. С великими трудами добывал он «копейку» и заставлял домашних ее беречь.

Однажды моя мать, тогда еще девушка, несла из кухни в столовую керосиновую лампу. И вдруг раскаленное стекло упало ей на руку: она недостаточно плотно вставила его в лампу. Но она его не сбросила, а, осторожно ступая, до-

несла до столовой. Предпочла сжечь руку, нежели разбить стекло, стоившее несколько копеек. До конца жизни на руке матери оставался след от ожога.

Вместе с тем никто так не помогал другим, как дедушка, — человек состоятельный, он считал своим долгом выручать людей из беды.

Жила в городе вдова Городецкая, пекла и продавала на базаре булки, зарабатывала гроши, на них кормила кучу детей, оборванных и вечно голодных. Но задолжала богатому мучнику Фрейдкину, тот перестал отпускать ей муку. Кто может помочь? Конечно, Авраам Рыбаков.

Дедушка пошел к Фрейдкину и сказал:

— Долг ее выплачу я. А ты выдашь ей два пуда муки бесплатно. И чтобы было так, как я говорю. Так, и никак иначе.

Дедушка выплатил долг, Фрейдкин отпустил Городецкой муку, она снова начала торговать булками, прославляя дедушку на весь базар.

В двадцать шестом году, летом, я гостил у дедушки в Щорсе. Туда же из Америки туристом с женой и дочерью приехал дедушкин брат Сэм, богатый мебельный фабрикант. Жена, важная дама, обращала ко всем застывшую на лице улыбку, дочь была полна высокомерного презрения к этой дикой стране и ее жителям. Естественно, все родственники, близкие и дальние, являлись в дедушкин дом засвидетельствовать свое почтение знатным иностранцам. И каждому Сэм, гладковыбритый человек, совсем не похожий на дедушку, давал по доллару. Отворачивался, вынимал из толстого бумажника долларовую купюру и, хмурясь, вручал посетителю. Тень недовольства пробегала по дедушкиному лицу — чувствовал унизительность этой процедуры. Давая деньги, дедушка помогал людям, а его брат отделывался от них.

Сновск не напоминал традиционные нищие, подслеповатые еврейские местечки. Да таких и не было на Черниговщине, где еврейское население едва достигало двух процентов. Это был край черты оседлости, северо-восточная граница Украины, дальше начинались Орловская и Курская губернии. Сновск — русский город, большой железнодорож-

ный узел, окруженный зажиточными украинскими селами. Среди сновских евреев были потомственные паровозные машинисты, винокуры, лесоводы, врачи, дантисты, аптекари, учителя, управляющие имениями, арендаторы.

Дедушкин дом на Большой Алексеевской улице запомнился мне умиротворенной субботней тишиной, разительной в сравнении с базарной суетой будней. На столе белоснежная скатерть, тускло мерцают свечи, пахнет отварной рыбой и халой, дедушка расхаживает по комнате и читает молитву. Он был верующим в той степени, в какой должен быть верующим простой необразованный и деловой еврей, для которого вера — это, прежде всего, форма национального существования. Религия была его праздником, отдохновением от дел и забот, ее догмы — основой порядка, которым он жил, ее обычаи — условием сохранения на земле его гонимого народа.

Медленно и важно, заложив руки за спину, в парадном сюртуке и новом картузе шествовал дедушка по субботам в синагогу. Я нес за ним молитвенник и бархатную сумку с талесом. В Держановке мы жили среди русских людей, я говорил только по-русски, как и мои родители — интеллигенты социал-демократического толка, атеисты. И я, ребенок, тоже ни в какого бога не верил. Но отказать дедушке, увильнуть от этой обязанности не мог, и я нес за ним его молитвенник и сумку с талесом, пританцовывая на шатающихся досках деревянного тротуара.

Дедушка был староста синагоги. Обычно на эту должность выбирали человека состоятельного, чтобы мог и на синагогу дать, и бедным помочь, и с начальством поладить. Выбрали дедушку. Не самого богатого в городе, но его достоинство и мудрость были дороже любых денег. Выбрали его и начальником местной добровольной пожарной дружины, как человека решительного, крутого, умеющего твердой рукой наводить порядок и дисциплину. Мужчин туда принимали отборных, сильных, смелых. И вот, с одной стороны, дедушка — почтенный староста синагоги, с другой — начальник добровольной пожарной дружины: мчится на пожар, нахлестывает лошадей, свистит и гикает, ругается матом и лезет в самый огонь.

После революции дом у дедушки реквизировали, в нем разместился комсомольский клуб. При нэпе дедушка снова завел скобяную торговлю и купил маленький домик на той же Алексеевской улице в дальнем ее конце. Потом нэп ликвидировали, дедушку посадили в тюрьму, требовали золота, денег, но ничего не добились и выпустили. Тут же с бабушкой они, уже глубокие старики, уехали из Сновска.

Помню их приезд в Москву в двадцать девятом году. Я был тогда комсомольцем, считал, что торговцы сами ничего не производят и, следовательно, доходы их «нетрудовые». Но передо мной были мои дедушка и бабушка, всю жизнь они работали с утра до ночи, занимаясь единственным, чем вынуждены были заниматься многие евреи в царской России, — торговлей. Я видел двух раздавленных жизнью стариков, без крова, без угла, без средств к существованию.

Дети?! Один сын жил в Америке, другой в Палестине, третьего расстреляли, четвертый — «сын торговца» и сам бывший торговец — метался по России в поисках пристанища, пятый — комсомолец, отрекся от отца-«эксплуататора». Две дочери были замужем, имели семьи, жили в перенаселенных коммунальных квартирах, и зятья, которые много лет ели дедушкин хлеб, тяготились стариками. Но дедушка и сам никому не хотел быть обузой. Разоренный, выгнанный из дома, только что вышедший из тюрьмы, «лишенец», то есть лишенный права на труд, на заработок, на жилье, даже на хлебные карточки, он не пал духом, успокаивал и ободрял свою едва передвигавшуюся старуху жену, искал работу.

Людей раздражает вид чужого несчастья, собственные заботы мешают разделять чужие. У бабушки тряслись руки, она проливала суп, крошки застревали в дедушкиной бороде.

У меня ничего не было, кроме молодости, бесконечной жалости к дедушке и своей отдельной комнаты. В этой комнате старики жили со мной почти год.

Дедушка уходил рано утром и возвращался поздно вечером. Искал работу. Искал в синагоге, где собирались старые евреи, надеялся на их помощь. Они ничем не могли

ему помочь, но дома он говорил, что завтра, самое позднее послезавтра, получит «место». Он хватался за малейшую, самую призрачную надежду. Человек слова, верил словам других. Он шутил и смеялся. Голодный, уверял, что сыт, и в доказательство всегда что-нибудь приносил бабушке: кусочек селедки, половину крошечного бутерброда с баклажанной икрой, горстку винегрета, завернутую в бумажку. Улыбаясь, смотрел, как бабушка, присев у окна, медленно это съедала. Когда дедушка уезжал в Ленинград, где родственники подыскали ему работу, я провожал его на вокзал. Мы сели в трамвай. И по тому, *как* дедушка садился в трамвай, я понял, что за год жизни в Москве он садится в него впервые. Все длинные концы по городу совершал пешком. Не позволял себе потратить восемь копеек на билет. На эти восемь копеек мог принести бабушке горстку винегрета.

В Ленинграде дедушка устроился ночным сторожем при складе пустых бутылок, он помещался в сыром подвале. Получал восемьдесят рублей зарплаты, шестьдесят из них отсылал в Москву бабушке, двадцать оставлял себе на пропитание. Ни комнаты, ни угла не снимал, жил при складе. Очень дорожил местом, и когда заболел крупозным воспалением легких, не взял бюллетеня, перенес болезнь на ногах, отлеживаясь в сыром подвале, боялся потерять службу. А у него была бронхиальная астма.

Он уволился, только почувствовав приближение смерти — хотел умереть на родине. Заехал за бабушкой в Москву, и они вернулись в Щорс, где дедушка родился, был богат и почитаем, где они венчались, растили детей и внуков, прожили жизнь и где на окраине города им еще принадлежал маленький домик.

Приехав в Щорс, дедушка составил завещание: после его смерти все остается бабушке, а после ее смерти раздается бедным. К завещанию был приложен список давних дедушкиных должников и указано, что эти долги должны быть отданы на синагогу. Через десять дней, в возрасте 73 лет, дедушка умер. Перед смертью он написал детям письмо, в котором просил не оставлять бабушку.

Но детям не пришлось заботиться о ней. Похоронив де-

душку, она оставила себе только необходимое для обряда собственных похорон, а остальное свое жалкое имущество раздала тем, кто был беднее ее, сказала, что ей осталось жить три дня и она хочет, чтобы последняя дедушкина воля была выполнена при ее жизни. Ровно через три дня бабушка умерла.

Вера в нечто стоящее выше человеческих невзгод помогла этим старикам достойно завершить жизнь, конец которой был омрачен бедностью и страданиями. У меня сохранилась их фотография: бабушка — еще видная старуха в длинном традиционном еврейском платье и дедушка — чернобородый красавец с величественным, энергичным лицом и добрыми морщинками вокруг глаз.

Я очень любил дедушку. Воспоминания о нем до сих пор волнуют и трогают меня. Помню его сильные руки и засаленный сюртук, пропахший железом и олифой. Человек труда и долга, он умел творить добро, быть справедливым и никогда не терять веры в лучшее будущее. В жизненных испытаниях этот простой человек проявлял больше мудрости и стойкости, чем я. Он был неграмотен и жил миром, который существовал внутри него, — это был хороший и честный мир. Я был учен, жил миром, который окружал меня, и не всегда противостоял его лжи и несправедливости.

2

У дедушки было пятеро сыновей и две дочери. Моя мать — старшая.

Дедушка надеялся, что сыновья, как и он, будут торговцами. Торговцем стал только старший — Толя. Но, в отличие от деда, был торгаш, жадный и лукавый. Во время послевоенной денежной реформы за какую-то операцию с деньгами его осудили на десять лет лагерей. В лагере и умер.

Второй, Гриша, однажды ночью исчез и оказался в Америке, работал там шофером на грузовике. В тридцать втором году приезжал в СССР. Немудрящий человек, спокойный и деликатный. Советскую жизнь одобрял, только не понимал, почему людям запрещают торговать. Гордился значками, удостоверявшими, что в одной фирме он проработал много лет. Через год после возвращения из Союза в Штаты умер. Болел сердцем, но, боясь потерять право на какую-то особую пенсию, продолжал работать. Работа была тяжелая.

Третий — Лева, фантазер и мечтатель, носил пенсне, читал запоем, из него хотели сделать «образованного» человека. Помешали: процентная норма, война, революция, женитьба, а главное — его собственная ленивая созерцательность. В середине двадцатых годов уехал в Палестину, но вскоре там умерла его жена, он вернулся в Россию с двумя сыновьями, устроился в Ленинграде мелким служащим. Хороший был человек, какими часто бывают непрактичные и неумелые мечтатели. Был у него талант рассказчика, мог целый день, а то и ночь пересказывать виденные кинофильмы и прочитанные книги. Во время блокады из Ленинграда не уезжал, участвовал в его обороне и вскоре после войны умер.

Давид был самый младший, в семье его звали Дончик, худенький, мальчишеского роста, с ангельским лицом, но не-

добрым и мстительным характером. Комсомолец, потом член партии, всю жизнь доказывал, что еще в ранней юности порвал с отцом-торговцем. Я помню бесчисленные заявления, опровержения, сбор свидетельских показаний. Он работал в прокуратуре, болел диабетом, последние годы адвокатствовал. Умер в возрасте пятидесяти пяти лет. Ничем не был похож на своего отца, моего деда. Хорошо вписывался в общественно-социальный фон тридцатых годов.

И только один из сыновей, Миша, попав в горнило великих событий, поднялся до высоты дедушкиного характера. Доброта и отвага, проявление которых в дедушке было ограничено его положением торговца, переросли в дяде Мише — командире Красной Армии, участнике гражданской войны — в безоглядную щедрость и отчаянную храбрость. И внешне он больше других братьев походил на деда — широкоплечий крепыш с чеканным загорелым монгольским лицом и раскосыми глазами, сорвиголова. Другим сыновьям дедушка раздавал пощечины, Мишу колотил нещадно.

В конце первой мировой войны, шестнадцати лет, он сбежал на фронт, присоединился к проходящему кавалерийскому эскадрону. Три года не подавал о себе вестей, его считали погибшим, и вдруг он появился в Сновске: живописный красный командир в папахе, длинной кавалерийской шинели, перетянутой ремнями, с шашкой и пистолетом на боку, со звенящими шпорами на сапогах. Весь город им гордился, — герой гражданской войны, кавалер ордена Красного Знамени, ну, а я особенно — мой дядя! В доме полно оружия, в конюшне красавцы кони. Два дня он пробыл в Сновске, и я не отходил от него ни на шаг, куда он, туда и я, он меня не прогонял, добрый человек, бесшабашный, отважный, справедливый и бескорыстный. В революции обрел мужественную веру, заменившую ему веру предков, его прямой ум не выносил талмудистских хитросплетений, простая арифметика революции была ему понятней, гражданская война дала выход кипучей энергии, ясность солдатского бытия освобождала от мелочей жизни.

С ним мы чувствовали себя в безопасности, но вскоре он уехал, и снова начались страхи перед бандами, белыми, зелеными, разными «батьками» и атаманами, свирепствовавшими

в окрестных селах. Ночью по улицам ходили отряды местной самообороны: дети еврейских торговцев и ремесленников, рабочие депо и железнодорожных мастерских. На станции стояли воинские эшелоны, санитарные кордоны, заградительные отряды, лошади переступали копытами в вагонах... Мир разделился на белых и красных, я был за красных и гордился тем, что в дедушкином доме живет комиссар — матрос Крылов. Рассказывал своим товарищам всяческие небылицы о нашей с ним дружбе. Дружбы никакой не было, было преклонение мальчика перед сильным и грубым военным моряком, на которого я бессознательно переносил свое обожание и преклонение перед дядей Мишей.

Крылова боялись: он собирал контрибуцию и иногда вызывал к себе тех, кому полагалось ее платить, но которые ее не платили. В этих случаях меня отсылали из дому. Но однажды я вбежал с улицы, меня не успели остановить. На полу лежал длинный худой еврей, на нем сидел Крылов и бил его по голове кулаками. Тот извивался, корчился и плакал, грязно-серые штрипки кальсон торчали из-под задравшихся брюк. Крылов повернулся ко мне, и я увидел его налитые мутной кровью дикие глаза. На кухне жались перепуганные люди. Дедушка вошел вслед за мной, взял за плечи и вывел из комнаты.

Я сидел на улице. Прохладный вечер опускался на землю. Обрывки девичьих песен доносились издалека, где-то на огородах лаяли собаки. И эта вечерняя тишина, когда рядом в доме избивают человека, была страшной и угнетающей. На крыльце показался избитый еврей. Я смотрел на него с отвращением. Но кончилось и мое преклонение перед Крыловым. Нет, он не такой, как дядя Миша.

Осенью девятнадцатого года мы переехали в Москву. Ехали долго, месяца полтора или два по югу России, по Украине. Нигде гражданская война не бушевала так, как здесь. Этот переезд мне хорошо запомнился. Я видел дороги России, по которым катилась Революция — массы людей, поднятых неотвратимой стихией и брошенных в неизвестность.

Пассажирские поезда не ходили, наш вагон прицепляли к проходящим эшелонам. Мосты были разрушены, мы выбирались на действующие дороги в объезд, кружным путем. Леса, поля, деревеньки, белые хаты-мазанки, небо и равномерный

стук колес, потом опять шумные станции, вокзалы, воинские эшелоны, разутые красноармейцы, щеголеватые матросы, рабочие, мешочники, озверелые толпы людей, кидающиеся на проходящие поезда, люди на крышах, тормозах и буферах вагонов, митинги, плакаты, частушки.

На одной станции мы стояли очень долго. Из станционных зданий выносили трупы умерших от голода и от тифа. Грязные дети копошились на платформах. Небритые солдаты разводили на путях костры, что-то варили в котелках.

К нашему составу прицепили товарный вагон, в нем везли продовольствие для детских домов Москвы. Вагон был запломбирован. Каким образом узнали о нем красноармейцы, не знаю. Но узнали и окружили вагон. Командиры потребовали выдачи продовольствия. Начальник эшелона им отказал: вагон нетронутым должен быть доставлен в Москву. Командиры грозили, что красноармейцы все равно отберут продовольствие. Пока велись переговоры, толпа увеличивалась: голодные люди облепили вагон, взобрались на крышу, отшвырнули часового, затрещал замок, тяжелая дверь покатилась по рельсе.

И в эту минуту появился дядя Миша. Не могу понять, откуда он возник. Я увидел его, когда он уже вскочил в вагон и стоял, обращаясь к толпе.

Он не был ни трибун, ни оратор. Но он был *свой*. Отчаянный, лихой парень, которых так добродушно любит толпа, бесстрашный человек, привыкший управлять себе подобными, не дающий их в обиду, но и не позволяющий самовольничать. Никто или мало кто знал его здесь, но что это за человек, толпа угадала сразу.

О чем он говорил, я не помню. Важно не то, о чем говорил, важно, что стоял в дверях вагона, и для того, чтобы войти в вагон, надо было оттолкнуть его. А дотронуться до него никто бы не решился — застрелит первого, кто поднимет на него руку.

Потом он объявил, что в вагоне есть несколько мешков сухарей и эти сухари сейчас раздадут красноармейцам.

Сухари выдавали тут же, у вагона, один сухарь на человека. Солдаты подходили, каждый брал свой сухарь и отходил в сторону. Никто не пытался получить второй.

Сухари кончились. Начали выдавать крошки, по две горсти

на человека. Теперь подставляли шапки... Кончились и крошки. Нескольким солдатам ничего не досталось. С ними делились те, кто не успел дожевать свой сухарь. Командиры стояли в стороне, они не брали сухарей, хотя тоже были голодны. Дядя Миша зашел к нам в вагон, пошутил с моей матерью и исчез так же внезапно, как и появился.

Таким я видел его в последний раз, таким запомнил, таким представлялся мне истинный революционер. «Домой не ждите, пока не возьмем Варшаву», — так писал он дедушке, когда служил в конном корпусе Гая.

После гражданской войны дядя Миша был командиром расквартированной в Чернигове части. В городской тюрьме содержались трое его земляков-сновчан. По стране ходили тогда всякого рода денежные знаки: советские, царские ассигнации, карбованцы, керенки, деньги, выпускаемые разными правительствами, генералами, атаманами, даже уездами, объявившими себя республиками. Говорили, будто на деньгах, выпущенных Махно, было написано: «Гоп, куме, не журися, у батьки Махно гроши завелися». Возможно, это был анекдот того времени. Единственной и надежной валютой считались золотые царские монеты, на них можно было что-то купить у крестьян и перепродать. Однако это преследовалось, как спекуляция золотом. И вот трое сновчан на этом попались, сидели в тюрьме, им грозил расстрел. Их жены кинулись к Мише Рыбакову, видному человеку в Чернигове: дети останутся сиротами, что делать?! Дядя Миша знал этих людей, не считал их преступление таким уж значительным, начал хлопотать за них, хлопоты ни к чему не привели. Тогда со взводом солдат он явился в тюрьму и освободил арестованных.

За это трибунал приговорил его к расстрелу.

Его любили, никто не хотел его гибели, и предоставили возможность бежать, выдали дедушке на три дня на поруки. Факт невероятный, тем не менее это было так. У дедушки стояли наготове лошади. Но дядя Миша бежать отказался. Он объехал всех, кому задолжал: сапожника, портного — был щеголь, — роздал долги, попрощался с дедушкой и вернулся в тюрьму.

Безусловно, его расстреляли, однако никто не поверил в его смерть. Много лет после этого дедушке сообщали, будто

встречали дядю Мишу то в Харькове, то во Владивостоке, то вблизи румынской границы. Просто смерть такого человека должна быть абсолютно достоверной, чтобы в нее поверили: он так часто рискует жизнью, так удачлив, что кажется неподверженным смерти.

Но дядя Миша не был удачливым человеком, он был простодушен и прямолинеен, как и та короткая эпоха, в которую жил, — конец этой эпохи был и его концом. Он принимал жестокости войны, но жестокость без войны была ему отвратительна. Он мог стрелять, но не расстреливать. Он жил стихией гражданской войны, а революция и гражданская война — это лава, которую выбрасывают вулканы истории; разливаясь, она все сжигает на своем пути.

Дедушка был противником революции, дядя Миша — ее творцом. Оба они погибли в ее огне. Дядя Миша дрался за революцию, когда она несла людям освобождение. Он вступил с ней в конфликт, когда она начала карать поверженных...

Я рассказал здесь то, что запомнил о своем раннем детстве. Оно осталось в моей памяти мягкими красками украинского лета, огнем и громом российской гражданской войны, мелодиями еврейских молитв, их вековой печалью. Революция вошла в мое сознание, когда она утверждала принципы свободы и справедливости. Это были ее романтические годы. Но я видел и насилие. «Нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата» — на этой ленинской формуле воспитывалось мое поколение. Позже я увидел, какие страшные и бесчеловечные формы приняла эта формула, когда Сталин сделал ее краеугольным камнем своей государственной политики.

3

Мы приехали в Москву осенью тысяча девятьсот девятнадцатого года. Переезд (на телеге) с Брянского вокзала (теперь он называется Киевский) показался мне длинным, хотя расстояние до Арбата небольшое. Первое мое впечатление о Москве — мотоцикл с коляской. Мотоциклы я раньше видел, но с коляской — никогда. Я решил, что это детский автомобиль, и испытал восторг, который испытывает ребенок, впервые увидевший пони — маленькую, но живую лошадку.

Поселились на Арбате в доме номер 51, он существует и сейчас. Три восьмиэтажных корпуса тесно стоят один за другим, низкие арочные проезды соединяют два глубоких темных двора, прикрытых квадратами серого московского неба. В квартиры первого корпуса, просторные и солнечные (фасад выходит на Арбат и ничем не загораживается), после революции вселили рабочих, военных, «уплотнив» старых хозяев, шикарные раньше апартаменты оказались коммунальными. Наоборот, небольшие квартиры второго и третьего корпуса, тесные и темные, остались у прежних жильцов. В этом доме на втором этаже второго корпуса в квартире номер 87 я прожил до ареста, до ноября тридцать третьего года. В пятьдесят девятом году там умерла моя мать. Дом моего детства, моей юности, я описал его в «Кортике», в «Детях Арбата», он хорошо известен старым москвичам: долгие годы там существовал кинотеатр «Арбатский Арс», потом он назывался «Наука и знание». А соседний, 53-й дом знаменит тем, что в нем 18 февраля 1831 года поселились после женитьбы Александр Сергеевич Пушкин с Натальей Николаевной.

В моем доме и поныне сохранилась булочная, ранее при-

надлежавшая известному московскому хлебопеку Чуеву. Длинная очередь загибалась с улицы во двор, хлеб выдавали по карточкам — 100 граммов иждивенцу, 200 — работающему. Матери на весь день оставляли нас в очереди, ее номер химическим карандашом был выведен у каждого на ладони. Тревожное, холодное и голодное время. Говорили, что Деникин уже в Туле, в 180 километрах от Москвы. Мальчишки распевали частушки: «Я на бочке сижу, а под бочкой мышка», одни добавляли: «Скоро белые придут, коммунистам крышка», другие: «В Тулу красные придут, монархистам крышка».

Центральное отопление не действовало, квартиры отапливались железными печками-«буржуйками»: выведенные в форточку трубы тянулись через всю комнату, здесь же лежали и дрова, добытые неизвестно где; если дров не было, в ход шли мебель, книги. Лифт не действовал. Пальто, перешитые из старых солдатских шинелей, латаные, подшитые валенки зимой, рваные сандалии летом. В школе вместо горячего завтрака — кусок селедки с куском непропеченного хлеба. Рабочим с окраин было легче: они перебирались в свои деревни или привозили оттуда картофель, капусту, какие-то продукты. Жители Арбата продавали на Смоленском рынке свое барахло. Раз в месяц мы с мамой отправлялись к отцу на работу и на детских саночках привозили с другого конца Москвы его жалкий паек. Пустынный, затихший, холодный и голодный — таким был Арбат начала двадцатых годов.

Арбат — улица интеллигенции. В переулках между Арбатом, Пречистенкой и Остоженкой располагалась Старая Конюшенная — дворянское гнездо Москвы, а вокруг Поварской улицы (Хлебный, Серебряный, Скатертный, Столовый, Кречетниковский переулки, Собачья площадка) обитала когда-то царская кремлевская обслуга. Там же, в районе Никитской, жили профессора, преподаватели и студенты Московского университета. Возле Арбата на углу Никольского и Гагаринского переулков помещалась поликлиника ЦЕКУБУ — центрального комитета улучшения быта ученых. Школа в Кривоарбатском переулке, где я учился, тоже опекалась ЦЕКУБУ.

Мой отец — крупный инженер, семья естественно вписалась в интеллигентную арбатскую среду. В двадцать третьем году, когда жизнь в стране наладилась, у нас появилась высокая сухопарая француженка, больше смахивающая на англичанку. Служила раньше у богатых людей, почему после революции застряла в России, не знаю, на каких правах обитала в нашем доме, тоже не помню, вроде бы как жиличка, помогала маме по хозяйству и заодно обучала детей французскому языку. Жила со мной и сестрой в одной комнате, было неудобно и ей и нам, раздраженная, придирчивая, плохо владела русским, заставляла нас говорить друг с другом по-французски, изводила склонениями и спряжениями, придиралась к произношению, мы ее не любили, нашей матери она надоела своими жалобами. Вскоре ее сменила другая француженка, приходящая, жившая неподалеку с русским мужем, веселая, разбитная, средних лет особа, прошедшая огонь и воду, даже участвовала в гражданской войне с мужем — красным командиром. Скорее всего, он подобрал ее в каком-нибудь борделе, в лучшем случае, в бывшем барском доме, где служила горничной. Никакого образования не имела, но владела живым народным языком, заниматься с ней было весело и интересно, грамматикой нас не мучила, сама была в ней слаба, рассказывала на французском какие-то веселые истории, читали мы с ней Альфонса Доде, Виктора Гюго. К сожалению, занятия эти прекратились, в школе французский язык заменили немецким, но уроки мадам Луизы (по-русски ее следовало называть Елизавета Ивановна) пошли впрок, мы с сестрой читали, писали, разговаривали по-французски, до сих пор в моей памяти живы персонажи прочитанных тогда книг, и даже сейчас, через семьдесят лет, могу кое-как объясниться по-французски.

Ходила к нам и преподавательница музыки, половину нашей детской комнаты занимал рояль «Беккер». К занятиям музыкой я не выказал ни способностей, ни желания. Пионер, потом комсомолец, домашние занятия французским, музыкой я считал признаком буржуазности, часами разыгрывать гаммы и ганоны — пустой тратой времени. Я бросил занятия, а Рая, моя сестра, продолжала, поступила в му-

зыкальное училище Гнесиных, занималась у известного профессора Эйгеса. Некоторые ее черты я придал Варе — героине «Детей Арбата».

Этот период материального благополучия в семье был довольно короток и совпал с экономическим подъемом в стране, вызванным нэпом. Отец, беспартийный, как тогда говорили, «спец», получал оклад больший, чем его начальник: жалованье коммунистов, ограниченное «партмаксимумом», составляло, если не ошибаюсь, 175 рублей, затем Сталин его постепенно повышал — 225, 275 и наконец отменил, чем окончательно привлек на свою сторону партийную бюрократию. К тому же отец был изобретатель, рационализатор, изобретения его внедрялись в промышленность, что тоже оплачивалось.

Чтобы освободиться от импорта естественного каучука, в тридцатых годах в стране строились заводы синтетического каучука, сырьем для него служил спирт, выработанный из картофеля. Заводы к сроку не построили, а картофель завезли, громадные его бурты высились под открытым небом, появилась угроза порчи. Никто не знал, что делать. Отец объявил: если ему обеспечат полную свободу действий, независимость и безусловное выполнение его приказов, то весь картофель он переработает на крахмал. Выхода не было. Народный комиссар пищевой промышленности Микоян снабдил отца неограниченными полномочиями. Отец сконструировал крахмалоловушку (она носит его имя), установил ее на винокуренных заводах и за один сезон переработал весь картофель, за что был награжден большой суммой денег; об этом я, будучи тогда в ссылке, узнал из газет. Отец мог бы стать крупным ученым, изобретателем, промышленным деятелем, этому помешали его неуживчивость, раздражительность, мучительный педантизм.

Мной и сестрой отец не интересовался, никогда ничего нам не рассказывал, ни о чем не спрашивал, зато по любому поводу делал замечания: не так сидишь, не так держишь ложку, во время еды не разговаривай, почему смял салфетку, не кроши хлеб на стол. Эта удручающая фиксация каждого движения, этот неусыпный контроль были невыносимы. И тут же, кривя губы, выговаривал матери: «Твое вос-

питание». Если мы пытались объясниться, он обрывал нас: «Я не с вами говорю, а с вашей матерью. Помолчите!»

Гладко выбритый, высокий, красивый, с серыми, холодными, слегка выпученными глазами, аккуратно подстриженными усами, он был глуховат, переспрашивал, сердился; со службы возвращался заранее всем недовольный: неплотно прикрыта вторая дверь, тепло из квартиры уходит на лестницу, коврик для ног лежит не на месте, неужели коврик кому-то мешает. Что за люди! «Будем обедать?» — спрашивала мать. «Могу не обедать». За столом хмурым взглядом провожал каждое мамино движение, брезгливо осматривал тарелку, вилку, нож, ложку, хотя посуда сверкала: мать была очень аккуратна; молча сосредоточенно ел. «Второе будет?.. Ах, будет, спасибо!» Съедал все до крошки, и нас с сестрой заставлял съедать все до крошки: ничто не должно оставаться на тарелке, ничто не должно пропадать. Ботинки выставлял на ночь на подоконник, чтобы проветривались, каждый день чистил их в коридоре на расстеленной газете, всем мешал, но соседи молчали, не хотели с ним связываться.

Приходил ночью в детскую, зажигал свет, будил нас, переворачивал на правый бок — спать на левом боку вредно, с детства надо приучать себя спать правильно. Соблюдал порядок сам и требовал того же и от других, негодующий, раздраженный и агрессивный педант. Даже молчал с мрачным и обиженным лицом, готовый взорваться неожиданно, по любому поводу.

Слушая мать, презрительно кривил губы, обрывал: «Не говори глупости».

Я любил мать, жалел ее, страдал, временами ненавидел отца, но не мог преодолеть страх перед его леденящим взглядом. Не спал ночами, обдумывая, как завтра все ему выскажу, как оборву его, с этими мыслями уходил в школу, возвращался, наступал вечер, отец приходил со службы — и снова замечания, недовольство, а я не мог заставить себя произнести слова, которые придумывал ночью. Я был сильный и смелый мальчик, никого не боялся ни во дворе, ни на улице, ни в школе, презирал трусливых, мог дать отпор, умел драться, защитить слабых. Но дома я сам был слаб, это угнетало меня...

Как-то за ужином отец повысил голос, обращаясь к матери:

— Сколько раз тебе надо повторять?!

И тогда я сказал:

— Мама тебя не расслышала.

— Что, что?!

— Я говорю: мама тебя не расслышала.

Он выпучил на меня свои холодные серые глаза, повернулся к матери, скривил губы:

— Вот как мои дети со мной разговаривают, ты их восстанавливаешь против отца, подумай об этом, Дина. — Повернулся ко мне: — А ты — вон из-за стола!

Весь вечер я слышал из родительской комнаты раздраженный голос отца: выговаривал матери из-за меня. На следующий день она мне сказала:

— Толенька, прошу тебя, не спорь с отцом. Ты видишь, как он много работает, устает, у него неприятности на службе, мы должны его прощать.

Но прощать отца я не хотел. С того дня старался реже его видеть. Приходил из школы, обедал, делал уроки и уходил из дома: летом — на задний двор, играть в футбол, зимой — на Девичье поле, на каток или в кино.

А вскоре я поступил в один из первых пионерских отрядов при фабрике имени Свердлова — они создавались тогда на предприятиях. Явился в фабричный клуб в день пионерского сбора, подошел к вожатому и сказал, что хочу вступить в пионеры.

Передо мной стоял сероглазый русоволосый парень. Под стареньким вытертым пиджаком на косоворотку был надет пионерский галстук. Звали его Коля.

— Родные твои, отец-мать, где работают?

Я назвал учреждение, где работал отец.

— Там ты и должен поступать. Мы сюда принимаем только своих — фабричных.

— Там нет отряда.

— Организуйтесь. Соберитесь, пойдите в комсомольскую ячейку, проявляйте инициативу, создайте свой отряд. Чего стоишь?

— Куда я пойду? Служба отца у Красных ворот.

— А живешь где?

— На Арбате.

— Близко от нас... Завтра праздник, к утру мы должны клуб украсить. Останешься?

— Конечно.

— Становись в шеренгу.

Я пробыл в клубе до двенадцати ночи, мы рисовали и развешивали плакаты, лозунги, таскали столы и скамейки. У меня мелькнула мысль — позвонить маме, предупредить ее, что приду поздно, но сдержало опасение прослыть «маменькиным сынком», я понимал, что меня испытывают на самостоятельность — а ну покажи, каков ты есть... К ужасу мамы я явился домой за полночь.

Так я стал пионером. Во дворе и в школе косились на мой красный галстук, девочки ехидно спрашивали:

— Толя, ты что, в партию записался?

— Вот именно, в партию.

В отряд я ходил каждый вечер: собирали беспризорных в детприемники, пожертвования в пользу голодающих Поволжья, выступали в «Живой газете», высмеивали пьянство, ругань, неуважение к женщине, неуважение к другим народам.

На один слет в Хамовниках в большой актовый зал какого-то института к нам приехал Бухарин. Выступал, рассказывал о положении в стране, о том, чего добивается советская власть, о задачах молодежи, говорил просто, иногда даже весело и смешно, мы его избрали почетным пионером, надели красный галстук. В этом галстуке он шел с нами после слета по Большой Царицынской, посередине улицы, без охраны, невысокий, плотный, широкоплечий человек с бородкой и веселыми голубыми глазами, «любимец партии» — так называл его Ленин. Дошел до Зубовской площади, попрощался, я стоял рядом с ним, он хлопнул меня по плечу и сказал: «Давайте, ребята, помогайте Революции!» — и сел в поджидавшую его машину. Мы были преисполнены гордости и восхищения — вот какое значение придает нам страна.

В этом состоянии я пришел домой. И, войдя в коридор, услышал шум в родительской комнате, отец раздраженно выговаривал матери:

— Сколько раз нужно повторять?! Клади на место! Мне надоел этот сумасшедший дом!

Я вошел в комнату, отец уставился на меня.

Громко, чтобы он слышал, я спросил:

— Почему ты кричишь на маму?

— Что, что?

— Я спрашиваю, почему ты кричишь на маму?

Он стукнул кулаком по спинке стула:

— Как ты смеешь вмешиваться в наши дела?

— Не позволю кричать на маму!

Я думал, он бросится на меня. Но он вдруг всхлипнул и закрыл лицо руками:

— Хороший сын, хорошие дети...

Это было неожиданно. Я никогда не видел отца плачущим. Отец есть отец. Жалость шевельнулась во мне...

Отец отнял руки от лица, глаза были злые, сухие.

— Иди, иди в свою ячейку, в свой райком, пожалуйся на отца.

То, что шевельнулось во мне, погасло.

— Я никому не собираюсь жаловаться, но обижать маму не позволю. Запомни это!

И вышел из комнаты.

Несколько дней я не видел отца. Потом неожиданно вечером он сказал:

— Мне нужно поговорить с тобой.

Я отложил книгу, которую читал, поднял на него глаза.

Отец облокотился о крышку рояля.

— Я никогда ничего плохого вам о матери не говорил, ни тебе, ни Рае, не хотел вмешивать вас в наши отношения. Теперь ты вмешался сам. Так вот: ты должен знать — в нашем разладе виновата ваша мать. Она никогда не понимала моих стремлений, моих интересов, ей безразлична моя работа, ей нужна только моя зарплата. Она оттолкнула от дома моих сослуживцев, потому что ревновала к их женам, к каждой юбке ревновала. И вас настроила против отца...

Все, что он говорит, — неправда, я это хорошо знал.

И я сказал:

— Если люди не могут жить вместе, они должны разойтись.

Через месяц отец уехал работать на Ефремовский завод синтетического каучука.

В моей памяти мать сохранилась такой, какой была она в старости. Небольшая, полноватая, красивая, с густыми всегда хорошо уложенными седыми волосами, карими живыми глазами. Моя тетка, ее младшая сестра, говорила, что мама была хохотушкой и самой остроумной в их семье. Но в моей памяти осталось щемящее ощущение ее печали, незащищенности перед жизнью. Она была мягкой, деликатной, ни с кем не ссорилась, не спорила, старалась казаться веселой, никогда не жаловалась на отца, не хотела разлада в доме. Запомнились ее грустные песни: «Выстрел раздался, и чайка упала, издавши последний отчаянный крик...», «Помнишь ли день, как, больной и голодный, я унывал, выбивался из сил? В комнате нашей, пустой и холодной, пар от дыханья волнами ходил»... У мамы был хороший голос, ее приглашали петь на радио, нам с сестрой очень нравилась эта идея, но отец не разрешил.

Почему не помню ее молодой? Помню отца молодым, сестру девочкой, а вот мать только старой. Возможно, мы помним своих матерей такими, какими они были перед смертью? Или я сохранил ее в памяти такой, какой увидел после долгих лет разлуки, после тюрьмы, ссылки, скитаний по России, после войны, после возвращения, она была тогда уже седая, немолодая.

Когда отец уехал от нас в Ефремов, мать подыскала работу, стала «надомницей», какой-то тип вручил ей машинку «Оверлок» для трикотажной работы, являлся раз в неделю, забирал ее продукцию, выговаривал: «Это разве шов?! Это стежки?» Мать отвечала, что освоит эту работу, дальше пойдет хорошо. Но однажды вмешалась сестра. С характером была девочка: «Если вам не нравится мамина работа, отдайте в другое место». Эту сцену я и застал, когда пришел домой. «Ну да, вы портите изделие, а ваша дочь будет мне выговоры строить?» — возмутился тип.

Я сгреб все со стола, сунул ему в руки машинку:

— Чеши отсюда!

После этого мама ходила по квартирам, распространяла

билеты разных лотерей: Осовиахима, помощи голодающим Поволжья, еще чего-то... Я представлял, как она стучится в чужие двери, что-то кому-то предлагает, унизительное, конечно, занятие.

В тридцать третьем году меня исключили из комсомола и из института. Я скрыл это от матери, был уверен, что восстановят, делал вид, что уезжаю на занятия, «стипендию» зарабатывал, разгружая вагоны на Киевской-товарной. Но скрыть не удалось, от кого-то мама узнала, сразу поняла, чем это грозит, и с той минуты вся ее жизнь сосредоточилась на одном — как спасти меня. Предложила уехать к каким-то дальним родственникам, или даже в Нахичевань к знакомым нашей соседки-армянки. Я ее успокаивал, посмеивался над ее страхами, арест мне не грозит, наоборот, уехав, не сумею восстановиться, и это вызовет еще большие осложнения. Я ходил из одного учреждения в другое, ничего не добился. Тогда, минуя все инстанции, обратился к самому Сольцу, главному человеку, разбиравшему конфликтные партийные дела, чудом попал к нему, и он отменил мое исключение. Восстановили в институте, в комсомоле, но переубедить мать не удалось — она чувствовала приближение катастрофы.

Как-то, возвращаясь домой, я увидел ее у часовой мастерской, она делала вид, будто рассматривает выставленные за стеклом часы, а сама искоса наблюдала за воротами нашего дома, потом пошла назад, вглядываясь в лица прохожих, дошла до аптеки, перешла на другую сторону улицы и опять пошла вперед, вглядываясь в людей, входящих и выходящих из нашего дома. Так продолжалось долго, может быть, час, она кого-то высматривала, выслеживала... Наконец вошла во двор. Я догнал ее и спросил:

— Кого ты высматривала?

Она оглянулась — никого сзади не было, посмотрела на меня широко раскрытыми глазами:

— За тобой следят, их трое, вижу их здесь каждый день.

— Мама! Меня всюду восстановили, все кончилось. Выкинь эту муть из головы, не отравляй себе жизнь!

Она молчала, сутулилась, мелко кивала головой, будто у нее тик. Я не переубедил ее, она была во власти страха.

В доме ее настораживал каждый звук, она стояла у дверей, прислушиваясь к шагам на лестнице, взбиралась на подоконник: смотрела, кто идет к нашему подъезду, дрожащими руками поднимала трубку телефона — вдруг это меня вызывают *туда*?..

Я сел рядом с ней, взял ее руки в свои:

— Мамочка, дорогая, перестань волноваться, все прошло, кончено, та история уже всеми позабыта, не терзай себя.

Она молчала некоторое время, потом сказала:

— *Они* ничего не забывают и ничего не прощают.

Мать оказалась права, предчувствие не обмануло ее. Они пришли ночью, позвонили, я открыл им, один часовой встал у входных дверей, другой — у черного хода, уполномоченный прошел в комнату, предъявил ордер на обыск и арест. Я не знал, как впустить их в мамину комнату, что будет с ней, когда она увидит этих людей, но она уже не спала, стояла, опираясь локтями о крышку комода, запустив пальцы в волосы, прислушиваясь к тому, что делается в моей комнате. Молча смотрела, как уполномоченный перебирает вещи в шкафу, роется в чемоданах, рассматривает фотографии. Когда он вернулся в мою комнату, она вышла за ним в платье, наспех натянутом на ночную сорочку, жалко улыбаясь, подошла ко мне, провела дрожащей рукой по моим волосам.

— Гражданка, посидите в своей комнате, — сказал уполномоченный.

Эта казенная категоричность всегда пугала маму, а сейчас испугала особенно: она сделала такое, что может мне навредить.

— Может, всем лечь на пол? — спросил я.

Уполномоченный удивленно воззрился на меня.

— Мы живем одной семьей, моя мать имеет право здесь присутствовать.

Мама осталась.

Обыск продолжался часа два, забрали документы, записные книжки, институтские тетради, письма, уполномоченный спросил, где можно помыть руки.

И тут мать засуетилась, достала из шкафа свежее поло-

тенце и протянула уполномоченному с заискивающей улыбкой: может, *там* этот человек облегчит мою участь.

Рая потом мне рассказывала: мама месяцами разыскивала меня по московским тюрьмам, сутками выстаивала на морозе в тюремных очередях, готовила передачу и опять сутками стояла с ней у высокой тюремной стены, неделями высиживала в тесных душных коридорах у прокуроров, писала заявления, через какие унижения прошла, через какое хамство, грубость, бездушие — все это хорошо известно, это была жизнь миллионов наших матерей. И ее письма в ссылку, и ожидание моих писем, и беспокойство за то, что их долго нет или нет очередного письма (я их нумеровал), и волнения, не продлят ли мне срок, отпустят ли? Потом начались мои многолетние скитания, мне запретили жить в больших городах, и все же в России у меня был свой дом, я не имел права там появляться, и все равно это был *мой* дом — там жила моя мать... Приезжая в новый город, я прежде всего шел на почту и звонил в Москву: «Мама, я жив-здоров, здесь я лучше устроюсь, пиши мне до востребования...» Были дни отчаяния, когда не хотелось жить, но я не мог умереть, иначе умерла бы и мать. Частые переезды говорили маме о моей скитальческой жизни, я мог бы сделать попытку продержаться где-нибудь подольше. Но был осторожен, лучше смыться, чем попасть в их поле зрения...

Так я просуществовал до войны, мобилизовали меня в армию, стал я солдатом, и моя мать жила как все матери России, чьи сыновья были на фронте, общая беда уравняла всех.

Перед смертью мама тяжело болела, я привозил к ней лучших врачей, медсестра была при ней неотлучно. В этом ужасе болей, уколов, уже в бессознательном состоянии мама ждала меня и нашла в себе силы сказать: «Толя, я умираю». Она боялась смерти и в эти слова вложила всю свою надежду, свою веру в меня, в мою способность ее спасти. Не могла говорить, но эти слова держала в памяти, напряглась, сосредоточилась, чтобы не забыть, не упустить, и когда я вошел, произнесла их, не глядя на меня, обложенная подушками, бледная, с неприбранными седыми волосами — сидела, опустив голову, как бы сторожа эти слова, и, не поворачивая головы, произнесла: «Толя, я умираю».

Я похоронил мать на Востряковском кладбище. Врачи сказали, что смерть ее была неизбежна, помочь нельзя было. И все же до сих пор я живу с чувством вины перед матерью: все ли сделал для ее спасения?

После смерти матери отец, в возрасте 77 лет, привез новую жену из Ессентуков, медсестру, бывшую фронтовичку. Через год она с ним разошлась, разменяв по суду комнату на Арбате, отец дожил свой век в крохотной комнатушке при кухне на Сретенке, в коммунальной квартире, работал инженером в каком-то тресте. Мне было жаль старика, и как-то я пригласил его пообедать со мной в «Гранд-Отеле» — лучшем московском ресторане того времени.

Отец мало менялся с годами, только еще сильнее облысел и уже почти совсем не слышал. Перед тем как нам подали рыбную солянку, вынул из портфеля бутерброд с докторской колбасой, который обычно брал на работу и в этот день взял с собой, выложил его на тарелку и съел вместе с супом. Помню, как оторопел официант, увидя это. Отец был все такой же: ничего не должно пропадать, он по-прежнему боролся с потерями на производстве и в быту.

Умер 80 лет от роду, врачи подозревали рак, вскрытие обнаружило язву двенадцатиперстной кишки, не увиденную рентгенологом.

В крематорий пришли два-три его родственника и один человек со службы — представитель трудового коллектива. Прах отца — Наума Борисовича Аронова — я захоронил в могиле матери.

4

Школа в Кривоарбатском переулке, где я учился, была раньше женской гимназией Хвостовых — семьи либерально настроенных педагогов. После революции по настоянию Луначарского ее директором оставили прежнюю владелицу — Надежду Павловну Хвостову. Те же остались и учителя, преподавалась латынь, древнегреческий, французский, учили бальным танцам, революционные праздники не отмечались, общественная работа не велась. Школа числилась под эгидой ЦЕКУБУ, в ней учились дети арбатской интеллигенции, родительский совет содействия («Совсод») был настроен далеко не просоветски. Школа давала хорошее образование, некоторые ее выпускники стали впоследствии видными учеными, но все в области технических наук, далеких от коммунистической идеологии. Впрочем, в сталинские времена многие из них вступили в коммунистическую партию, а один даже оказался членом ее Центрального комитета. Но эта трансформация произошла потом, а пока школу, ранее прогрессивную и передовую, стали считать реакционной и ретроградной.

В годовщину Октябрьской революции (не то пятую, не то шестую) преподавателю литературы пришлось прочитать нам «Двенадцать» Блока: «Гетры серые носила, Шоколад Миньон жрала... С юнкерьем гулять ходила, С солдатьем теперь пошла...» — как все это читать детям? Наконец он добрался до слов: «В белом венчике из роз — впереди — Исус Христос...», посмотрел на нас, многозначительно поднял палец, но поспешил опустить его. Как объяснить присутствие здесь Иисуса Христа, тоже не знал, что-то мямлил до конца урока.

Учительница истории в тот же день на вопрос об ее от-

ношении к революции ответила: «В гражданской войне против большевиков погиб мой муж-офицер, как я должна относиться к революции?» Не могла заставить себя говорить неправду, знала, что никто из учеников не донесет, время всеобщего доносительства еще не наступило.

Однако именно из-за того, что в то бурное, все ломающее время школа сохранила свои традиции, свой наивный дореволюционный либерализм, она осталась в моей памяти как нечто по-старинному добропорядочное и благоустроенное. Была атмосфера старой гимназии, где учителя всем ученикам говорят «вы», где главными предметами были литература, история, иностранные языки, рисование, пение, дикция... «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...» Когда танцы заменили физкультурой, вела ее бывшая балерина, и гимнастика сопровождалась аккомпанементом рояля. На большой перемене продавщица в белом халате продавала сдобные булочки, рогалики — я до сих пор помню их вкус и запах. Дав рогалик дежурному, можно было во время большой перемены остаться в классе и «скатать» (переписать) у кого-нибудь невыполненное домашнее задание. Такого рода взятки брал Игорь Харитонов («Харя») — большой был обжора и охотно заменял других дежурных. По коридору парами прогуливались девочки, чистенькие, аккуратные, с косичками и бантиками. Популярными были стишки из дореволюционной пьесы «Иванов Павел»: «Царь персидский грозный Кир в бегстве свой порвал мундир... Укрощал бег конский сам Александр Македонский, коня назвал он Буцефал...» Любимая писательница, конечно, Чарская. Первые ученики: Чебышев — внук знаменитого русского математика, Антик — сын тоже знаменитого до революции издателя, братья Келдыши и другие будущие видные ученые. Я хорошо учился только по литературе и истории. Любил физкультуру. Напротив школы на другой стороне переулка была спортивная площадка, зимой заливали каток, летом играли в футбол. В 1929 году площадку отдали архитектору Мельникову, и он построил там свой уникальный дом в виде двух бетонных цилиндров с особыми шестиугольными окнами. Но это уже было после меня.

Между тем время шло, ввели нэп, страна быстро восстанавливалась, отменили продуктовые карточки, на Арбате появились частные магазины, снова возник Охотный ряд, и здоровые красномордые молодцы в белых фартуках рубили на колодах мясо. На Смоленском рынке, где во время гражданской войны несчастные старухи в старомодных шляпах продавали сломанные замки и медные подсвечники, теперь стояли палатки, торговали продуктами, мануфактурой, обувью. У китайцев покупали игрушки — шарики на резинке, резные бумажные фонарики, пищалки «уйди-уйди», по дворам ходили татары-старьевщики: «Старье берем, старье берем», через черный ход молочницы доставляли жильцам по утрам молоко, мужики — зелень и картофель.

В Москве появились частные издательства, в нашей школе учился сын владелицы издательства «Никитинские субботники», на Арбате сохранилось издательство Сабашниковых, известный эстрадный артист Смирнов-Сокольский выпускал газету «Куда идти, кому жаловаться». В арбатских кинотеатрах «Художественный», «Карнавал», «Арбатский Арс», «Прага» в фойе перед сеансами чечеточники выбивали чечетку, припевая: «Два червонца, три червонца или сразу пять, за червонцы, за червонцы можно все достать», в цирке знаменитые клоуны Бим-Бом выходили на арену с портретами Ленина и Троцкого, обсуждали, куда их поместить, решали: одного — повесить, другого — к стенке, «к стенке» означало в то время расстрелять. Революция позволяла тогда смеяться над собой — в этом была ее сила.

Мое поколение выросло на книгах, телевидения не было, радиовещание только начиналось. Конечно, театры, кино. У нас на Арбате — Театр Вахтангова, знаменита была тогда «Принцесса Турандот». В одном из переулков возле Арбатской площади — театр «Габима». И были театры Мейерхольда, Таирова, Революции, ТРАМ, множество разных студий, выставки авангардного искусства. Но каждый день ходить в театр, кино, на выставки — накладно, да и времени не было. А книга всегда с тобой. Дорогу новой, послереволюционной литературе прокладывал самый

ее оперативный жанр — поэзия. Многие писали тогда стихи. Даже одного нашего мальчика-третьеклассника напечатали не то в «Комсомольской», не то в «Пионерской правде» (в последующем он стал известным поэтом Евгением Долматовским). Мы ездили в Политехнический музей на вечера Маяковского, нам импонировал этот гигант-трибун, громовым голосом прославляющий революцию, остроумно парирующий реплики зрителей. Ездили в рабочие клубы, там выступали комсомольские поэты: Безыменский, Жаров, Уткин, Светлов, Голодный. Возле Арбатской площади, на Никитском бульваре, 8, был Дом печати, Маяковский выступал и там, но поговаривали, что больше времени проводит в бильярдной. Читали стихи Есенин, Мариенгоф, Рюрик Ивнев, Шершеневич.

На Арбате, на углу Староконюшенного переулка, в доме номер 27, в громадной квартире располагалось объединение писателей «Кузница», в этой же квартире многие из них и жили. Часто устраивались литературные вечера, читки, диспуты. Вход свободный, я туда захаживал — от моего дома это в двух кварталах. Как-то, перед тем как пойти, я позвонил и спросил, кто у них сегодня читает. Мужской голос назвал неизвестную мне фамилию и значительно добавил: «В обсуждении примет участие Александр Серафимович. А кто спрашивает?» На его вопрос я, естественно, не ответил, положил трубку и решил пойти: «Железный поток» только что вышел, имел успех, интересно посмотреть на его автора.

Комната большая, народу мало, «Серафимович, к сожалению, не сумел приехать». Сидевший за председательским столиком человек в пенсне, с пышной шевелюрой, ниспадавшей на воротник помятого пиджака, поминутно спрашивал:

— Товарищи, а кто звонил полчаса назад?

Этот же вопрос задавал каждому входящему: «Вы звонили, спрашивали насчет обсуждения?»

Даже во время читки то и дело недоуменно вопрошал:

— Кто же все-таки звонил?

Был этим очень озабочен, и все были озабочены: возможно, звонило какое-то видное лицо.

Ясно — речь шла о моем звонке, я, конечно, молчал, но был поражен, что такое незначительное обстоятельство может обеспокоить писателей, людей известных, свободных, независимых, так сказать, «учителей жизни», духовных наставников. Этот эпизод заронил тогда во мне сомнение в избранности писательской личности, оно укрепилось, когда я сам вошел в эту среду. Однако не поколебало мою любовь к литературе.

Мы продолжали ходить на выступления поэтов, диспуты и литературные вечера, лекции политических лидеров, новая жизнь кипела и бурлила вокруг. А наша школа по-прежнему жила по своим законам. Конечно, ничего антисоветского, просто молчаливое неприятие действительности. То, что происходило вне ее стен, даже не обсуждалось. Естественно, долго так продолжаться не могло. В «Правде» появился фельетон Михаила Кольцова «Драма в школе» — один из наших учеников покончил жизнь самоубийством. На смену Надежде Павловне Хвостовой пришла новая заведующая — член партии, из других школ в нашу перевели несколько комсомольцев-старшеклассников.

Среди них самой яркой личностью был Гриша Эйдинов, сын бурового мастера из Баку, типичный комсомолец начала двадцатых годов, летом — в кожаной куртке, зимой — в длинной кавалерийской шинели и кубанке, впрочем, вежливый, когда надо — благожелательный. Он сразу изменил общественную атмосферу, организовал комсомольскую ячейку, создал самоуправление, в школе стали отмечать революционные праздники.

Действовал по-большевистски. При выборах ученического комитета старшеклассники задумали провалить комсомольский список и провести свой. Гриша собрал сначала учеников первой ступени, малыши единогласно утвердили предложенный им состав. Собрание старшеклассников уже значения не имело — их было меньшинство. На обвинения в незаконности таких выборов Гриша ответил, что зал не вмещает всех учащихся, не кричал, не митинговал, говорил спокойно, рассудительно, убежденный в своей правоте, и мы, его сторонники, пионеры и комсомольцы, тоже

были убеждены в нашей правоте: не выбирать же в учком антиобщественников?!

Так же спокойно и рассудительно доказал Гриша на собрании родителей, что родительский совет содействия надо переизбрать: его деятельность противоречит линии партии в области народного образования. Все отлично поняли намек этого парня в кожаной куртке и безропотно переизбрали совет, включив в него трех коммунистов и двух рабочих, которые нашлись среди родителей.

Как-то в школу пригласили старика француза — доживавшего свой век в Москве участника Парижской коммуны. Чтобы ученики не разбежались после уроков, Гриша приказал запереть вешалку, закрыть двери, никого не выпускать. Встреча состоялась. Принуждать людей ходить на собрание безнравственно? А пренебрегать памятью героических парижских коммунаров, расстрелянных у стены Пер-Лашез, — это нравственно? Так рассуждали мы тогда. И я так рассуждал. И все же смущали испуг и растерянность, которые видел я на лицах учителей, многих учеников, особенно девочек — мы внушали им страх. Я старался подражать Грише — не кричал, уговаривал, убеждал. Но не получалось, как у Гриши: в его голосе была особая тональность, которой я не владел. Однажды он мне насмешливо сказал: «Либеральничаешь?» Вроде бы беззлобно сказал, но со значением, он все говорил со значением.

Мы во всем поддерживали Гришу, были его верным и преданным окружением, он олицетворял для нас новую, революционную мораль, находил время для каждого, внимательно выслушивал, давал ненавязчивые советы, ободряюще улыбался, у него были небольшие карие глаза, то ли усталые, то ли грустные, мясистый нос, откинутые назад черные прямые волосы. В лице была некая асимметрия, может быть, из-за чуть скошенного рта и чуть отвислой нижней губы. Нам нравилось, что он с Кавказа, рассказывал о Сураханах, Балаханах, Биби-Эйбате, нефтяных промыслах, о бакинском пролетариате, о двадцати шести бакинских комиссарах, убитых англичанами...

В декабре 1925 года покончил с собой Есенин. Его тело привезли из Ленинграда. Я и еще несколько ребят пошли

на панихиду в уже упомянутый мною Дом печати на Никитском бульваре. На фасаде дома висел большой плакат: «Умер великий поэт». Народу было много. После панихиды гроб вынесли, и многолюдная похоронная процессия двинулась по Никитскому и Тверскому бульварам. Всю дорогу гроб несли на руках, два раза обнесли вокруг памятника Пушкину. На Ваганьковском кладбище опять выступали с речами. Как и в Доме печати, я их не слышал, там я стоял во дворе, здесь — далеко от могилы. Я знал, что у Есенина было много поклонников, но и много врагов, называвших его «кулацким поэтом», преследовавших и бранивших его в печати... «Но, обреченный на гоненье, еще я долго буду петь, чтоб и мое степное пенье сумело бронзой прозвенеть». Я знал, что он пьянствует, устраивает скандалы, но любил Есенина, грусть его поэзии, чудесное сплетение слов... «Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне...», «О Русь, малиновое поле и синь, упавшая в реку, люблю до радости и боли твою озерную тоску»... Пронзает сердце.

Смерть Есенина взбудоражила молодежь. Этого не могла скрыть и затушевать даже мощная государственная пропагандистская машина. Были случаи самоубийств, были собрания, выступления, направленные против режима, толкнувшего на смерть лучшего поэта России. Комсомольский поэт Иосиф Уткин, и тот написал: «И кроме права жизни, есть право умереть». В нашей школе было объявлено, что ближайшее заседание литературного кружка посвящается памяти Есенина и на него приглашаются все желающие.

Гриша тут же собрал комсомольцев, сказал, что заседание литкружка, посвященное Есенину, будет носить антисоветский характер и мы обязаны дать этому отпор, должны пойти на это заседание, выступить и защитить партийную точку зрения на творчество Есенина и на факт его самоубийства.

— Первым выступишь ты, Толя, — сказал он мне.

— Почему именно я?

— Ты вроде бы знаток Есенина. Даже был на его похоронах.

— На похоронах я был, но это не значит, что знаток.

— Пошел просто поглазеть?

— Нет, пошел потому, что считаю его крупным поэтом.

— Считаешь крупным? Значит, знаешь его. Вот и выступи, только с наших, партийных позиций выступи.

— Против Есенина выступать не буду.

— Это комсомольское поручение.

— Не комсомольское, а лично твое.

— Проверим! — Он обратился к собранию: — Как? Будем выступать? Дадим отпор антисоветчикам?

Вскочил Левка Бычков, Гришин подлипала. По школе ходило ироническое стихотворение про Гришу («Наш предучком и господин»), в нем были строчки: «И, ожидая приказаний, Бычков трепещет перед ним».

— Конечно, мы все обязаны выступить, — объявил Левка Бычков.

И хотя *все* молчали, Гриша сказал мне:

— Видишь, что думают другие комсомольцы?

— Я выступать не буду.

— Отказываешься? Хорошо! Обсудим и сделаем организационные выводы.

Однако давать отпор и делать «организационные» выводы не пришлось. Накануне заседания кружка Гриша опять собрал нас.

— Мы не пойдем на их заседание, не будем помогать им раздувать истерику в школе. Поболтают и разойдутся.

Неплохой тактик, Гриша сообразил, что ничего хорошего дискуссия не даст. Комсомольцы начнут цитировать казенные фразы из газет, а поклонники Есенина будут читать его стихи, победа окажется на их стороне. И не надо ввязываться. Умел маневрировать, не допускал поражений.

Школьный драмкружок вела Елена Павловна — сестра бывшей заведующей школой, в прошлом актриса. Ставили русскую драматическую классику. Играли ребята хорошо.

Гриша пригласил Елену Павловну на учком, любезно пододвинул ей стул и, улыбаясь, сказал:

— Елена Павловна, нам кажется, следует ввести в репертуар современные пьесы.

— Какие?

— Хотелось бы видеть на сцене жизнь рабочих и крестьян, а не только дворян и купцов.

Она пожала плечами. Пожилая представительная женщина с хорошей актерской осанкой.

— Мы ставим Островского, Гоголя, Грибоедова, Фонвизина, ничего другого они не писали.

— Есть и наши, советские авторы.

Она снова пожала плечами:

— Мы репетируем «Ревизора»... Не знаю... Может быть, в будущем году.

— Нет, Елена Павловна, мы хотим, чтобы к Первому мая вы поставили какой-нибудь революционный спектакль.

— Но до мая осталось два месяца, это невозможно! Пьесу надо выбирать, спектакль надо готовить. Я не могу делать кое-как, я ученица Станиславского.

— Значит, вы отказываетесь?

— В мае мы даем «Ревизора», ничего уже изменить нельзя.

— Что же, спасибо, Елена Павловна.

Она вышла.

— Поставим вопрос перед дирекцией, — сказал Гриша.

Я спросил:

— Думаешь, ее заставят?

— Пьесы советских авторов ей чужды, — ответил Гриша. — Ничего, найдут другого руководителя драмкружка.

Для меня Елена Павловна была неотделима от школы. И она права: за два месяца подготовить спектакль, да и неизвестно по какой пьесе, — невозможно.

— Как же можно ее заменить? — возразил я. — Она в школе много лет.

— Романовы правили Россией триста лет, и то прогнали. — Гриша помолчал, посмотрел на меня, сузив глаза: — Пора избавляться от интеллигентщины, Толя!

Замены руководителя драмкружка он добился.

Гриша пришел к нам в последний, девятый класс, окончив его, ушел на комсомольскую работу и вскоре стал секретарем самого престижного в Москве — Краснопресненского райкома комсомола. Мы этому не удивились — прирожденный политический лидер.

В начале тридцатых годов я, отовсюду исключенный, явился на разбор своего дела в Московский комитет комсомола. На диване, окруженный парнями и девушками, сидел Гриша в своей длинной шинели и кубанке. Пристально и сурово посмотрел на меня, отстранив этим взглядом, и отвернулся. Не хотел узнавать.

Гриша сделал большую партийную карьеру, стал секретарем Центрального комитета компартии Белоруссии, после войны его перевели в Москву, на ответственную работу в Совет Министров.

Мы встретились с ним почти через 35 лет. В декабре 1965 года он неожиданно позвонил мне, сказал, что читает мои книги, и предложил зайти, поболтать. Я работал тогда над «Детьми Арбата», успел опросить многих людей, знавших Сталина, подумал, что и Гриша наверняка встречался с ним, расскажет что-либо, и поехал в новый «цековский» дом на Ленинградском проспекте. Грише было уже под шестьдесят, появилось сановное брюшко, лицо стало одутловатым, отчего еще очевидней проступала его асимметрия. Он провел меня в большой полутемный кабинет, уставленный дорогими книжными шкафами, книги лежали и на столе рядом с газетами и журналами — кабинет крупного партийного деятеля, к тому же интеллектуала, участливо расспросил о матери, сестре, знал их когда-то. Зашел разговор и о Хрущеве.

— Тысячи вредителей за десятки лет не могли бы нанести столько вреда стране, сколько нанес Никита, — сказал Гриша. — Он оплевал самый героический отрезок нашей истории. Я знаю, Толя, ты пострадал, многие пострадали, и все же это было великое время. Классовая борьба была, есть и будет. Все разговоры о мирном сосуществовании с буржуазией — ерунда. Если мы им будем уступать, они будут наступать.

Как и в юности, он говорил спокойно, не повышая голоса, но, глядя на Гришу, я вдруг подумал, что асимметрия лица, отвислость губы иногда признаки некой психической аномалии даже у людей одаренных, а простота, сердечность, участливость — мимикрия, способностью к которой обладают «сдвинутые» натуры. Поэтому и сумел

так приспособиться. Вокруг него падали и сослуживцы, и родственники, а он уцелел, хотя по своей интеллигентности никак, казалось, не вписывался в среду партийных аппаратчиков, значит, умел держаться так, чтобы ничем не уязвлять их посредственность. Начинал как человек яркий, но быстро сообразил, что в сталинской системе яркие личности сгорают мгновенно. За эти десятилетия его ум закостенел в привычных догмах. Другим он быть не мог. А возможно, и не хотел зачеркивать свою жизнь.

— Ты встречался со Сталиным?

— Пройдут годы, и люди будут помнить только его победы.

Это все, что он сказал о Сталине.

Больше мы не виделись.

Он умер в 1977 году. Панихида в 3-м доме Советов на Садово-Каретном, по среднепартийному разряду, умильно казенные речи, родственники возле гроба.

Почему я приехал сюда?

Вместе с ним уходила из жизни часть моего детства, моей юности, он был одним из немногих, кто сохранился. То страшное тридцатилетие мы прошли разными дорогами. Его путь был мне глубоко чужд, но этим путем шел не он один. Он олицетворял *перерождение* идеи, в которой я вырос. Воскреснет ли идея или перерождение приведет к ее краху — этого я тогда не знал.

5

Бывшую Хвостовскую гимназию не удалось переделать на советский лад: других учеников на Арбате не наберешь, всех педагогов не заменишь. Из девятилетки ее превратили в семилетку, а потом и вовсе расформировали. В 1926 году по окончании седьмого класса я перешел в другую школу.

Завершался революционный период советской истории. С двадцать седьмого года началась эпоха антиреволюции, приведшая в итоге к крушению Советского государства. Но социальная революция не обрывается в один день, даже если истребляются ее руководители. Революционные преобразования надолго внедряются в сознание и быт людей.

Восьмой и девятый классы я закончил в московской опытно-показательной школе-коммуне (сокращенно МОПШКа, учащиеся называли себя «мопсами»), находилась она во 2-м Обыденском переулке на Остоженке. Создал ее старый большевик Лепешинский как коммуну комсомольцев, вернувшихся с гражданской войны. Юные солдаты революции учились грамоте, начиная с азов, ходили в наряд, несли патрульную службу, воевали с бандитами, хулиганами, работали с беспризорными. Наш соученик Костя Ерофицкий был одновременно секретарем Хамовнического райкома комсомола.

Вскоре школа стала уникальным, единственным в своем роде учебным заведением, подчиненным непосредственно Народному комиссариату просвещения РСФСР. Школу возглавил выдающийся советский педагог Моисей Михайлович Пистрак, преподавали Березанская, Перышкин, Кабо — авторы учебников, знакомых многим поколениям школьников, — новаторы, прививавшие своим ученикам вкус к самостоятельной работе, самостоятельному мышлению. Занятия начинались в девять утра и кончались в шесть вечера. Первая половина

дня — самостоятельная работа в кабинетах над заданной темой. После обеда классные занятия с преподавателем. К сожалению, литература сводилась к примитивной социологии: герои «Мертвых душ» — небокоптители, Гамлет — выразитель рефлексирующей буржуазии. Уроками пения манкировали, танцы почитались мещанством. И только учитель рисования самоотверженно пытался приблизить к искусству этих, хотя и молодых, но суровых людей, все оценивавших с точки зрения практической полезности делу социализма и мировой революции.

Недостаток эстетического воспитания восполняли мы сами: много читали, ходили в театр, в кино, была и собственная художественная самодеятельность, распространенная в те годы «Живая газета». Руководил ею старшеклассник Яша Полонский, играл на рояле — самоучка, сочинял стихи, подбирал к ним музыку — причудливую смесь революционных песен, вальсов, старинных романсов, мелодий оперетт. Строй «Живой газеты» — мальчики и девочки (рубашки и кофточки белые, брюки и юбки — черные) — выходил на сцену под звуки марша, декламируя:

Мы, сотрудники газеты,
Не артисты, не поэты,
С мира занавес сдерем,
Всем покажем и споем.
Что в Марокко? Все морока!
Что у вас сейчас под боком,
Как во Франции дела,
Как экскурсия прошла,
В школе что теперь у нас,
Как в Италии сейчас?
Что в деревне? И короче:
Обо всем ином и прочем!

Затем, опять же под музыку, следовали всякие построения, пирамиды и опять декламация. Такое было веселое и живописное зрелище. «Живая газета» выступала часто, Яша обновлял репертуар, сочинял тексты быстро, разукрасил своими стихами даже столовую:

Перестаньте шуметь!
Бросьте разговаривать!
Пищу надо переваривать.
Тише эти, ша — и те!
Вы жевать мешаете!

Способный был парень. Погиб на фронте во время Отечественной войны.

Время шло. Кончали школу и уходили первые ее воспитанники-коммунары, в интернате в Мертвом переулке их оставалось человек пять-шесть. Остальные ученики были приходящие, жившие дома. Высокий уровень преподавания сделал школу одной из лучших в Москве, обучать там своих детей стали многие видные государственные деятели — невдалеке были Кремль, 5-й дом Советов на Грановского, позднее и Дом на набережной. Однако руководители школы не хотели превращать ее в элитарную и набирали детей рабочих Москворецкой текстильной фабрики и других ближних предприятий, традиции и образ жизни, заложенные в школе коммунарами, сохранились на долгие годы.

Мы сами раздавали еду в столовой, мыли посуду, убирали классы и двор, чистили снег, сажали деревья, кололи дрова, работали в столярной, слесарной и переплетной мастерских, для получения «трудовых навыков» проходили производственную практику на заводах и фабриках. Тон школьной жизни задавала комсомольская организация. По-прежнему царил дух коллективизма, бескорыстия, нетерпимости к карьеризму и себялюбию. Два раза в году устраивались «самохарактеристики», когда каждый комсомолец обсуждался на собрании ячейки: каковы его достоинства и недостатки, моральные качества. Процедура не слишком приятная — сиди и слушай, как тебя честят. Но если чувствовали в выступлении личную неприязнь, кричали: «Личные счеты! Личные счеты!» Умели быть беспристрастными.

В коридоре стояли стеллажи с открытыми ящиками, мы их называли «клетки». Каждый ученик имел свою клетку, где оставлял сумку, книги, тетради, забирая только нужное для очередного занятия. В одну клетку подбросил письмо ученик восьмого класса Ян Дзержинский, сын знаменитого чекиста,

внешне, однако, не похожий на своего сурового отца: невысокий, полноватый, неуклюжий мальчик в очках, застенчивый, даже робкий, «тюфячок». «Кремлевских» мы не слишком охотно принимали в комсомол, нам казалось, что бытовое благополучие придает им некую буржуазность. В конце концов, конечно, принимали. И Яна Дзержинского приняли. Его письмо было озаглавлено так: «Всем, кто захочет читать». Ян писал, что его отец был великий человек, а он, Ян, чувствует свою неспособность приносить пользу обществу, свою ненужность: письмо подростка, трудно переносящего переходный возраст. Оно стало предметом обсуждения. Никакой насмешки, просто диспут о значении великих и обыкновенных людей, в равной степени нужных человечеству. Дальнейшей судьбы Яна я не знаю, вроде бы она сложилась благополучно.

Среди оставшихся в интернате «коммунаров», в сущности, уже взрослых парней и девушек, двое — Занегин и Леонова — жили как муж и жена. Ему восемнадцать, ей — девятнадцать, поздно начали учиться, поздно заканчивали школу, носили защитного цвета форму «юнгштурма» — военизированной молодежной организации немецких коммунистов, — костюм, популярный тогда у московских комсомольцев. Ребята были авторитетные, так сказать, хранители традиций, но их хождение по коридору в обнимку, открытость их отношений противоречили нашим представлениям о любви, об интимности этого чувства. Педагоги не вмешивались — через несколько месяцев Занегин и Леонова уйдут из школы, вместе с ними уйдет и этот рудимент старой комсомольской коммуны. Мы к их «телячьим нежностям» относились иронически, но помалкивали.

Однажды Леонова получила телеграмму без подписи: «Раскаиваюсь зпт люблю по-прежнему зпт встретимся обычно». Рассвирепевший Занегин потребовал выяснить, чья это «провокация». Безусловно, это была проделка одного из «мопсов», однако никто не признался. Мы пытались убедить Занегина, что телеграмма не более как глупая шутка, не стоит обращать внимания. Но он не уступал, требовал расследования.

Обсудили инцидент на бюро комсомольской ячейки. Директор школы Моисей Михайлович Пестрак сказал:

— Шутник не признается, это свидетельство его трусости.

Но в школе учатся дети, и афишировать у них на глазах свои уже взрослые отношения Занегину и Леоновой не следует.

Мы поддержали «Мойшу» (так дружески и ласково называли за глаза нашего директора). Конечно, Занегин и Леонова любят друг друга, мы уважаем их чувства, но школьный коридор не место для объятий.

Занегин и Леонова посчитали наши доводы «мещанством». Впрочем, вскоре они кончили школу, и проблема их поведения исчезла. Мы остались друзьями. Просто мы были люди разного возраста и другого поколения. Мы не были ханжами, но и не допускали распущенности, а также того, что почитали «пошлостью»: игр в фанты с поцелуями, любовных записочек, как бы нечаянного «тисканья и щупанья». Бывала открытая дружба, взаимная симпатия, их не скрывали, но и не бравировали ими. Мальчик провожал девочку домой, помогали друг другу делать уроки, — «они дружат», так формулировали мы их отношения, не допуская злословия, сплетен, вымыслов, домыслов.

Я дружил с Леной Розенгольц. Очень красивая девочка, на один класс младше меня, черноволосая, с матовым лицом и чуть вывернутыми ярко-красными губами. В ее облике, манерах, улыбке, глубоком и часто печальном взгляде исподлобья было что-то мило застенчивое: недавно вернулась из-за границы, попала в непривычную обстановку, не освоилась с нашим образом жизни. И вот влюбилась в меня. Я был смазливый мальчишка, к тому же комсомольский вожак, твердый, уверенный, убежденный. Может быть, ко мне, как к более сильному, ее и потянуло. И она мне нравилась. К тому времени я был уже не мальчик, а Лена в свои шестнадцать лет выглядела зрелой девушкой, чувственной, притягивающей. Еще с двумя мальчиками из ее класса мы составили компанию, в которой я был вроде как главный, она — моя подруга, они, так сказать, наше окружение. Встречались у нее, в 5-м доме Советов на улице Грановского. Отец ее, Аркадий Павлович Розенгольц, был народным комиссаром внешней торговли, видным государственным деятелем, старым членом партии. Я его никогда не видел, как узнал потом, он с матерью Лены разошелся вскоре после возвращения из Англии, где был нашим послом.

Мы сидели у Лены, болтали, ставили пластинки Вертинского, Лещенко... «Чубчик, чубчик, чубчик кучерявый, развевайся, чубчик, по ветру...» Лена привезла пластинки из-за границы — недоступные нам эмигрантские песни, мы слушали их с удовольствием. Квартира большая, у Лены отдельная комната, и в подъезде швейцар спрашивает, к кому идете, звонит наверх — можно ли пропустить... Все это придавало дому некую сановность, а привезенные из Англии мелочи — европейскость... Но чопорности не было, мы себя чувствовали свободно, швейцар в подъезде — правильно, живут здесь народные комиссары, крупные военачальники, мало ли кто может сунуться, заграничные безделушки — почему не привезти, не бросать же их в Англии? Сами мы жили в коммунальных квартирах, пользовались только своим, советским, но отчужденности от правящей элиты тогда не чувствовали, были объединены общей идеей, уважали своих руководителей, в прошлом таких же рабочих или интеллигентов, как наши родители, понимали, что ответственность, которую несут они за страну, требует сносных бытовых условий; привилегиями мы это не считали, привилегии появились позже, когда власть отделилась от идеи, а правящая элита от народа.

И Лена держалась как равная, была сдержанна, не болтлива, больше слушала, казалось, тяготилась правительственным домом, просторной квартирой, отдельной комнатой, никогда не говорила о своих соседях. Помню, только один раз упомянула громкое имя.

В Москву приезжали знаменитые американские киноактеры — Дуглас Фербенкс и Мэри Пикфорд. Поклонники запрудили площадь Белорусского вокзала, забросали их цветами. Эту встречу мы смотрели в кинохронике. И когда вышли из кино, Лена рассказала нам: руководитель советского кинематографа Шумяцкий предложил Дугласу и Мэри сняться в совместном советско-американском фильме. Фербенкс согласился, но запросил чуть ли не миллион долларов. Шумяцкий такую сумму отклонил, заметив при этом шутливо, что его, Шумяцкого, оклад составляет всего 225 рублей, что по официальному курсу вроде бы равнялось 200 долларам. Фербенкс был поражен: Шумяцкий, в его представлении «хозяин», владелец кинематографии огромной страны, получает всего 200 долларов в месяц.

Несколько минут он молчал, потом хлопнул Шумяцкого по плечу и ободряюще сказал: «Ничего! Форд тоже с этого начинал».

Мы смеялись. Дуглас Фербенкс не знает даже, что кино у нас не частная, а государственная собственность, что у нас есть партмаксимум, то есть зарплата любого коммуниста, будь он даже наркомом, не должна превышать зарплаты квалифицированного рабочего, смеялись над тем, что председателя Совкино Шумяцкого Дуглас Фербенкс сравнивает с Фордом.

Лена рассказала про этот случай со своей стеснительной улыбкой, но я заметил: ее смущение было сильнее обычного, боялась, что этим рассказом подчеркивает свое знакомство с Шумяцким.

Меня очень трогала ее застенчивость, робость, незащищенность, именно из-за этого наши отношения остались платоническими. Я вырос на арбатском дворе, знал, *как* это делается, видел, что Лена ждет, ожидание я читал в ее глазах, в тепле ее руки, в том волнении, которое испытывала, когда я прикасался к ней. Волнение испытывал и я и все же не мог перейти черту. Не потому, что мы все время были на людях, я мог прийти к ней один, она могла прийти ко мне, молодые люди, любящие друг друга, находят время и место... И все же перейти черту не мог. Мне казалось, что я воспользуюсь ее робостью, воспользуюсь силой своего характера, тем, что притягивало ее ко мне.

Наш роман не состоялся. После школы мы несколько раз виделись, потом мне сказали, что она пошла работать на завод чуть ли не сварщиком, потом вышла замуж. А уже после войны, вернувшись наконец в Москву, я узнал, что Лену еще в середине тридцатых годов застрелили в гостинице, в Сухуми. Как, почему, за что — до сих пор мне неизвестно. Но когда узнал о ее смерти, понял, что еще в школе она предчувствовала свою обреченность; возможно, и я тогда неосознанно догадывался об этом, жалел ее, и это сдерживало.

Отца Лены, Аркадия Павловича Розенгольца, судили в 1938 году на процессе Бухарина—Рыкова. Он признался во всем, что от него требовали, был расстрелян, но, в отличие от других подсудимых, не просил о помиловании.

МОПШКа многое мне дала: умение самостоятельно работать, самостоятельно мыслить.

Жестокие времена революции, гражданской войны ушли в прошлое. Нам остались идеи интернационализма, равенства людей, братства народов, социальной справедливости, презрения к роскоши, карьеризму, лицемерию, очень скоро все это пришло в столкновение с «новым временем».

Мне неизвестен ни один репрессированный ученик «реакционной» бывшей хвостовской гимназии, наоборот, многие стали членами партии, один даже членом ЦК. А многие выпускники МОПШКи пострадали в тридцатых годах. Не только дети репрессированных (например, расстрелянный шестнадцатилетний сын Каменева — Юрий, арестованные дочь Смилги — Таня, дочь Ломова — Нина, дочь Рухимовича — Лена), но и рядовые ученики. Юного бойца гражданской войны Костю Ерофицкого расстреляли в тридцать седьмом году, тогда же уничтожили и директора школы Моисея Михайловича Пестрака. И никто из «мопсов» не стал знаменитостью, не «выбился в люди», не вписался в антиреволюционную сталинскую систему. Мы были свидетелями внутрипартийной борьбы двадцатых годов. Как многие молодые люди того времени, мы сочувствовали оппозиции, она требовала права свободно выражать свое мнение, свои взгляды, требовала свободы фракций и группировок, боролась с аппаратчиками и бюрократами. Троцкий олицетворял для нас романтику революции и гражданской войны — организатор Красной Армии, блестящий оратор и публицист, яркая личность. Нам импонировало, что его сын Лев Седов живет в общежитии, как и другие студенты, жена заведует охраной памятников старины, мы были атеистами, но значение памятников архитектуры понимали. Росли в то время, когда имя Троцкого стояло рядом с именем Ленина, Сталина мы тогда не знали, он возник вдруг — главный аппаратчик страны. Мы уже тогда ощущали, как костенеет жизнь, наступает режим единомыслия. Троцкий взял из марксизма цель — братство народов, лозунг мировой революции «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Сталин взял только средства — классовая борьба, диктатура пролетариата — и превратил их в орудия тирании под лозунгом «Строительство социализма в одной стране».

В школе по рукам ходило напечатанное на ротаторе «Завещание Ленина». На мотив частушки «Добрый вечер, тетя Хая,

вам посылка из Китая» мы распевали: «Добрый вечер, дядя Сталин, очень груб ты, нелоялен. Ленинское завещанье спрятал в боковом кармане». И еще на мотив «Аллаверды, аллаверды»: «Шутить не любит Джугашвили, секим башка, секим башка!..» И в конце: «Шутить не любит Джугашвили, хвала ему, хвала ему!»

7 ноября 1927 года, в день празднования 10-летия Октябрьской революции оппозиция устроила контрдемонстрацию. На углу Тверской и Моховой в окнах гостиницы «Националь» были выставлены портреты Троцкого, с балконов какие-то люди что-то выкрикивали, другие их оттаскивали, срывали портреты, толпа кричала: «Долой!», ревела, свистела, улюлюкала, Москва была настроена против «оппозиторов».

А 16 ноября застрелился сторонник Троцкого — Иоффе, видный партийный деятель и дипломат. Через два-три дня по школе пронесся слух, что к Новодевичьему кладбищу движется похоронная процессия. Я и еще несколько ребят побежали на улицу Кропоткина.

Мы поспели вовремя, процессия только появилась. За гробом шли Троцкий, Зиновьев, Каменев, другие руководители оппозиции, а за ними длинное шествие, растянувшееся по всей улице. Движение не прекратили, но молодые, энергичные ребята останавливали трамваи и автомобили, заставляли пропускать процессию. Милиции не было.

Мы присоединились к колонне. Долго стояли возле Новодевичьего монастыря, произошла заминка, не пускали, потом ворота открылись, все двинулись на кладбище.

От Московского комитета партии выступал Рютин, произнес стертые и в данном случае неуместные слова о единстве партии. Его освистали. Бедный Рютин! Через несколько лет он поймет, что такое Сталин, смело выступит против него и будет уничтожен. Речей Зиновьева и Каменева я не запомнил.

Запомнил Троцкого. Я видел его впервые. Копна черных с проседью волос, бородка клинышком, нервное, подвижное, выразительное лицо, острый взгляд голубых глаз из-под стекол очков или пенсне, не помню — все как на портретах, когда-то они помещались рядом с портретами Ленина — два вождя Революции. Все знакомое. Новым был голос: неожиданно молодой и звонкий. «Революционер... Не подражайте ему в смер-

ти, подражайте ему в жизни... Знамя Маркса и Ленина донесем до конца...» Эти обычные для того времени слова, произнесенные в мертвой тишине кладбища, перед многотысячной толпой, ловящей каждое его слово, звучали необычно, оглушительно, этот человек олицетворял интеллект Революции. В сущности, Интеллект и совершил Революцию. Теперь революция отказывалась от него.

Троцкий выступал последним, и это была его последняя речь в Советском Союзе. Через два месяца, в январе 1928 года, его выслали из Москвы в Алма-Ату, еще через год из Советского Союза в Турцию. Затем Франция, Норвегия и, наконец, Мексика, где в августе 1940 года ударом ледоруба по голове его убил агент НКВД Рамон Меркадер.

Быстрее расправился Сталин с последователями Троцкого в Союзе. Однако по другому сценарию. Зиновьев, Каменев и их сторонники признали ошибочность своих взглядов. За ними капитулировали и сподвижники Троцкого — Радек, Смилга, Преображенский, Пятаков, к ним присоединились ссыльные троцкисты, их возвращали из тюрем и ссылок, восстанавливали в партии, печатали их имена в «Правде».

Вряд ли эти люди изменили свои взгляды. Но быть врагами своей партии, в своем государстве, сидеть в тюрьмах и лагерях они не хотели. Сталин — плох, но ничего не поделаешь, «перед партией нет гордости», надо покаяться, признать ошибки, ведь это своя партия. Они не понимали, что *их* партии уже нет, есть организация людей, бездумно выполняющих волю начальства. Через несколько десятков лет, достигнув восемнадцатимиллионной численности, эта партия разбежится от одного окрика, от одного только вида поднятого вверх кулака.

Они не понимали, что их маленькие раскаяния — прелюдия будущих страшных показаний, вырванных под пытками. Их капитуляция помогла Сталину — смотрите, сами признаются! Со временем слово «троцкист» стало синонимом слов «контрреволюционер», «вредитель», «шпион», «диверсант», «убийца». Сталину удалось на долгие годы дискредитировать Троцкого в стране.

В ссылке я встречал троцкистов, тех, кто не отрекся от своих убеждений, не предал своего вождя. Обреченные, они доживали последние дни, но вряд ли представляли себе это —

были молоды и верили в будущее. Не все были легки в общении — гонения, издевательства, тюрьмы, лагеря наложили свой отпечаток. И все же они были единственными непримиримыми и несгибаемыми противниками Сталина и его режима. Кроме них твердыми были осужденные за веру в Бога. Но те молча, терпеливо несли свой крест. А эти отстаивали свои человеческие и гражданские права. Среди них были рабочие, студенты, молодые специалисты, начитанные, мыслящие, романтики Революции. Помню их одухотворенные лица, скитальческую неприхотливость, как безбоязненно шли в тюрьмы и лагеря, и сравниваю с комсомольскими активистами сталинского и послесталинского времен — молодыми чиновниками с гладкими лощеными физиономиями и казенными речами. Теперь они, бизнесмены, банкиры, международные спекулянты, поносят советскую власть и социализм.

Вспоминается предсказание Троцкого: «Если правящую советскую касту низвергла бы буржуазия, она нашла бы немало готовых слуг среди нынешних бюрократов, администраторов, директоров, партийных секретарей, вообще привилегированных верхов. Главной задачей новой власти было бы восстановление частной собственности на средства производства и присвоение ее».

«Демократия», которую принесли народу выращенные Сталиным и его системой кадры, обернулась крушением государства, развалом страны, ее экономики, науки, культуры, обнищанием народа, разгулом национализма, войнами, невиданной преступностью.

В конце двадцатых годов партия и народ доверились Сталину, теперь потомки пожинают плоды их роковой ошибки.

6

По окончании МОПШКи в 1928 году я пошел работать на Дорогомиловский химический завод. Сразу поступать в вуз не мог: не имея производственного стажа, не получал бы стипендии.

Химическое производство — вредное, подросткам работать в цехе запрещено, мне до восемнадцати лет не хватало полгода.

— Исполнится восемнадцать, переведем в корпус, — сказали в отделе кадров, — а пока иди в дворовый подотдел, будешь территорию убирать.

Однако помимо уборки территории дворовый подотдел ведал также погрузкой и разгрузкой вагонов и платформ, работой на складах, подносом кирпича и других материалов ко вновь строящимся корпусам — завод расширялся. И не разбирались, сколько тебе лет, вкалывай, как все!

Вкалывали здесь люди без профессии, «чернорабочие», как их раньше называли, но теперь всякий труд у нас почетен, никакая работа не может быть черной, и потому именовались они «разнорабочими» — выполняли разную, не требующую специальной квалификации работу, были с бору по сосенке, перекати-поле, часто люди опустившиеся, пьяницы, неудачники, были ребята, судя по фамилиям, из дворян, хотели изменить свой социальный статус, были какие-то неясные личности, выбитые из привычной жизни революцией, гражданской войной, всеми бедами прошедшего десятилетия, включая коллективизацию и раскулачивание. В куртках и телогрейках, испачканных краской, мелом, алебастром, углем, вваливались в столовую, шумели, матерились. Аппаратчики из цехов, носившие чистые синие спецовки или халаты, получавшие молоко — «спецпитание за

вредность», нас сторонились. И мы их не задевали: другая порода, рабочая аристократия. Конечно, они в тепле, в чистоте, зарабатывают хорошо, но обречены — доходят на своей химии, дышат газами и ядами производства. Мы работали на открытом воздухе, и все равно накашляешься за день, начихаешься: из труб валит рыже-желтый дым.

Иногда меня посылали в корпус на подсобную работу: что-то принести, вынести, передвинуть, переставить, очистить. Цеха светлые, просторные, полы кафельные, аппараты оплетены густой сетью трубопроводов — красных, черных, голубых, и запахи чего-то вроде знакомого, домашнего или больничного: уксуса, нашатыря, формалина, карболки. Аппаратчики передвигаются у гигантских колонн, отогревают трубы, подтягивают крепления, ведут записи у пультов или сидят, облокотившись о лабораторный столик, лица бледные, болезненные, бутылкой молока не спасешься. Я поражался их технической грамотности: с легкостью исписывают лист бумаги химическими формулами, перед которыми в школе у классной доски я стоял в тупом недоумении. Конечно, здесь тепло, чисто, это не барабаны с краской грузить на открытой платформе в дождь и в снег. И все же химия не для меня, не увлекает.

Когда мне исполнилось восемнадцать лет, я не пошел в отдел кадров, не потребовал перевести в цех. Остался в дворовом подотделе, и послали меня в бригаду грузчиков-татар. Волжские татары — квалифицированные грузчики, вместе приехали, вместе уедут, работали только на погрузке-разгрузке вагонов, сдельно, барабаны с краской не вкатывали в вагон по сходням, как другие грузчики, а носили на спине: бегом-бегом, в затылок друг другу, а в барабане 80 килограммов, стремились побольше заработать, экономили на всем, в столовую не ходили, жевали что-то принесенное с собой в тряпочке, все заработанное отсылали в деревню, жаловались на налоги, я писал им заявления в сельсовет. Потом вдруг уехали на родину в Ульяновскую область: началась коллективизация. Работа с ними была тяжелая, ломовая, таскал барабаны на спине, как выдержал — не знаю. Но не жаловался, не хотел выглядеть слабаком. Татары уехали, и я попал в гараж, грузчиком на машину АМО-Ф-15, мыл ее,

чистил, за это шофер Илюшка давал мне руля. Купил я учебник Грибова «Курс автомобиля», выучил, сдал экзамены, получил водительские права. И появилась у меня профессия — шофер.

Мой первый трудовой опыт был нелегким, но полезным. Уже превращалось в пустые слова то, на чем выросло мое поколение, жизнью завладели новые люди, и я гордился тем, что я не среди них, тружусь как рядовой рабочий. Это было становлением характера — пригодилось потом в скитаниях, я узнал свой народ, неся его ношу.

Зарабатывал я на заводе хорошо, продуктовая карточка рабочая, первой категории, жили сносно. С первой же получки мама заставила меня купить костюм, темно-синий, бостоновый, так что я был одет, обут, и мать одета, обута, исправно платит квартплату.

Рая кончила школу с чертежно-конструкторским уклоном, работала в Моспроекте, приносила какие-то деньги матери, эти деньги потом к ней возвращались: нужны туфли — и такие и сякие, и фетровые ботики нужны, и платья, и пальто. «Девочка работает в солидном учреждении, не может выглядеть замарашкой», — говорила мама. Конечно, мои бывшие соученицы одевались попроще, но я в жизнь сестры не вмешивался, наши пути разошлись еще в школе, она презирала все советское, по ее убеждению, бесчестное, хамское, всякие разговоры на эти темы пресекала. Я перестал интересоваться ее жизнью, она — моей, наше общение ограничивалось тем неизбежным минимумом, когда люди живут в одной семье и изредка видят друг друга. Как и я, она не любила отца, но в объяснения с ним не вступала, просто не замечала, игнорировала, не отвечала, демонстративно выходила из комнаты. Отец свое возмущение, как всегда, вымещал на матери.

Рая была одарена во всем: в музыке, языках, литературе, физике, математике, восьми или девяти лет сдала экзамен в Гнесинское училище. Ей предсказывали блестящее будущее, но блестящего будущего не получилось. Противоречивая была натура. Властность, категоричность, часто нетерпимость странным образом уживались рядом с утонченной женственностью, уступчивостью, иногда даже покорностью. Потря-

сающая работоспособность — с многочасовыми сидениями в ресторанах, болтовней в компаниях, бурные увлечения кончались мгновенными разочарованиями. И все это на фоне поразительной красоты: выше среднего роста, стройная, с неторопливыми движениями, гордо посаженной головой с мягкими каштановыми волосами, тонким овалом нежного лица, на котором прежде всего поражали громадные светло-карие, чуть раскосые глаза.

Ее внешность, талант, незаурядность притягивали. В доме появились элегантные молодые люди, менялись книгами, что-то брали у Раи, приносили ей, увлекались тогда Хемингуэем, Прустом, Селином, Джойсом, в общем интеллектуалы, ходили в консерваторию, в рестораны «Метрополь», «Националь», «Савой», там собиралась изысканная публика, демонстрировали туалеты, танцевали модные западные танцы.

В этом кругу вращалась теперь Рая. Этот круг еще больше разделил нас, мы принадлежали к разным слоям общества. Я — к рабочему классу: грузчик на химическом заводе, таскаю на спине барабаны с краской, она — к молодой московской интеллигенции, чистой, хорошо одетой, воспитанной.

Испытывал ли я неприязнь к ним? Не могу точно сказать, плохо помню свои ощущения того времени. Но допускаю, что некоторое неприятие было. Мы жили теориями XIX века: материальные ценности производит рабочий класс, физический труд самый почетный, а интеллигенция — промежуточная прослойка, при капитализме служит буржуазии, при социализме — пролетариату. Государство наше рабоче-крестьянское, рабочие имеют все преимущества при поступлении в партию, в комсомол, в учебное заведение, в получении комнаты или квартиры, в снабжении продуктами и товарами, даже в правосудии: «Учитывая пролетарское происхождение, наказание считать условным».

На самом деле диктатура была не рабочего класса, а партии, а потом и одного человека — Сталина. Рабочие жили в бараках — но ведь индустриализация, построим заводы и фабрики, а уж потом жилища, надо потерпеть, снабжение отвратительное, по карточкам — ничего, создадим мощное коллективное сельское хозяйство — будет изо-

билие, молочные реки, кисельные берега. И рабочий класс вкалывал на заводах и фабриках, на стройках пятилетки, в Магнитогорске и Кузнецке, возводил заводы, в голоде и холоде создавал великую державу, но, несмотря на все красивые слова и звонкие песни, «гегемоном» себя не чувствовал, видел, что не он, а другие решают его судьбу. Одна из причин крушения Советского государства в том, что оно лишило себя социальной опоры.

Но тогда, в начале тридцатых, хотя и отмирая, инерция двадцатых еще действовала. Вероятно, некоторое пренебрежение рабочего человека Раиными друзьями во мне было, я не знакомился с ними. Знал из них только Катю Кунькову.

Еще в школе Катя Кунькова была ближайшей Раиной подругой, подругой и осталась. Смазливая, разбитная, вульгарная девчонка. Рая помогала ей готовить уроки, тянула, после школы устроила к себе в Моспроект, опекала, Катя была ее неизменной спутницей на концертах, в кино, в ресторанах, на всяких вечеринках. Что их сблизило? Рая — тонкая, талантливая. Катя — «цветок помойки», шумная, беспардонная, рассказывала антисоветские и неприличные анекдоты, могла и выматериться, Рая этого не терпела, при ней Катя сдерживалась, но иногда вырывалось «словечко», Рая морщилась: «Выбирай выражения, Катя».

Как-то Рая не вернулась домой, мама всю ночь не спала, хотела звонить в милицию. Рая явилась утром, как ни в чем не бывало, объявила:

— Задержались поздно в гостях, заночевала у Кати.

Жалея мать, я впервые вмешался:

— Что у тебя общего с Катей?

— Это мое личное дело. Я ведь не интересуюсь твоими знакомыми.

Я думаю, дружба с Катей была для нее формой эпатажа благополучных одноклассниц с их мамами и папами, академиками и профессорами, за хорошие пайки верой и правдой служившими этому постылому государству. К тому же Рая любила верховодить, покровительствовать, требуя при этом безоговорочного подчинения, любила, чтобы ловили каждое ее слово, что Катя искренне и делала. А после школы Раина ресторанная жизнь, модные туалеты были не только

данью молодости и красоте, но и протестом против тусклой коммунальной жизни с очередями, жалкой столовой в учреждении, гнетом казенной идеологии, всеобщим хамством и грубостью.

Мама терпеть не могла Катю.

— Она научила Раю курить, таскает по ресторанам, свяжет с каким-нибудь подонком, такую красавицу, умницу, талантливую, вокруг нее приличные люди, может сделать блестящую партию.

Рая вышла замуж, но не за приличного интеллигентного человека, как надеялась мама, а за известного московского бильярдиста Виктора Шердиса, обрусевшего мариупольского грека.

В доме возник человек лет тридцати, коренастый, крепкий, общительный, щедрый, типичный делец, формально занимался установкой медицинских электроприборов, фактически — профессиональный бильярдист из «Метрополя», одевался у лучших портных, и Рая одевалась у лучших портних, отдыхали в Крыму и на Кавказе, он был неглуп, сообразителен, находчив, масса знакомых, и все знаменитости: артисты, писатели, музыканты, ездил с ними на охоту, стрелок был отличный, чинил ружья и приторговывал ими. Грамотность — шесть классов, ничего не читал, даже газет. Дела, дела, договоры, фининспекторы, а главное — бильярд.

Почему именно его Рая выбрала своим мужем? Виктор нигде и никому не служит, независим от этого государства, с ним будет независима и она. Видимо, таков был ход ее мыслей. И, безусловно, опять эпатаж. Другие стремятся выйти замуж за иностранца, за известного журналиста, дипломата, писателя, а вот ее муж — простой электромонтер. Он играет на бильярде, но это не запрещено, многие играют.

Дальнейшее происходило без меня, я вернулся в Москву через много лет. Рая разошлась с Виктором, он не давал согласия на развод, скандалил, грозился ее убить, не хотел выписываться из квартиры, но Рая показала свой характер, заставила его уйти.

Потом Рая вышла замуж за Сашу Тарасенкова, талантли-

вого архитектора, прекрасного рисовальщика, высокого, красивого славного парня, мягкого и деликатного. Любила его, кончились рестораны. Катя Кунькова вышла замуж за иностранца, кстати, тоже за грека, но миллионера, уехала за границу. В 1940 году Рая выдержала труднейший конкурсный экзамен на механико-математическое отделение Московского университета, казалось, вступила наконец на путь, предназначенный ее дарованием. Однако в сорок первом началась война, Сашу в армию не взяли: у него обнаружили туберкулез. Рая эвакуировалась из Москвы, но не с университетом, а с Сашиным учреждением, не могла оставить его одного, больного, из университета перевелась в Строительный институт на заочное отделение.

После войны они разошлись. На мой вопрос «почему?» мама ответила: «Она его разлюбила». Однако Раин характер уже был для меня очевиден. Ей всегда необходимо было осознавать свое превосходство — с Шердисом это было превосходство интеллекта, с Тарасенковым — превосходство характера. Но со временем недостаток интеллекта у одного и характера у другого начинали ее тяготить, и браки распадались.

Работая в Моспроекте, Рая выдвинулась, возглавила мастерскую, по ее проектам было многое построено в Москве, Варшаве, даже в Индонезии. Любила рассказывать, как французские инженеры, ознакомившись с каким-то ее техническим решением, были убеждены, что она заработала на нем миллионы. Усмехалась. Единственной ее наградой была однокомнатная квартира в блочном доме на окраине Москвы, на улице Каховка, где весной и осенью стояла непролазная грязь и к подъездам люди добирались по брошенным на землю доскам и фанеркам. Квартиру ей дали взамен ее комнатки в центре, на Арбате, хотела иметь отдельное жилье: всю жизнь прожила в коммуналке.

Рая была человеком честным, справедливым, смелым, с сильным административным нажимом, очень требовательная, на работе ее ценили, уважали, даже побаивались, но что любили — сомневаюсь. На службе она опекала одного мальчика, он был намного моложе, потом женила его на какой-то девочке и опекала уже всю семью — и его, и жену, и их ребенка. Ее личная жизнь кончилась, осталась только рабо-

та. Требовала того же и от подчиненных, забыв, видимо, что у молодых есть и другие интересы. Раина одержимость, полезная для дела, становилась невыносимой для сослуживцев и для начальства: ее невозможно было заставить сделать или подписать то, что она считала неправильным. Никакие «особые соображения» ее не трогали. За строптивость ее проучили, не включив в список представленных на соискание Ленинской премии за работу, в которой она принимала активное участие. Податливее от этого она не стала. Когда Рае исполнилось 55 лет, ее тут же отправили на пенсию. Одинокая, она доживала свой век на улице Каховка. Иногда ее навещал опекаемый ею мальчик с женой, навещал племянник, мой старший сын Алик, его мать — моя первая жена Ася, с ней Рая дружила. Как это ни странно, не забывал Раю ее бывший муж Виктор Шердис, состарившийся бильярдист, тоже одинокий, приносил подарки. Каким бы ни было их расставание, но для этого человека, игрока, дельца и авантюриста, сына мариупольского рыбака, жизнь с Раей была сказкой, эта сказка не забывалась.

Она редко теперь выбиралась в город, «в центр», как говорила, иногда по нескольку дней вообще не выходила из дома, в холодильнике был какой-то запас продуктов, в шкафу обязательный запас сигарет «Ява», которые она курила и которые часто вдруг исчезали из продажи. Но по субботам, при любой погоде — гроза, дождь, снег — выходила из дома: знакомая киоскерша оставляла для нее все газеты, где были кроссворды. Она сидела обычно на кухне, располневшая, под глазами синяки, цвет лица нездоровый, обложенная газетами с кроссвордами, или читала, или решала какие-то сложные математические ребусы... Взгляды ее сильно переменились, наступило некое примирение с советской действительностью, она любила Россию, гордилась нашей победой в войне, гордилась тем, что создано, построено, — в этом была и ее доля, не зря прошла жизнь. Про Тито отзывалась неодобрительно:

— Сталин его сделал знаменитой личностью, а он изменил Сталину.

Воспоминаниям не предавалась. Когда я ее попросил рассказать о тридцатых годах, пожала плечами:

— Ведь я тебе все послала в Германию.

В 1945—1946 годах, служа в оккупационных войсках в Германии, я начал писать свою первую книгу «Кортик», и Рая прислала мне хронологию событий культурной жизни Москвы двадцатых и тридцатых годов (литература, театр, кино, живопись).

— Это была голая хроника — даты, числа, имена, а меня интересует быт, ведь я не был в Москве в это время.

Она раскладывала пасьянс, ответила не сразу.

— Быт — это широкое понятие, люди жили по-разному.

— Ну, хотя бы быт людей, в кругу которых ты вращалась.

Она не отрывала глаз от карт.

— Хочешь меня описать?

Я засмеялся:

— Один писатель сказал коллегам: «Цените своих родных, ведь с них вы пишете своих персонажей».

— Разве есть женщина, которая расскажет о себе все?

— Речь не о тебе, а о женщинах того времени, приметах их жизни, как одевались, как развлекались...

— Твоя героиня моя ровесница?

— В общем, да.

— И как ее зовут?

— Варя.

— Если убрать первую букву и переставить местами остальные, получится мое имя.

Я был ошеломлен.

— Знаешь, это не приходило мне в голову.

— И кто она по профессии?

— Чертежница.

— А говоришь, не меня пишешь.

— Это формальные приметы сходства, вы — разные.

Она кончила пасьянс, смешала карты, собрала колоду.

— Я бы не хотела, чтоб ты описывал меня. Всей правды обо мне ты не знаешь, а быть представленной поверхностно не хочу. Люди скажут: вот какая у него была сестра...

— Повторяю, я пишу не тебя, а совсем другую девушку, единственное, что вас объединяет, — это время, в котором вы жили, и общество, в котором вращались.

— Вряд ли тебя интересует Моспроект, учреждение как учреждение, ты и без меня их знаешь. Ну, а компании, мои знакомые, рестораны, — она выразительно посмотрела на меня, — ты ведь тогда осуждал за них.

— Тогда — да, осуждал, сейчас — нет.

— В ресторанах, хороших ресторанах, собирались разные люди: инженеры, ученые, артисты, более или менее обеспеченные, с красотками, естественно, иностранцы бывали, попадались и дельцы, нувориши, мы с ними не знались, я, например, никогда не имела и не носила драгоценностей, в этом было нечто пошлое, нэпманское... Ну, а красиво одеваться... Мода всегда была, есть и будет.... А у нас — только «Москвошвей». Носили заграничные тряпки, за ними охотились. Были хорошие портнихи, знаменитая Ламанова Надежда Петровна, главный модельер того времени, работала в Наркомпросе — законодательница мод, но какие моды, заграничные сдирали, жены наших дипломатов привозили альбомы, оттуда и брали... Были и другие знаменитые портнихи, сапожники, все это, конечно, очень дорого стоило... Задача была в том, чтобы появиться в ресторане в особом наряде, выделиться, чтобы все обратили на тебя внимание. Был у меня костюм цвета «кардинал» с замшевым кушаком и серебряной пряжкой, на плечах жакета вставочки вроде погончиков — все обалдели! — Она засмеялась, потом сказала: — Я подумаю, вспомню.

Позвонила:

— Вот еще запиши: платье, расшитое бисером, лаковые туфельки, чулки телесного цвета, «бульдожки» — туфли с широкими носами...

В другой раз назвала фамилии знаменитых портних: Ямина, Ефимова, Данилина, сапожных мастеров: Барковский, Гутманович. Парикмахер Поль на Арбате, лифчики — Лубенец, шляпки — Амирова. Называла для меня, для моей работы, а не потому, что воспоминания эти ее трогали, от той жизни давно ушла, лишена была сентиментальности...

Когда умерла мама, мы приехали с Раей на Востряковское кладбище выбирать место для могилы. В своей жизни я хоронил товарищей в ссылке, на войне, в лесу, в поле, но

на настоящем кладбище — впервые. Территория громадная, еще перед войной сюда перевели еврейское кладбище из Дорогомилова. Я шел среди могил, читал надписи на надгробных плитах, сплошь еврейские имена и фамилии, и я подумал: сколько таких могил разбросано по всему свету, нет в мире страны, где бы еврейский народ не оставил могил своих предков. И каков был бы этот народ, сохранись он эти две тысячи лет на своей земле, какое бы это было могучее государство.

Отыскивая место для могилы, смотритель, молодой, веселый парень в офицерской шинели без погон, водил нас по кладбищу. На мой вопрос ответил, что служил в 8-й гвардейской армии. Я назвал ему свою часть, думал, и он обрадуется такой встрече: однополчане, можно сказать. Но он продолжал водить нас по самым отдаленным глухим местам, по грязным земляным дорожкам, по лужам. «В центре места нет, все забито, сами видите». Бригадир, которому предстояло копать могилу, подмигивал мне за его спиной: мол, договаривайся... Я и сам понимал, что надо дать взятку, но стеснялся, боялся оскорбить его таким предложением. А он шутил, посмеивался, цитировал что-то из «Гамлета» и все водил нас по каким-то закоулкам, хотя рядом с хорошими асфальтированными дорожками я видел могилы с совсем свежими датами.

Я остановился:

— Слушай, друг, будь человеком, найди приличное место для моей матери.

И вдруг Рая сказала:

— Толя, с кем ты говоришь?! Перед кем унижаешься?! Этот человек кормится покойниками, он трупоед, он у тебя взятку вымогает. — Она с ненавистью взглянула на смотрителя: — Ну, вы! Перестаньте нас таскать по кладбищу, хватит! Дайте место, где положено, и убирайтесь отсюда!

Это было сказано так, как, наверное, одна Рая умела говорить. Смотритель не выдержал ее взгляда, отвернулся, прошел еще несколько шагов и показал бригадиру место:

— Здесь копай!

И удалился.

Место было не лучшее, но и не худшее.

Мы похоронили мать, а вскоре и отца. Когда закапывали в мамину могилу урну с его прахом, Рая сказала:

— Похлопочи, Толя, пусть прибавят немного места и для меня.

Она болела, что-то с поджелудочной железой, я возил к ней врачей, доставал лекарства, лекарства перестали помогать, после сильного приступа ее отвезли в Боткинскую больницу. Там потребовали срочной операции, она посмотрела на меня, в глазах застыл ужас:

— Может быть, не надо операции? Может быть, лечиться? Я боюсь...

Что ей ответить? Мог ли я взять на себя ответственность и увезти ее домой, когда врачи заявили, что счет идет на часы.

Во время операции она умерла.

И как после смерти матери, так и после смерти Раи меня долго не оставляло чувство вины: может быть, действительно не следовало делать операцию?

На ее похороны собралось много людей. Несколько автобусов подъехали к моргу Боткинской больницы. Оттуда печальный кортеж проследовал в крематорий. Женщины плакали. Рая была трудным человеком. Но ее незаурядность перевешивала недостатки характера, все понимали, какой человек ушел из жизни.

7

Осенью тридцатого года я поступил на автодорожный факультет Транспортно-экономического института.

Годы «великого перелома». «В период реконструкции все решают кадры» — объявил Сталин. Но Сталину нужны были кадры, всем ему обязанные и только ему послушные, от старых специалистов избавлялся быстро и беспощадно. В 1928 году — «Шахтинский процесс», в 1930-м — «Процесс Промпартии». Слова «старые специалисты» стали синонимом слова «вредители», им на смену готовили кадры из рабочих. Возникли новые высшие учебные заведения, принимали в них ребят с образованием в объеме семилетки или фабзавуча (школа фабрично-заводского ученичества), посылали на ускоренные шестимесячные курсы и без экзаменов зачисляли в институты: быстрее, быстрее, сейчас, немедленно дать стране наших советских инженеров, ничего, одолеют, производство знают, справятся и с руководством...

Институт, в который я поступил, был раньше экономическим факультетом МИИТа (Московского института инженеров транспорта), построили его в пригороде Москвы на Ленинградском шоссе, в селе Всесвятском. Студенты еще работали на отделке учебных корпусов и общежития, а занятия уже начались. Давай, давай!.. Пятилетку в четыре года!.. Догнать и перегнать!.. Отстающих бьют!.. Таковы были темпы и лозунги того времени, образ, стиль и норма жизни. Страна под кнутом погонялы рвалась вперед.

Три факультета — железнодорожный, водный и автодорожный. Меня приняли на автодорожный: шофер, рабочий с производства, к тому же с полным средним образованием. Кроме меня с девятилеткой еще были две девочки. Остальные студенты с ускоренных курсов, все из провинции, москвич я один.

Мое исключение из института (об этом я писал в «Детях Арбата») только и осталось отчетливо в памяти. В остальном что-то однообразное, скучное. Холодные нетопленые аудитории, нищенская столовая с неизменным винегретом, пустыми щами, постной кашей, бестолковая работа на стройке — того нет, этого нет. Институт новый, традиций никаких, преподаватели — практики: инженеры и экономисты из разных учреждений, уровень посредственный, профессора ни одного: не желают ездить на трамвае в такую даль. Зубрежка «Вопросов ленинизма» Сталина — главной книги, сопровождавшей нас все годы занятий, основы марксизма-ленинизма, которые нам вдалбливались по любому поводу и без всякого повода, даже на занятиях по бухгалтерии и английскому языку; его преподавал вернувшийся из Лондона торговый работник «Экспортлеса». Всякие новации вроде бригадно-лабораторного метода — зачет за бригаду сдает один студент, наиболее подготовленный, присвоение звания «Ударника учебы» — за активную общественную работу, обязательные шествия в первомайских и октябрьских колоннах, подписка на «Заем индустриализации» в размере месячного заработка, и это при копеечной стипендии.

И все же как-то учились, усваивали «от сих до сих», и ладно... Конечно, не насильно их в вуз загнали. Пришла путевка на производство — давай, ребята, кто хочет поехать в Москву?! Почему не поехать? Почему не получить высшее образование? Общежитие дают, стипендию тоже. Поеду, а там видно будет.

Со временем ускоренную подготовку отменили, от поступающих требовали законченного среднего образования, восстановили вступительные экзамены. Но наборы начала тридцатых годов тоже пригодились. Своих однокашников я встречал много лет спустя: чиновники среднего звена, «винтики», не «высовывались», прожили тридцатые годы вроде бы благополучно.

Были в институте партийный, комсомольский, профсоюзный комитеты. Казенные собрания, казенные речи, единогласные одобрения, единодушные осуждения, утверждалось единомыслие, внедрялись страх, подозрительность, доносительство, набирала силу свирепая репрессивная система, уже

явно обозначилось деление на низы — «массу» и аппарат — «номенклатуру».

Директор института — Ганецкая, жена польского революционера Ганецкого, друга Ленина, сановная дама, говорившая по-русски с польским акцентом, может быть, знала марксизм, но не знала транспорта. С ее сыном я учился в МОПШКе, он ходил в горы с нашим главным прокурором Крыленко, чем очень гордился, заносчивый был парень. И его самого, и его отца, и мать — нашу директоршу — расстреляли в тридцать седьмом году. И прокурора Крыленко тоже расстреляли.

Заместителем Ганецкой был старый большевик Каплан, как говорили, родной брат Фанни Каплан, стрелявшей в Ленина. Возможно, выдумали, просто однофамилец. Однажды, выступая на студенческом собрании, где шел разговор о том, как должен работать студент, Каплан сказал, что образцом работоспособности может служить Троцкий, о котором он теперь вспоминает с горечью и осуждением, как о перешедшем на сторону врагов. Секретарь парткома записал эти слова в свой блокнот, ничего глупее в то время Каплан сказать не мог. Вскоре его сняли с работы за срыв строительства общежития, затем арестовали и расстреляли.

Сохранились, правда в единичных экземплярах, и идеалисты, например, декан нашего факультета Абол, из латышских крестьян. Пошел в революцию, на гражданскую войну, убежденный коммунист, кончил университет, его, как и миллионы других, революция подняла из низов, приобщила к культуре. Добрый и порядочный человек, укорял отстающих студентов: «Страна вас бесплатно учит, дает возможность выбиться в люди, цените это». Его тоже расстреляли в 1937 году.

Большинство студентов безлики. Масса, пассивная и безропотная. Энтузиазм? Был энтузиазм толпы: все навалились — и я навалюсь, все одолеют — и я одолею. Самое страшное — безучастность к чужой судьбе. Меня исключали из института на общем собрании, я стоял на трибуне и видел перед собой ряды людей, смотревших на меня без всякого сочувствия, но с любопытством: зрелище! В виновности моей не сомневались. Зря на трибуну не вытащат, зря такое обвинение не

предъявят. Нам не предъявляют, на трибуну не вытаскивают. А его вытащили! Вот как вмазывают, как лупят! Умеют ребята! Им не попадайся! А он чего-то вякает... Потеха! Никто слова не сказал в мою защиту, кроме декана Абола и студента Рунушкина.

Это равнодушие к людям, к чужим судьбам обернулось массовой жестокостью, стало знаменем эпохи, обездушило наш народ, обесценило человеческую жизнь, позволило Сталину истребить десятки миллионов людей, расстрелять, сгноить в лагерях, уморить голодом, сжечь в пекле войны. Я не был в Москве во время октябрьских событий 1993 года, но мне рассказывали, как толпа на Новоарбатском мосту восторгалась каждым удачным выстрелом из танка по Белому дому, приговаривая: «Во дают! Умеют ребята, им не попадайся!» И я вспомнил то собрание в институте. С тех времен пошло!

Я старался не выделяться, не умничал, не лез в «ударники» учебы, в «общественники», отговаривался тем, что живу далеко. А они все тут рядом, в общежитии, на виду друг у друга, их личные дела, проблемы, конфликты, симпатии и антипатии, склоки, ссоры меня не затрагивали, я общался с ними только на занятиях. К тому же строительство корпусов задерживалось, нас перевели на двухсменные занятия, мой курс попал во вторую смену, занятия с четырех часов, и я поступил на работу на полставки в Комитет по делам строительства при Совнаркоме СССР, на площади Ногина, в бывшем Деловом дворе, громадном сером пятиэтажном здании с длинными коридорами и многочисленными комнатами. Размещалось там несколько наркоматов.

Не помню, кто мне помог туда устроиться. Как бывшего шофера, ныне студента Транспортно-экономического института, зачислили в плановый отдел экономистом: подсчитывал потребность в автомобилях (колоссальная), степень удовлетворенности (мизерная), писал заявки, составлял разнарядки. Планово-канцелярская работа. Впрочем, интересная. Здесь — главный штаб индустриализации. Я видел Куйбышева, Орджоникидзе, Пятакова, сюда приезжали руководители Магнитки, Кузнецка, Сталинградского и Харьковского тракторных, Горьковского и Ярославского автомобильных и многих других вновь воздвигаемых заводов, были просты и дружелюбны с

нами, рядовыми работниками, рассказывали о своих нуждах. Нас волновали их проблемы.

Аппарат Комитета большой: инженеры, техники, экономисты, статистики, многие высокой квалификации, опытные, знающие люди. Как и все в стране, запуганные энтузиасты. В одной из комнат работала комиссия по чистке аппарата — «незаметные люди с серенькими глазками», по выражению Ильфа и Петрова, вызывали сотрудников, выясняли детали биографии, одних отпускали, других — «социально-чуждых» — «вычищали по категориям», первая категория гласила: «без права работать в советских учреждениях». А где, спрашивается, работать? Других учреждений, кроме советских, в стране нет.

«Вычищенных» выволакивали на общее собрание. До сих пор помню, как оправдывался милый симпатичный сорокапятилетний экономист Завьялов, доказывая собранию, что не он владел до революции гостиницей, а его жена. «А в какой должности вы состояли при жене?» — раздался вопрос, и в ответ какой-то остряк бросил из зала: «В должности мужа». Кто-то засмеялся, кто-то улыбнулся, но все чувствовали свою униженность: побоялись вступиться за порядочного человека, своего сослуживца. Вершили судьбы индустриализации, хорошо работали, честно, со знанием дела, но понимали: этим не спасешься, опытные инженеры-строители нужны и на Беломорканале.

Но как бы то ни было, в отличие от института с его рутиной, скукой, тягомотиной, здесь все же ощущалось время, кругом образованные люди, совсем другой уровень, другая атмосфера.

Подружился я в Комитете с Михаилом Юрьевичем Пановым, старшим экономистом управления строительных материалов, считался он ценным работником, таковым в действительности и был. Усидчивый, аккуратный, не слонялся по коридорам, не присаживался к чужим столам, всегда на месте, склоненный над широкими и длинными таблицами с перечислением строительных материалов: кирпич, цемент, лес круглый, лес пиленый, алебастр и тому подобное, о них давал справки по любой стройке, работа доставляла ему удовольствие, а своя надобность здесь, уважение, которое ему оказы-

вали, приносили удовлетворение. Окончил лет пять назад Московский университет, беспартийный, к нему не придирались, анкета, значит, в порядке — молодой специалист.

Впрочем, на молодого специалиста тех лет он не был похож: интеллигентный, воспитанный, вежливый человек в пенсне — близорукий, всегда в одном и том же костюме с лоснящимися лацканами и вытертыми локтями, зимой ходил в старом демисезонном пальто, ботах и белой барашковой папахе. Вид довольно странный: старомодные пенсне, боты, а папаха — как бы реликт времен гражданской войны, когда люди носили что попало, лишь бы тепло. Все называли его Михаил Юрьевич, я — просто Миша.

Жил Миша Панов на углу Большой Никитской улицы и Кудринской площади (тогда их уже переименовали в улицу Герцена и площадь Восстания), на втором этаже двухэтажного дома, бывшего барского особняка с широкой парадной лестницей, теперь всегда неубранной, с шатающимися перилами. После революции особняк поделили на коммунальные квартиры с маленькими темными общими кухнями. Комната Миши Панова выходила на улицу Герцена, высоченный потолок с лепниной, высокие стрельчатые окна, тесно уставленная книжными шкафами, этажерками с альбомами и папками. Мебель ветхая, старинная. В нише, образованной книжными полками, узкая кровать, покрытая серым суконным солдатским одеялом, в другой нише — письменный стол, на нем баночки, тюбики с клеем и красками, стаканы с карандашами, ручками, кисточками, тут же ножницы, бритвочки, тушь.

За столом, освещенным настольной лампой, Панов в домашней клетчатой куртке подклеивает страницы, переплетает книги, ведет каталог. Уютно пахнет клеем, красками. Я в старом кресле с высокой спинкой и продавленным сиденьем рассматриваю «Мир искусств» — красочное дореволюционное издание, рядом в большой корзине журналы «Весы», «Аполлон», «Золотое руно». Изумительные заставки, виньетки... Бенуа, Добужинский, Бакст... «Маркиза» с эротическими иллюстрациями Сомова. Я вырос на «передвижниках», у Панова все было для меня внове.

Миша, не отрываясь от своей работы, говорил:

— Это искусство сейчас не ко времени, но оно останется, не пропадет.

Мне было ясно, чем вызван его аскетизм, вытертые локти и лоснящиеся лацканы — все свои деньги он оставлял у букинистов... «Ад» Данте с иллюстрациями Доре, книги издательства «Academia»... Я любил французскую литературу, читал Бальзака, Стендаля, Флобера, Мопассана, Анатоля Франса, многое в подлиннике, но у Панова впервые увидел Анри де Ренье, Шарля Луи Филиппа, Марселя Пруста, Жюля Ромена. Он берег их, не позволял выносить из дома.

— Зачитывают даже самые близкие друзья. Пожалуйста, сиди читай здесь.

Я приносил иногда с собой водку, мы выпивали по рюмке, Миша опять брал в руки кисточки, я читал. Так он жил: Комитет с кирпичами и цементом и дом с книгами и гравюрами. Нигде больше не бывал, в театры и кино не ходил, с женщинами не встречался. Я же выкраивал время для всего.

Как-то рассказал Мише, что был в Эрмитаже на концерте и в антракте увидел в саду знаменитого графолога Зуева-Инсарова. На столике — стопка конвертов, карандаши: надо написать на конверте свой адрес, через несколько дней получишь графологическое исследование. Все удовольствие — пятьдесят копеек.

— Я о нем слышал, — сказал Панов.

— У него книга отзывов: Луначарский, Максим Горький. Артист оперетты Ярон даже написал: «Зуеву-Инсарову от разоблаченного Ярона».

— Ну, а ты не попробовал?

— Попробовал и получил ответ.

— Что он тебе написал?

— Довольно обтекаемо... «Несомненная литературная одаренность, возможно, слабо выявленная вследствие недостаточной целеустремленности». Толкуй, как хочешь... Если я пописываю, значит, в точку попал. Если нет, значит, не целеустремлен.

Он продолжал молча работать, потом сказал:

— Каждый человек должен писать. Умение писать — первый признак интеллигентности. В классических учебных заведениях этому учили, хотя и не готовили писателей. Царско-

сельский лицей... Не будь там рукописных журналов со стихами, повестями, эпиграммами лицеистов, не знаю, имели бы мы Пушкина. Конечно, — пожал плечами, усмехнулся, — Пушкин из тебя вряд ли получится, зато останешься просто грамотным человеком, умеющим излагать мысли на бумаге.

Строительство нового корпуса закончили, наш курс перевели в первую смену. Работу в Стройкомитете пришлось оставить. К Мише Панову я продолжал захаживать. Приятно было сидеть в старом кресле, рассматривать его новые приобретения. И до знакомства с Мишей я много читал, но у него приобщился к другой литературе — изысканной, изящной. С Мишей Пановым я встретился после войны, об этом рассказ впереди. В Арбатской трилогии Миша фигурирует под собственным именем, как Сашин сосед по квартире.

За время работы в Стройкомитете мне удалось еще больше отделиться от студенческой жизни, мало кто мной интересовался, зачеты сдавал вовремя, на «хорошо», иногда на «отлично», в каких-либо нарушениях не замечен, комсомольские взносы платил аккуратно. Но именно то, что я держался особняком, меня и выделило. Стали коситься. Что за белая ворона? Почему такая обособленность от коллектива? Надо поставить на место. Все несут общественные нагрузки — и ты давай! Все учебные заведения рапортуют — сто процентов охвата общественной работой, а мы из-за тебя отставать будем? Их покажут летящими в самолете, а нас изобразят ползущими на черепахе? Так не пойдет!

И выбрали меня членом редколлегии стенной газеты. Редактором газеты был тот самый Дима Рунушкин, тихий, небольшого росточка, чуть скособоченный, чуть косоглазый, неприметный, молчаливый, ни с кем особенно не дружил, учился, правда, лучше других. Делали мы газету на переменках, я редактировал заметки, кто-нибудь, обладавший хорошим почерком, переписывал их начисто, все это прикалывалось кнопками к висевшему на стене фанерному макету, обрамленному лозунгами, портретами Ленина и Сталина и увенчанному тоже вырезанным из фанеры и раскрашенным названием газеты «За отличную учебу».

Мы уже кончали институт, уходили на дипломную практику, весна, настроение веселое, номер до некоторой степени

юбилейный — завершение теоретического курса. Поместили в газете портреты студентов нашей группы с характеристиками каждого, хотя и лестными, но однообразными и скучными: ударник учебы, общественник, морально устойчив, делу партии предан. Чтобы несколько это оживить, я предложил написать на каждого эпиграмму. Мы их тут же сочинили, веселые, наивные, например, про студента Бориса Найденова, толстяка, обжору: «Свиная котлета и порция риса — лучший памятник на могилу Бориса». В таком дружеском тоне написали и остальные эпиграммы, в том числе и на меня:

Упорный труд, работа в моде,
А он большой оригинал.
Дневник теряет, как в походе,
И знает все, хоть не читал.

На первом курсе мне поручили вести дневник посещаемости, я его потерял, был небольшой переполох, дневник нашли, но вести поручили другому студенту. Отсюда и эпиграмма.

В общем, такие невинные стишки мы написали друг на друга и разъехались на практику, а когда вернулись, оказалось, что газету партком снял, а на нас завели дело: «Об опошлении ударничества». Мол, с одной стороны, ударник учебы, с другой — обжора, работа у нас не «мода», а дело чести, доблести и геройства. В общем, вылазка врага. И этим врагом был я — именно я предложил написать эпиграммы, именно я предложил не писать передовицу, все равно она будет в институтской многотиражке. И от общественной работы увиливал, и от коллектива отделился. И в свое время, когда замдиректора Каплана снимали с работы за срыв строительства, подтвердил на собрании его слова, что строительные материалы не подвезли, то есть поддержал разоблаченного ныне врага народа. Оказывается, и в школе, где я учился, учились также дети многих врагов народа и были распространены троцкистские настроения. В общем, наворотили всякое. Рунушкин заявил, что как редактор за газету прежде всего отвечает он. Но Рунушкин был им не нужен, им был нужен я, по соображениям, о которых догадался, уже сидя в

Бутырской тюрьме. Рунушкину объявили выговор, а меня исключили, потом посадили. А он зашел к моей матери, матери арестованного, не побоялся. Я вспомнил, как-то раз мы с ним в колонне демонстрантов проходили по Красной площади, на трибуне мавзолея стоял Сталин, в небе проносились самолеты, и Рунушкин задумчиво произнес: «Спикирует самолет на мавзолей — вот и конец товарищу Сталину». Тогда мне показалось, что он опасается за жизнь товарища Сталина, потом понял: удивляется, почему ни один из летчиков не решится уничтожить тирана. Встречу с Рунушкиным во время войны я описал в «Прахе и пепле».

Второй запомнившийся студент — Петр Булжанов, самый старший в группе, лет за тридцать, старик по сравнению с нами, двадцатилетними, сутуловатый, бледнокожий, очень худой (как велосипед, посмеивались в группе), со щетиной на щеках, редко брился, сидел всегда в пальто на задней скамейке возле батареи центрального отопления, грелся. Родом не то с Урала, не то из Сибири, прямо не говорил, все обиняками, учился на рабфаке и только сейчас, когда рабфаки давно ликвидировали, попал в наш Транспортный институт. Что делал, где болтался, каким ветром занесло в Москву? Необычный в советское время «вечный студент». Сидя на задней скамейке, вроде бы дремал, однако на вопросы преподавателей отвечал сразу, хотя и расплывчато, но правильно. Болезненность его, зябкость, сонливость были, я думаю, притворством — так с него меньше спрашивали. На стройке не работал — врач освободил. Пришла на факультет одна путевка в дом отдыха в Ялту, многие подали заявления, длинные, убедительные, а получил Булжанов, его заявление состояло из одного слова: «Отощал».

По приезде из Ялты рассказывал мне:

— Заходил в Дом-музей Чехова, сестру его видел, Марию Павловну. И подумал: мог бы Антон Павлович писать в наше время? Как считаешь? Пушкин, Лермонтов, Толстой могли бы?

Много читал, на любви к литературе мы с ним и сошлись, тяготел он к крестьянской поэзии, поносимой в ту пору как «кулацкая». О Есенине сказал:

— Конечно, был цветистее других, умел себя подать. Это

большое искусство для поэта — уметь себя подать. Молодой, красивый, скандальный, выделялся. Светский был поэт, по заграницам ездил, на американке женился, из кабаков не вылезал. А те — тихие, спокойные, вон Клычков: «Хорошо, когда у крова сад цветет в полдесятины, хорошо иметь корову, добрую жену и сына...»

Читал стихи, закрыв глаза, тихо, размеренно, кончив читать, спросил:

— Чувствуешь, кто к чему тяготел?

— Чувствую, конечно, но корень у них один — Русь. И наставник один — Клюев.

— Но Есенин мог сказать: «Отдам всю душу Октябрю и Маю», а те не могли.

— Ну как же? «Есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в декретах». Это ведь Клюев?

— Да, Клюев. Потому что верил спервоначалу, даже в партию вступил, искренне говорил, а Есенин, я думаю, для рифмы, для красного словца. Клюев, как все понял, наотмашь бил: «Вы обещали нам сады в краю улыбчиво далеком. На зов пошли — чума, увечье, убийство, голод и разврат!»

— Есенин тоже говаривал такое!..

— Не отрицаю. Все они не принимали советскую власть. Вот Орешин: «Как ярый спрут, ползет по свету слепая мертвенная сталь, ужели вам, как мне, поэту, цветка измятого не жаль». Но в чем разница? Клюев, он из староверов, много по России странствовал, к разным сектам прибивался, Бога искал, стихи его вроде раскольничьих песнопений, духовные, много, как бы тебе сказать, церковной обрядности, древней книжности, архаичности, поэтому он не так понятен, как Есенин. Есенин не стерпел — повесился, а Клюев, да и Клычков с Орешиным, терпят, хотя судьбу свою понимают.

Он посмотрел на меня, снова прикрыл глаза и прочитал клюевское:

— «Я надену черную рубаху и вослед за мутным фонарем по камням двора пройду на плаху с молчаливо-ласковым лицом». — Открыл глаза, взглянул на меня: — Все они пройдут по каменьям двора. Вот этим Есенин и выше их — не захотел, чтобы потащили, сам себя приговорил, а эти стихи хотят сочинять. Вот и досочиняются.

— Слушай, Петро, очень ты откровенно говоришь.

На его полусонном лице вдруг мелькнула насмешливая улыбка.

— А чего мне бояться? Мы же с тобой вдвоем, третьего между нами нет, без свидетелей разговор, кто что кому сказал, как докажешь? — Помолчал. — Сам-то пописываешь?

— Нет.

— Врешь, корябаешь чего-нибудь втихаря.

Из чего я заключил, что он сам пописывает, но спрашивать не стал, захочет — покажет. Не показал. И не затевал больше таких разговоров. Только раз заметил по какому-то поводу:

— Отец мой токарь в депо, до революции дом собственный поставил, содержал семью, восемь гавриков нас настрогал, жили хорошо, сытно, корова своя была. Теперь отец в той же должности едва себя с матерью кормит.

Зябко кутался в пальтишко, засунув ладони в рукава, хотел что-то добавить, но не добавил. Когда началась моя эпопея в институте, сказал внушительно:

— Я тебя защищать не буду, в такие дела не вмешиваюсь, но дам совет: не лезь в бутылку. Это государство тебя, как каток, расплющит. Признавай ошибки, проси прощения, да пожалостливее. Выцарапывайся, если жить хочешь.

Не послушался я его совета, не стал «выцарапываться». Да и не помогло бы.

Навестил я Булжанова в конце пятидесятых в городе Калинине, работал он экономистом в автоуправлении, жил с женой в учрежденческом стандартном деревянном доме в крохотной, скудно обставленной комнатушке. Дочь уже кончила педагогический институт, вышла замуж, перебрались с мужем в Москву.

Выпили четвертинку.

— Моя норма на двоих, — заметил Булжанов, — потягиваешь с пивком, вот и вечер отсидел, можно спать ложиться, еще, значит, денек прожил.

Был он такой же худой, бледнолицый, еще сильнее сутулился, по-прежнему редко брился, щетина на щеках и подбородке была с проседью.

Почти всю войну провел в плену.

— Не я один там был, миллионы, куда денешься? Зато жив остался. За кого умирать-то? Он нас под плен подвел и нас же изменниками объявил. Наши потом придирались, душу выматывали: как и почему? Будто не знали, как и почему. И не сумели подкопаться: в плену у меня все чисто было. Агитировали немцы, харчи хорошие обещали. Я никуда. Что мне надо? Миску баланды сглотну, чинарик раздобуду, заберусь на нары, покуриваю — живу втихаря. Приглядывались они ко мне — доходяга, пристрелить надо, однако лопату в руках держу, значит, годная еще рабочая скотина, на этой ниточке и провисел. Теперь Никита нас вроде бы реабилитировал, только никто ему спасибо не скажет. Сталин перебил миллионы, и все равно поклоны ему кладут, управлять умел, знал секрет. А Никита — мужик, свои же мужики его и скинут, скажут: чем он лучше нас? Такая наша страна Россия.

— Пишешь? — спросил я его.

Он глянул куда-то в сторону шкафа и, как в институтские годы, ушел от ответа.

— А к чему? Читал я твои книжки, не подличаешь, но и всей правды не говоришь. А сказал бы, что толку? Ни до кого бы твоя правда не дошла, только сам загремел бы. Помнишь, говорили мы с тобой о Клюеве, о других, где они теперь? Нет, брат, жизнь наша заячья — сиди под кустом, глазами постреливай — нет ли лисы или волка поблизости. Нет, ну и слава Богу!

8

Ожидал ли я ареста? По-видимому, да. Но не показывал этого матери. Когда меня уводили, улыбался, говорил, что недоразумение разрешится, через несколько дней вернусь. Мне не удалось ее успокоить. Мой арест потряс маму, она стала другим человеком.

Не знаю, как бы я отнесся к такой катастрофе теперь. Мне 86 лет, не так много вроде бы осталось... Думаешь, как будут жить мои без меня, какие надо сделать распоряжения... А сам? Все равно, ну, арестовывайте, сажайте... И все-таки не хотелось бы снова проходить через все это. А тогда?! Тогда мне было двадцать два года. В этом возрасте жизнь кажется нескончаемой, живешь и будешь жить, так или по-другому, хуже — лучше, молодость, здоровье — все при тебе в любых условиях. В юности ничего не страшно, все впереди.

Я сел в поджидавший нас на Арбате автомобиль, рядом со мной — конвоиры с винтовками, машина промчалась по ночной Москве, въехала в ворота тюрьмы, меня посадили в камеру-одиночку, таскали на допросы, объявили контрреволюционером, антисоветчиком, врагом народа, и я понял, что с этим клеймом быть мне изгоем в стране, за которую готов умереть. Теперь, вспоминая проведенные в камере месяцы, тоску, безысходность, отчаяние, я понимаю тех, кто шел на все, лишь бы не отрывали его от дела, которому отдана жизнь. Преданность партии эти люди ставили выше собственного человеческого достоинства и жестоко за это поплатились. Но я не брошу в них камня. Они верили в великую идею и продолжали верить, когда идея уже переродилась. Это было их заблуждением. Заблуждением, но не преступлением.

Тюрьма запомнилась мне своею тишиной, в тюрьме должно быть тихо — тихо, значит, все в порядке. Редкие приглу-

шенные звуки доносятся только из коридора. Чуть слышно шаркает валенками надзиратель, приближается к твоей камере, дрогнула в двери заслонка глазка, надзиратель смотрит на тебя — как живешь-поживаешь, что поделываешь. Глазок закрывается, шарканье валенок отдаляется, стихает у следующей камеры. Так и прислушиваешься весь день к коридору. Негромкий стук ключа по металлу — надзиратель предупреждает следующего коридорного, что ведет заключенного, заключенные не должны попадаться друг другу на глаза, никто не должен знать, кто еще здесь сидит. Три раза в день звуки в коридоре чуть усиливаются — раздают пищу: открывается окошко в двери, удар алюминиевой ложкой об алюминиевую миску, звук наливаемого в кружку кипятка, дверца тихо закрывается. Сильнее звучит металлический скрежет запора, когда открывают дверь и выводят на оправку (утром и вечером) или на прогулку днем, двадцать минут по крошечному тюремному дворику, куда доносится отдаленный глухой шум московской улицы.

В первый же вечер после ужина я услышал осторожное постукивание из соседней камеры — быстрые мелкие удары, короткие паузы, шуршание, потом все стихло. Я не ответил тогда: не умел перестукиваться. И все же это постукивание, полное упорной тюремной надежды, повторялось каждый вечер. Я ответил, когда появился в моей камере сосед и научил тюремной азбуке.

Запомнились и запахи. Хлорки — сильный в уборной, слабый в камере — от параши. Хлеба — тяжелого, плохой выпечки, с отлипающей коркой, но с его кислого запаха начинался новый день. Копченой колбасы, она была в первой маминой передаче — первый запах с воли, из дома, из прошлой жизни.

Мое дело вел следователь Шарок, ставший под своим же именем прообразом одного из главных персонажей Арбатской трилогии. За несколько месяцев Шарок вызывал меня четыре раза, ночью, каждый допрос длился часа три. Внешне Шарок точно такой, каким описал я его в «Детях Арбата», — стройный, русоволосый, красивый подмосковный парень, старше меня, может быть, на два-три года, безусловно, комсомолец или член партии. Дело шил мне откровенно, цинично...

Люди, которых встречаешь на переломе своей судьбы, за-

поминаются навсегда. Тем более, если они ее ломают. В Бутырках в моем деле Шарок представлял безжалостную сталинскую репрессивную систему. Но уже тогда мне где-то в глубине сознания, еще неотчетливо, туманно, но предвиделось будущее этой генерации. Вряд ли Шарок дожил до нашего времени. Но сохранились такие, как он — бездуховные, циничные, алчные.

Я опускаю ссылку, описанную мной в «Детях Арбата» и «Страхе», она закончилась 5 ноября 1936 года.

Не знаю, что тяжелее — ссылка или скитания после нее. В ссылке у меня было ясное положение — лишенный всех гражданских прав, паспорта, не имею права покидать назначенного места жительства. Но была перспектива, надежда — кончу срок, обрету свободу, есть чего дожидаться. На воле я имел паспорт, но в нем отметка, мое право передвижения по стране ограничено небольшими «нережимными» городами. Я меченый. Почему и за что, я обязан указывать в анкетах, автобиографиях, заявлениях, на мне клеймо, бессрочное, до конца жизни. Если я предъявляю паспорт в отделе кадров или сдаю в милицию на прописку, то отметка мгновенно становится известной местному отделению НКВД, оно берет меня «на карандаш», я становлюсь объектом их слежки, их охоты, возле меня появляются осведомители, чтобы накрутить новое дело, а если дело накрутить не удастся, то просто посадить при очередной разнарядке, чистке, всплеске репрессий, ведь я «ранее судимый» по статье 58-10 — за контрреволюционную агитацию и пропаганду, уже битый, поверженный, «обиженный», самый подходящий кадр для пополнения трудовых лагерей.

Гигантская сеть накрыла страну с ее морями, реками, лесами, полями, городами, селами, деревнями, домами, избами, бараками. Под этой сетью копошится двухсотмиллионный народ, никто не выдерется, не выскользнет, не высунется, не встанет во весь рост, обо всех все известно, никто никуда не денется, самовольно не передвинется. Миллионы соглядатаев, энкавэдэшников, милицейских чинов, кадровиков, надсмотрщиков, официальных и тайных, гласных и негласных, проверяют каждого вдоль и поперек, всех до одного, сверху донизу.

И над всем этим беспощадный государственный террор,

всепроникающий и всепронизывающий страх, всеобщая рабская покорность. Газеты, радио наполнены злобой, ненавистью, поношениями, отчетами о судебных процессах, где руководители партии и правительства, создатели Советского государства сознаются в чудовищных преступлениях против этого государства: в убийствах, вредительстве, шпионаже, сотрудничестве с иностранными разведками. Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Тухачевский, Раковский, Сокольников, Пятаков, народные комиссары, старые большевики, прославленные полководцы, герои гражданской войны — все оказались изменниками, предателями. Может быть, их пытали? Но ведь меня не пытали. И людей, которых я встречал в ссылке, тоже не пытали. Тогда что же? Играли актеры? Где же найдешь столько и таких актеров? Непонятно, загадочно, дико.

Но другим, видимо, понятно. Вся страна их осуждает, требует казни. Всюду митинги — расстрелять, расстрелять, расстрелять! Я был поражен, читая в газетах имена писателей, артистов, ученых, требующих крови «изменников». «Презренные наемники фашизма», «выродки», «эти люди не имеют права жить», «кровавые собаки реставрации»... Гонка мастеров слова, кто хлеще напишет, кто злобней выразится. Совесть народа! Могли ли такое произносить Пушкин, Чехов, Толстой?!

Всех повязали одной веревкой — и сильных, и слабых. Многомиллионная страна, поющая «Эх, хорошо в стране Советской жить...», проклинающая вымышленных врагов и прославляющая своих палачей. Несется стадо с бешеной скоростью, и тот, кто замедлит бег, будет растоптан, кто остановится, будет раздавлен. Надо мчаться вперед и реветь во всю глотку, во всю силу своих легких, ибо на тех, кто молчит, обрушится карающий бич, нужно топтать упавших, шарахаться от тех, кого настигнет петля отловщика. И кричать, кричать, чтобы заглушить в себе страх. Победные марши, боевые бодрые песни и есть этот крик.

В октябре 1993 года в центре Москвы расстреляли из танков парламент, убив при этом сто пятьдесят человек. Сорок два писателя одобрили этот расстрел. Ничего не меняется на Руси.

А тогда, ускользая от контроля свирепого государства, я

скитался по стране. Приезжал в новый город, оставлял вещи в камере хранения, шел на почту, звонил маме — жив-здоров, ни о чем не беспокойся. Потом шел в столовую, садился за стол, видел, какая официантка его обслуживает, заказывал тарелку супа: больше денег нет... Она все же приносила второе: парень заметный, завязывалось знакомство, было где переночевать, не у нее, так у подруги или у соседей. Находил работу — шофером, слесарем, жил в бараках на окраине города или в ближней деревне — там не надо прописываться. Как начинали дознаваться, кто я такой, тут же смывался. Опять новый город, камера хранения, звонок маме... Работал перевозчиком на моторке, преподавал западноевропейские танцы, ездил в разные экспедиции, где документы особенно не спрашивают. Многие понимали, кто я, но делали вид, что не догадываются. Были и сволочи, и хамы-начальники, были случайные знакомые, такие же перекати-поле, как я, и девки, и жалостливые бабы, и сомнительные компании, и сильные пьянки — пропади все пропадом! Все было — и радость и гадость. И рядом жили люди, работали, веселились, любили, ходили в театры и кино, рожали детей.

Все те годы меня мучил вопрос: куда ушло из них элементарно-человеческое? Разве знаменитые писатели, ученые, художники не видят чудовищность происходящего? Рядом с ними падают невинные — знакомые, друзья, близкие, в каждой семье был репрессированный. Неужели все верили басням о шпионах и убийцах? Почему все молчали, повиновались, одобряли? Неужели весь народ — трусы, подлецы и карьеристы?

Октябрьская революция подняла миллионы людей к управлению страной, хозяйством, приобщила к культуре, сделала руководителями разных степеней и уровней. Их судьба зависела от незыблемости нового порядка, и потому этот новый порядок надо охранять любой ценой. Ленин дал спасительную формулу: «Нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата», предполагая ее действительной только на время гражданской войны. Но Сталин возвел эту формулу в абсолютную общественную мораль. Что полезно для пролетариата? Решает товарищ Сталин. Все, что исходит от него, все законно, нравственно, этично: убивай, лги, предавай, обманывай — если это одобряет товарищ Сталин, ты чист и безна-

казан. Если ты не донесешь на другого, он донесет на тебя. Всеобщее доносительство стало нормой жизни.

В начале шестидесятых годов, работая над романом «Дети Арбата», я поехал на Ангару в те места, где отбывал когда-то ссылку. Встретился там с секретарем райкома комсомола, милым, веселым, предупредительным парнем. Оказался он из семьи спецпереселенцев, вывезенных сюда в конце двадцатых «кулаков» с Кубани. Привезли зимой, бросили в снег, выживай, как хочешь. Многие погибли в ту зиму. И дед его, и бабка тоже погибли. Отец с матерью уцелели, выкарабкались, прижились тут, детей вырастили.

Говорил он спокойно, ничто не дрогнуло на его лице при рассказе о гибели родных, о судьбе односельчан.

Я спросил:

— Как ты теперь на это смотришь?

Он пожал плечами.

— Досталось, конечно, и деду и бабке, и родителям моим туго пришлось. Но ведь с какой стороны посмотреть. Вот я — секретарь райкома комсомола, учиться поеду в Москву в партийную школу, брат мой — заместитель главного инженера на Красноярской ГЭС, сестра — директор универмага в Иркутске. А не выслали бы тогда деда и бабку и родителей моих, пас бы я теперь на Кубани свиней и гусей, в лучшем случае в трактористы или в комбайнеры вышел. Так что обиды на власть не чувствую. Так получилось. И, выходит, к лучшему.

У этого милого парня не было никакой памяти о своем народе, о его невзгодах и страданиях.

И сейчас, когда я вижу, как топчут память о солдатах, погибших в Великую Отечественную войну, вижу на демонстрациях портреты Сталина, уничтожившего многие десятки миллионов русских людей, в том числе дедов, бабок, отцов и матерей тех, кто эти портреты несет, я задаюсь все тем же вопросом: неужели у нашего народа нет памяти?

А ведь у народа без памяти нет будущего.

9

Исключение из института, арест, тюрьму, ссылку, скитания по России, первые годы войны я описал в трилогии «Дети Арбата», «Страх», «Прах и пепел».

Ее герою, Саше Панкратову, я дал события своей жизни с теми трансформациями, которых требует проза, — без них она превращается в автобиографию.

Название романа «Прах и пепел» символизирует гибель моего поколения и грядущее крушение государства, это поколение взрастившего.

Последний год войны я служил в 4-м гвардейском стрелковом корпусе в должности начальника автомобильной службы. Прибыл туда из госпиталя в начале сентября сорок четвертого года. Корпус стоял за Вислой в шестидесяти километрах южнее Варшавы, на Магнушевском плацдарме, захваченном еще 1 августа.

Рано утром 1 августа войска 8-й гвардейской армии внезапно форсировали Вислу и завладели плацдармом на ее левом берегу. Переправились на 83 амфибиях и 300 лодках и катерах, вместивших всего 3700 человек. Но удар был настолько дерзок, стремителен и неожидан для немцев, что наши батальоны сумели не только переправиться, но и закрепиться, обеспечив переброску остальных войск. Навели мосты, доставили артиллерию, тяжелую технику, танки и расширили плацдарм до 45 километров по фронту и до 18 километров в глубину. К 6 сентября возвели две линии сплошных траншей, перед ними противотанковые и противопехотные минные поля и заграждения из колючей проволоки. Несмотря на все свои отчаянные попытки, противник уже не мог сбросить нас в Вислу.

До Вислы попутными машинами я добрался к вечеру. С реки дул холодный сентябрьский ветер. Начальник переправы сказал:

— Кого вы там ночью будете искать? Переночуйте здесь, утром отправлю.

В заброшенной рыбацкой хибаре на берегу было темно, холодно, сыро. На земляном полу валялось несколько тюфяков, на них, укрывшись шинелями, спали человек пять-шесть солдат или офицеров — тоже, видимо, дожидались переправы. Я нашел в углу свободный тюфяк, снял сапоги, подложил под голову свой вещевой мешок, накрылся шинелью и мгновенно заснул — день был тяжелый.

Утром переправился на плацдарм, явился на командный пункт, расстояния тут короткие, доложился командиру корпуса — Василию Афанасьевичу Глазунову. Генерал-лейтенант, высокий, худощавый, черноволосый, лицо пожилого солдата, неулыбчивое, но не злое. Прочел мое направление, вернул:

— В дивизиях недокомплект машин, жалуются командиры.

Хорошо уже знакомое мне общее указание: в дивизиях должно быть все, положенное по штату, тогда с командира дивизии можно требовать выполнения боевого задания, не выполнит — никакие оправдания не помогут. Снабжение централизованное: фронт — армия — корпус — дивизия — полк — батальон. Но на всех не хватает. Значит, доставай, добивайся, выцарапывай, не зевай! Обеспечил, значит, ты на своем месте, не обеспечил — не тянешь на эту должность. Штабники у своих карт разрабатывают операцию, а командиры и начальники всех рангов и степеней ее готовят. Всю войну я прослужил в автомобильных частях, не хватало шоферов, не хватало машин, запасных частей, резины, бензина, и снабженцы «вертелись», с них требовали, и я, став командиром, тоже заставлял их «вертеться» и сам «вертелся».

— Устраивайся!

На этом разговор с командиром корпуса закончился. Как личность я его не интересовал. Сегодня я есть, зав-

тра — нет: убьют, ранят, переведут куда-нибудь, вместо меня появится другой, и с него будет тот же спрос: обеспечь!

Представился я остальному начальству, кому положено, сдал документы, встал на довольствие, вырыли мне землянку в лесу, вернее, закончили строить уже начатую, положили настил, и все равно приходилось вычерпывать воду.

За неделю я объехал подчиненные корпусу дивизии и отдельные части. Плацдарм представлял собой кусок измокшей, местами сплошь заболоченной земли между реками Пилица и Радомка. Зарываться глубоко в землю трудно: выступала вода, все заливала — траншеи, блиндажи, орудийные окопы. К тому же с середины сентября пошли дожди. Рубили лес, строили дороги, заслоны, перестраивали блиндажи, рыли новые окопы, строили новые траншеи, землянки, ходы сообщения. Армия вела бой с водой, одновременно оборонялась от немецких атак, бомбежек, танков дивизии СС «Герман Геринг». Но этот плацдарм мы не могли отдать — с него начнется главное наступление на Одер, а там и на Берлин. И, борясь с водой, ведя тяжелые оборонительные бои, армия готовилась к генеральному наступлению.

В этих условиях работал и автомобильный транспорт — единственный способ снабжения войск: под бомбежкой, артиллерийским обстрелом, на разрушенных противником переправах. Машины потрепанные, побитые, наши отечественные ГАЗ-АА и ЗИС-5, немного трофейных, тоже изрядно изношенных. Новыми были только американские: «студебекеры», «шевроле», «доджи», хорошие машины высокой проходимости направлялись в основном в артиллерию. Машин не хватало, шофер в работе круглые сутки, поспишь час-другой в кабине — это твой дом и твое рабочее место.

Автомобильное хозяйство корпуса большое: три стрелковые дивизии, артиллерийская бригада и отдельные артиллерийские полки на механической тяге, автороты, батальоны связи, саперные, медицинские, походная ремонтная база (ПРБ) — тысячи машин, тысячи водителей, ре-

монтников. Люди разные, и встречали меня по-разному, но все настороженно. Должность начальника автослужбы новая, раньше ее не существовало, каждый командир части привык распоряжаться своими машинами, как хотел, мое появление означало дополнительный контроль и ограничение прав. К тому же некоторые офицеры были равного со мной звания, один даже подполковник. Но я воевал уже три года, повидал всякое, знал, как подчинить и расположить к себе людей. К тому же имел специальное техническое образование, работал в свое время водителем, разбирался в машине, и в трофейных машинах разбирался — мы их стали брать еще в первую военную зиму, и в американских: их получали с лета сорок третьего года. Шофер мгновенно соображает, кто перед ним: просто начальник или такой, что понимает в деле, может подсказать, помочь, посоветовать и к тому же говорит с тобой по-человечески.

Вернувшись в штаб корпуса, я представил своему начальнику — полковнику Мироненко — рапорт о положении с автомобильным транспортом. В Сталинграде, на переправе через Волгу, Мироненко контузило, с тех пор он плохо слышал. Но его не демобилизовали, а назначили заместителем командира корпуса по тылу: за боевые действия не отвечает, а обеспечением занимаются его подчиненные, начальники служб снабжения: продовольственного, вещевого, материально-технического, горюче-смазочного, медицинского и транспортного обслуживания, теперь подчинили еще одну службу — автомобильную. Человек туповатый, малообразованный, но работать не мешал. Знал армейские порядки — всю жизнь в армии, держался солидно, соответственно своей должности и званию, грузный, представительный, говорил не торопясь, с паузами, беспрекословно выполнял распоряжения начальства и своих подчиненных заставлял выполнять их неукоснительно — большего от него не требовалось, типичный представитель рутинной военной машины, которую приходилось приспосабливать к нуждам войны. После уничтожения в тридцатых годах опытных, знающих военных кадров теперь все годилось: вчерашние лейтенанты командовали полками,

гражданские инженеры на поле боя осваивали военную технику.

Рапорт мой был короткий: не хватает столько-то автомашин, тягачей, резины, аккумуляторов, не хватает водителей, ремонтников.

Мироненко прочитал рапорт, попыхтел, нахмурился:

— В автоотдел армии надо заявку подать. Добиваться надо, а не рапорты писать.

Я предполагал, что он будет недоволен моим рапортом — страхуюсь: вот, мол, в каком состоянии принял автослужбу, и если что случись, я не виноват, я предупреждал. Но идти обычным, привычным путем нельзя: положение с автотранспортом отчаянное, в наступлении корпус окажется в тяжелом положении. И на армейском уровне нам не скоро помогут и мало дадут. Наша 8-я гвардейская армия подчиняется 1-му Белорусскому фронту. В автоуправлении фронта возможностей намного больше, и, главное, там меня знают и обещали помогать. Но рассказывать об этом Мироненко я не хотел. Для него установленный порядок — закон. И если у меня в автоуправлении ничего не получится, то я буду выглядеть болтуном. Ситуацию надо обдумать. И все же я сказал:

— Лучше бы в штаб фронта.

— Как это мы можем? Через голову штаба армии обращаться? Кто это нам позволит? Пиши заявку!

— Слушаюсь!

Однако на следующий день Мироненко меня вызвал, нахмурясь, спросил:

— Ты когда в дивизии ездил, ничего там не натворил?

— Что я мог там натворить?

— Ни с кем не полаялся?

— Нет, вроде бы все было спокойно, а что случилось?

— А то, что вызывает тебя командир корпуса. Зачем вызывает?

Я пожал плечами:

— Не знаю.

— Иди к нему, узнаешь.

Я отправился к Глазунову, привык к таким вызовам. Вслед за мной прибыло мое личное дело: начальник стро-

евого отдела (кадровик) и начальник СМЕРШа его читают и видят — судимость по статье 58-10. Особист берет на заметку, «на карандаш», а кадровик докладывает начальству — его обязанность докладывать о каждом вновь прибывшем работнике штаба, а тут к тому же анкета.

Надо сказать, что на фронте мало кто придавал значение анкете, воюют люди, а не анкеты. Солдаты вообще их не заполняют, и кто там судимый, или из раскулаченных, или сын «врага народа», или из бывших дворян или купцов — никто этого не знает и знать не хочет. И если присвоили кому-то офицерское звание, то он правду в анкете не напишет: во время войны ничего не проверишь. «Органам» работы поубавилось: сами на передовую не стремились, всегда оказывались позади, и разнарядки на аресты, наверное, отменили — людей в войсках не хватает, воюет человек, и ладно! И в стукачи быстро не завербуешь — все в голом поле, все на виду, а если заведется какая сволочь, то в бою получит пулю в спину — люди кругом вооруженные, такого доносительства, как перед войной, в армии не было и быть не могло. Оживились «органы», когда мы стали занимать ранее оккупированные территории: старосты, бургомистры, полицаи, лица, сотрудничавшие с немцами. А дальше пошли бандеровцы-оуновцы, власовцы, польские националисты, эсэсовцы — тут работы хватало. В войсках главным охранителем были политорганы. Партийные структуры пронизывали армию сверху донизу, до взвода, до отделения, уже в батальонах был освобожденный политрук, никаких стукачей не надо, все перед тобой.

И все же повышенный интерес к своей персоне я чувствовал. За годы скитаний по России с «минусом» привык «шкурой» ощущать, что значит любой брошенный на меня взгляд: подозрительность, сочувствие или просто любопытство.

В генерале Глазунове я тоже на этот раз почувствовал интерес к себе, в отличие от первого посещения. Что это — бдительность? Нет! Он за меня не отвечает, отвечают те, кто присвоил мне офицерское звание, прислал сюда и назначил на эту должность.

Но именно то, что я, бывший «враг народа», осужденный за контрреволюцию, не скрывал своей судимости и мне, майору, дали полковничью должность, его, видимо, и заинтересовало.

О генерале Глазунове я знал следующее: из крестьян Пензенской губернии, солдат первой мировой войны, затем участник гражданской войны, там выдвинулся, окончил школу комсостава «Выстрел», к июню сорок первого года дослужился до генерал-майора. В начале войны командовал 3-м воздушно-десантным корпусом. В сентябре 1941 года назначен командующим воздушно-десантными силами страны. Рассказывают, что перед назначением его вызывал Сталин. В докладе о какой-то операции Глазунов употребил слово «ляском» в том смысле, что, мол, выбросили десант и он незаметно, «ляском, ляском», то есть краем леса, подобрался к противнику. Такой оборот речи понравился Сталину. Когда Глазунов вышел, Сталин одобрительно заметил:

— Сразу видно, человек из народа, наш человек.

И утвердил назначение.

Однако в августе сорок третьего года при обсуждении в Ставке очередной десантной операции Глазунов возразил против ее проведения. Сталин не потерпел такой вольности, снял Глазунова с высокого поста и назначил заместителем командира корпуса по строевой части — на должность незначительную и малозаметную. Но и здесь Глазунов сумел проявить себя и через три месяца, в ноябре сорок третьего года, был назначен командиром 4-го гвардейского стрелкового корпуса, хорошо воевал, его корпус первым форсировал Вислу, и в этом году он стал уже генерал-лейтенантом. В общем, кадровый военный с непростой биографией. Кстати сказать, операция, против которой возражал Глазунов у Сталина, провалилась — наш десант немцы расстреляли в воздухе.

Для кадрового военного человека его поколения тридцатые годы были особенно страшными. Командный состав армии — это сложившийся организм, и когда Сталин вырубил в нем сорок тысяч человек, то среди этих сорока тысяч были друзья-товарищи, с кем вместе воевали на

гражданской войне, в Испании, на Хасане и Халхин-Голе, с кем учились в одной школе, служили в одной части. И вот твоего верного товарища, боевого друга, хорошего командира, честного коммуниста, на твоих глазах арестовывают и объявляют «врагом народа». Были ли эти люди на самом деле «врагами народа»? В это невозможно поверить, но и не верить нельзя, иначе как служить делу, которому отдана жизнь? Правильнее не думать об этом. Люди сгинули, перешли в мир, из которого нет возврата никому.

И вот из этого мира возникает человек, живой, сохранившийся, и в памяти, и в сердце всплывает то, о чем хотелось бы забыть. Оказывается, не забылось, ибо те сгинувшие — это твоя юность, твоя молодость, идеалы, за которые боролся, и этот стоящий перед тобой майор напомнил тебе не только о твоих верных товарищах, но и о том, что ты не заступился за них, трусливо ушел в сторону, трусливо потянул руку и одобрил. Крепко сидит в душе заноза.

Эти мысли промелькнули в моей голове в ту секунду, когда по мне скользнул короткий взгляд генерала.

— Садись, чего стоишь!

Я сел.

— В частях был, чего увидел?

Я коротко изложил ему то, о чем написал в рапорте Мироненко.

Он выслушал, затем после паузы сказал:

— Форсировать реку и занять плацдарм легче, чем удержать его. В августе мы отбили более пятидесяти *его* атак, выдерживали в день до десяти налетов *его* авиации. Солдаты устали, и техника побита, не только твои машины. Кому жаловаться?

И Глазунов недоволен моим рапортом, Мироненко доложил: новый начальник автослужбы, вместо того чтобы работать, рапорты пишет.

— Я не жалуюсь, товарищ генерал, я докладываю положение. А положение таково, что никакие заявки в автоотдел армии не помогут.

— Куда же обращаться?

— В автоуправление фронта.

Он опять скользнул по мне коротким взглядом:

— У тебя там что, знакомые есть?

— Да.

— По Москве, по институту?

Ясно, моя догадка об истинной причине вызова правильна, начальник отдела кадров ознакомил его с моим личным делом.

— Нет, товарищ генерал. До госпиталя, до назначения к вам в корпус я служил в Управлении оборонительного строительства. Мы подчинялись непосредственно фронту, там меня знают и обещали помочь на новом месте.

— Помогут?

— Ручаться не могу, но если у них есть возможность — помогут.

Он сказал:

— Ну что ж, поезжай в штаб фронта.

— Полковник Мироненко отверг мое предложение туда обратиться.

— Я ему скажу. Сумеешь достать пару «виллисов» — один Мироненко отдадим.

Он помолчал, видно, хотел что-то добавить или спросить, опять скользнул по моему лицу коротким взглядом.

— В Москве-то где жил?

— На Арбате.

— Знакомая улица.

10

Я действительно знал многих сотрудников автоуправления 1-го Белорусского фронта. Но надежды свои возлагал на одного: на заместителя начальника автоуправления полковника Соломянского.

Познакомились мы в 1942 году, еще во время обороны Сталинграда. Он сразу произвел на меня сильное впечатление: умный, знает дело, талантливый организатор. На таких, как он, держалась на фронте техника. Широкоплечий, подтянутый, с красивым открытым лицом, спокойный, внимательный, надежный. Личность, безусловно, незаурядная. Мы с ним не то чтобы подружились — редко виделись, он был высоким начальством, но ценил меня как работника.

Вновь встретились в сорок четвертом году, Соломянский был уже заместителем начальника автоуправления фронта. После выписки из госпиталя я явился прежде всего к нему.

Он принял меня радушно.

— Поедете в восьмую гвардейскую армию начальником автослужбы корпуса.

— Может быть, в дивизию?

— Нет. В дивизии на этой должности положено быть майору, а вы уже майор, там у вас перспектив нет. В корпусе начальник автослужбы по штату — полковник.

Рассуждал, как кадровый военный: для продвижения по службе надо занимать должность, где положено более высокое звание, чем ты сейчас имеешь. Мне это было безразлично, я не собирался оставаться после войны в армии. Однако говорить об этом Соломянскому не хотел, звучало бы неуважением к его военной профессии.

— Обстановка на фронте вам ясна, — продолжал он, — мы — на Висле, союзники — во Франции. Война прибли-

жается к завершению. Мы нацелены на Берлин. Восьмая гвардейская армия стоит на направлении главного удара. Наступление будет стремительным, коммуникации растянутся, главным средством передвижения и снабжения станет автомобиль, от него будет зависеть успех. И потому нам нужны работники, способные с этим справиться.

— У нас часто судят по званию. Майору на такой должности будет трудно.

— Заставьте считаться с собой. Мы вас поддержим.

— Должен вас предупредить — анкета моя не из лучших.

У меня было правило: не говорить о своей анкете — сами разберутся, кому нужно. Но Соломянский меня рекомендовал, и подводить его я не хотел.

— Нас это не интересует. Вы в действующей армии, и вы воюете. Повторяю: мы вас поддержим.

На фронте слово «поддержка» обозначало помощь людьми, техникой, боеприпасами. На это обещание я и рассчитывал. Соломянский его сдержал. В октябре мы начали получать машины, запасные части, наряды на ремонт. В ноябре командующим нашим 1-м Белорусским фронтом назначили маршала Жукова — все это предвещало наступление. К нему готовились. Октябрь, ноябрь и декабрь я, начальники автослужб дивизий, командиры автомобильных частей мотались между Вислой и Брестом. Перегоняли новые и отремонтированные машины, привозили оборудование, запасные части, резину. Все было хорошо организовано, техника шла потоком, чувствовалась твердая рука Соломянского.

О том, как мы набирали шоферов для этой техники, я написал в романе «Прах и пепел». Позволю себе напомнить читателю эту сцену:

«В армии не хватало шоферов, и поступило разрешение взять их из штрафных батальонов. Тяжелая процедура, но шоферы нужны, и хоть несколько человек спасешь от смерти.

С двумя лейтенантами Саша выехал в штрафной батальон в расположение 13-й армии. Выстроили первую роту. Саша скомандовал: «Водители автомашин — шаг вперед!» Вся рота сделала шаг вперед и замерла. Саша вглядывался в лица этих обреченных людей, с мольбой и надеждой смотревших на

него: попасть на машину — единственная возможность сохранить жизнь. Ни в чем не виноваты, расплачиваются за ошибки и неудачи командования. В «разведке боем» их пускают вперед по открытой местности, противник ведет по ним огонь, всех уничтожает, но наши засекают и подавляют его огневые точки и тогда уже идут в настоящую атаку.

Ни у кого из штрафников не было водительских прав — «потерял», «отобрали при аресте», «работал в колхозе трактористом, приходилось ездить на грузовой». Подогнали две полуторки. Штрафник садился за руль, рядом лейтенант, проверял, как тот водит машину. Из всего батальона отобрали семнадцать человек, хоть с места стронулись, проехали круг».

Вот так вот...

И условия на плацдарме были тяжелые, полевые, ни гаражей, ни мастерских, укрывались в лесах, наступали холода, антифриза нет, подогревать всю ночь машину — бензин зря жечь, значит, спускай воду, а утром опять заливай, а где ее взять, горячую? И в кабине ночью холодно, и с питанием плохо, трофейное кончилось, а норма?.. В каком виде и количестве доходила она до нас?! Все дожидались настоящей зимы, тогда-то и начнется наступление, кончится эта тягомотина.

Тяжело было не только шоферам, еще больше доставалось простым солдатам. Месяцами — в сыром окопе, вычерпываешь воду, ожидаешь обвала от снаряда противника, часами стоишь на посту наблюдения, сидишь в секрете то под палящим солнцем, то под дождем, а теперь вот и в мороз и вьюгу. Жизнь изнуряюще однообразна, линия фронта неподвижна, люди привыкают к противнику и иногда «по-человечески» не мешают друг другу, не ведут огня по движущейся цели, не мешают ходить за водой, с котелком на кухню. «Я по нему буду стрелять, и он мне не даст высунуться, тогда окопная жизнь совсем станет невыносимой». Единственное утешение и развлечение в окопе — песня.

Как и во многих других армиях, в 8-й гвардейской была своя песня. Сочинили ее корреспонденты армейской газеты — Кац и Талалаевский, музыку написал композитор Табачников. Мелодия хорошая, слова непритязательные, запе-

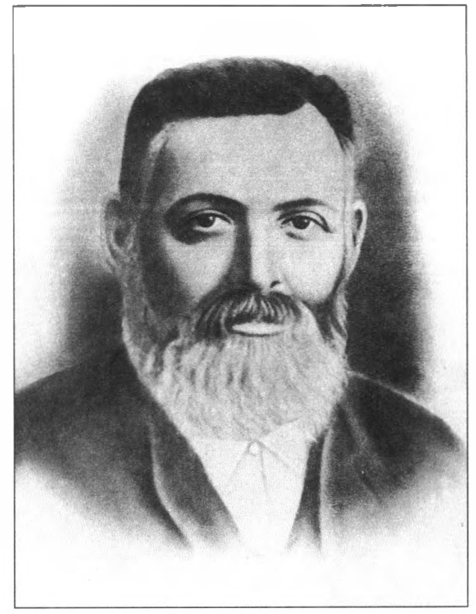


Семья Рыбаковых. Стоят — Лёва, Дина (моя мать), Толя, сидят — дедушка, Давид, бабушка, Миша, Гриша, Аня.



Отец и мать — молодожены. 1910 год.

Дедушка Авраам Исаакович Рыбаков (прообраз Авраама Рахленко в «Тяжелом песке»).





1925 год. Слева направо: дедушка, мама, бабушка, Рая, я.

Дедушкин дом в Сновске.





Дореволюционный Арбат.

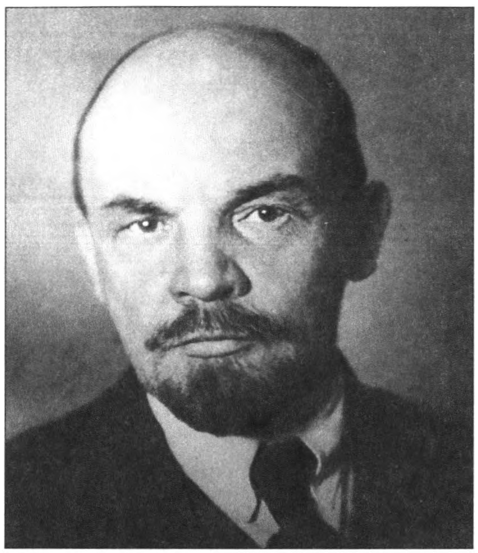
Арбат — 20-е годы.

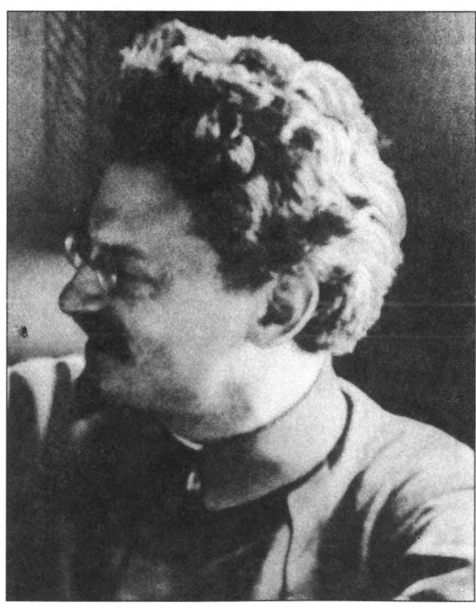




1925 год. Школа (бывшая гимназия Хвостовых) в Кривоарбатском переулке. 6-й класс. Я — в верхнем ряду, четвертый слева.

«Нэп — это всерьез и надолго» —
не сбылись надежды Владимира Ильича.





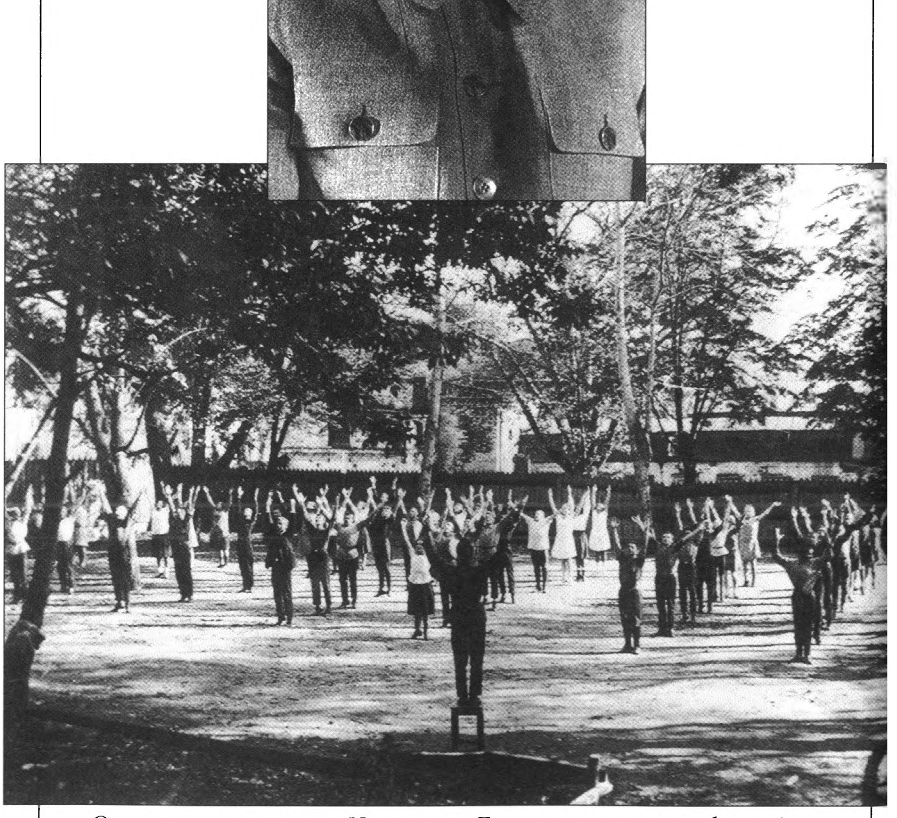
Л. Д. Троцкий: «Если правящую советскую касту низвергнет буржуазия, она найдет готовых слуг среди нынешних бюрократов, директоров, партийных секретарей».

Собрание комсомольской ячейки МОПШКи
(Московская опытно-показательная школа-коммуна).
Я — справа, рядом с выступающим.



1928 год. 9-й класс МОПШКи.

«Смерть решает все проблемы.
Есть человек — есть проблема,
нет человека — нет проблемы»—
такова была философия Сталина...



...Они этого еще не знают. Их лозунг: «Будь готов к труду и обороне!»

1933 год. Моя сестра Рая и я — дети Арбата...



Я через шесть месяцев:
в г. Канске, после Бутырок.

В ссылке.

1942 год — перед Сталинградом.





1943 год — на Курской дуге.



1944 год — в Польше.

1945 год — Германия.



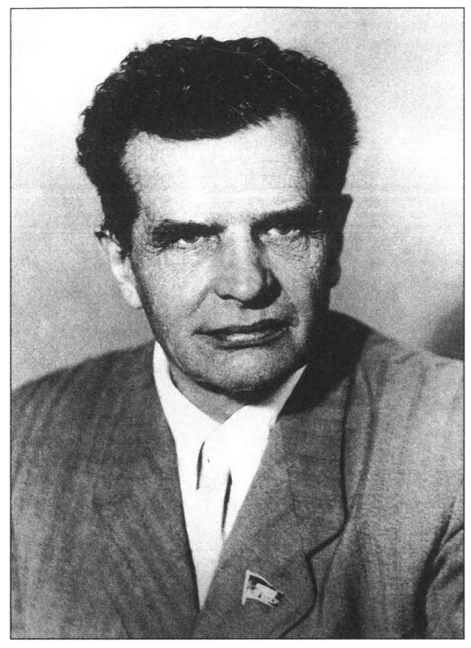


9 мая 1945 г. Берлин. Праздник Победы.



Генерал-лейтенант
В.А. Глазунов.

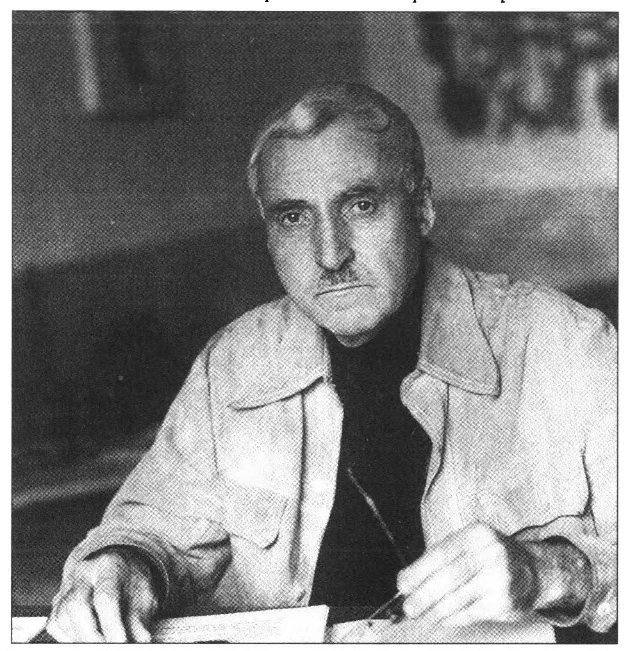
Ф. И. Панферов — главный редактор журнала «Октябрь» (1931—1960 гг.).





Встреча с военными шоферами после публикации в «Октябре» моего романа «Водители».

К. М. Симонов — главный редактор журнала «Новый мир» (1946–1950 и 1954–1958 гг.), где был напечатан мой роман «Екатерина Воронина».





Встреча с читателями. Обсуждение романа.

С Мариэттой Шагинян на 2-м Всесоюзном съезде писателей.



Пишу роман «Лето в Сосняках». 1945 год.

Похороны И. В. Сталина.



Н. С. Хрущев: «Моя заслуга перед историей в том, что меня можно было снять простым голосованием».



ли ее в Сталинграде, пронесли до Вислы, и стала она как бы гимном 8-й гвардейской армии:

Когда мы покидали наш родимый край
И молча уходили на Восток,
Под старым кленом, над тихим Доном
Виднелся долго твой платок...

Спустя четверть века я услышал по радио мелодию этой песни. Композитор Табачников, но слова другие, название другое и автор текста новый — Михаил Танич. Оказывается, после войны Кац и Талалаевский были объявлены космополитами, небезызвестный Анатолий Софронов добился запрещения песни, а Табачникову посоветовал передать мелодию другому автору. Тот и передал ее Таничу — зачем пропадать хорошей мелодии, за которую платят неплохие деньги?

Я разыскал Танича. После моего звонка он запретил исполнение своего текста на эту мелодию. Однако к старому тексту тоже не вернулись. Так умерла песня, согревавшая солдатские сердца на тяжком пути от Сталинграда до Берлина.

За три десятилетия сталинского правления война была, может быть, нашим единственным правым делом. И она требовала иных нравственных ориентиров. Нельзя воевать, если не веришь тому, кто рядом с тобой, опасности войны сплачивают людей, угроза смерти объединяет. Диктатура осталась такой же свирепой, расправа мгновенной, людей не щадили, с жертвами не считались, за каждого убитого немецкого солдата мы заплатили гибелью четырех своих солдат. Система по-прежнему обесценивала человеческую жизнь, но внутренне люди вырвались из ее мертвящей оболочки. На их земле враг, сжигает города, деревни, села, уничтожает родных и близких, несет рабство и унижение. Солдат осознал себя защитником своего народа, своего отечества. Он не только отстоял страну, но и дошел до земли противника. Это подняло его в собственных глазах, пробудило попранное режимом человеческое достоинство.

Сталин понимал, какую угрозу несет диктатуре пробудив-

шееся в людях достоинство. На следующий день после Победы он прежними безжалостными средствами стал превращать народ в ту же покорную забитую массу, над которой господствовал все тот же страх. Именно поэтому война не стала в судьбе России тем поворотным историческим событием, каким она стала для многих стран, в том числе и побежденных.

Приезжал в корпус командующий нашей армией генерал Чуйков. Его боялись, жесткий, даже жестокий командир, суровый герой Сталинграда, с крупными чертами львиного лица, матерщинник, ходил с палкой, которую иногда опускал на плечи подчиненных. Работники штаба старались не попадаться ему на глаза. Приезжал и командующий фронтом маршал Жуков, был в войсках, проводил совещания.

Появлялись инспектора по нашей автомобильной службе, проверяли готовность автомобильного транспорта.

Вскоре меня вызвали в Бяло-Подляску, небольшой городок между Варшавой и Брестом, там проходило фронтовое совещание руководителей автотранспорта. Официально вопрос назывался: «О подготовке автомобильного транспорта к зиме», но всем было ясно, что это вопрос о готовности автотранспорта к предстоящему наступлению. Докладчик, начальник автоуправления фронта генерал Вайзман, отметил хорошую готовность в ряде корпусов, в том числе и в нашем 4-м гвардейском корпусе.

После совещания полковник Соломянский меня поздравил:

— В армии это оценивается как благодарность перед строем.

— Спасибо.

— Помните, вы сказали, что у вас анкета не из лучших?

— Помню.

— При назначении в корпус ваша анкета была мне известна. Тогда я вам этого не сказал. Я хотел, чтобы вы спокойно и уверенно работали, не оглядываясь на свою анкету. Иначе вы не смогли бы выполнить поставленную перед вами задачу, опасались бы конфликтовать с людьми, тем более с начальниками, а в нашем деле конфликты неизбежны.

— Ну, что ж. И за это спасибо.

От него не ускользнула моя улыбка.

— Не обижайтесь, я знаю вашу самостоятельность и хотел ее подкрепить. Кстати, почему вы ни разу не попросили у нас «виллисы» для своего начальства?

«Виллис» — не только удобная американская машина высокой проходимости, но для старших командиров весьма престижна: хоть ты и генерал, но если приехал на старенькой «эмке», это одно, а если подкатил на «виллисе» — другое. Этих машин добивались, их выпрашивали, случалось, даже угоняли из Люблина, из штаба Войска Польского, — поляки хорошо снабжались техникой. Генерал Глазунов в свое время мне намекнул, чтобы я достал «виллис» полковнику Мироненко, я включил тогда в заявку — не дали, а говорить об этом с Соломянским посчитал неудобным.

— Почему не обращался за «виллисами»? Но ведь их распределяет высшее начальство поштучно. Чего же я буду просить?

— А другие просят, клянчат, добиваются. Приходится иногда и помогать. А вы ни разу не просили, и я вам скажу почему. Не хотели, чтобы я о вас подумал: мол, как и другие, таким вот способом налаживает отношения со своим начальством, «виллисы» для них добывает. Угадал?

— До некоторой степени.

Теперь он засмеялся.

— Вы хотя и дельный работник, но немного того... Интеллигент...

— Почему немного? Я — интеллигент.

— Я пошутил... Я и себя причисляю к этой «социальной прослойке». Слушайте. Поедете в Брест, там наш ремпоезд, получите три «виллиса» из ремонта. Это только так говорится — «из ремонта», машины новенькие, этого года выпуска, на спидометре всего-то ничего. Конечно, распределит их командир корпуса. Какие у вас отношения с Глазуновым?

— Отличные.

— Да, настоящий вояка и человек хороший. Распределит он, но все будут знать, что достали их вы, это не повредит вашему авторитету.

— Естественно. За «виллисы» спасибо.

— Дело идет к Победе. Она многое изменит в нашей жизни, вам уж тогда не придется беспокоиться о своей анкете. Конечно, мне здесь, в штабе фронта, легче рассуждать, чем вам, там, в самом пекле. Но... «Или голова в кустах, или грудь в крестах». Будем надеяться на второе. Желаю вам успеха!

Получив «виллис», Мироненко усмехнулся:

— Видишь! Захотел — сделал. Ты все можешь, если захочешь.

В общем, повеселел, отношения с ним наладились.

Соломянский сумел подготовить фронтовой транспорт к решающей операции великой войны: Висла—Одер—Берлин. Я видел в нем одного из новых специалистов, сформированных войной. Это были не помпотехи, механически и безропотно выполнявшие приказания технически безграмотного начальства. Они сами знали, как делать, железно проводили свои решения в жизнь, добивались результата. Эти молодые инженеры во многом обеспечили военное могущество страны.

Между прочим, после войны я познакомился с сестрой Соломянского Лией, вдовой писателя Аркадия Гайдара, матерью Тимура Гайдара и бабушкой Егора Тимуровича Гайдара — нашего будущего незадачливого реформатора. Кажется, она работала редактором в каком-то издательстве, журнале или газете. Помню бойкую женщину небольшого роста, весьма категоричную в своих литературных суждениях. О том, что я знаком с ее братом, Лия знала и как-то позвонила мне, сообщила, что он по делам приехал в Москву, пригласила вечером зайти. Я, разумеется, пошел.

Внешне Соломянский мало изменился, та же осанка, почти не постаревшее открытое, ясное и умное лицо. Меня удивило только, что он по-прежнему полковник. Конечно, в мирное время так быстро, как на войне, в звании не повышают. Но все же почти десять лет службы! А вот генерала до сих пор не получил. Должность не позволяла? Или уже не требуется талант, что так выделял его во время войны, опять нужны посредственности?

Держался Соломянский, как и прежде, дружелюбно, спо-

койный, внимательный, и жена его производила приятное впечатление, простая женщина, возможно, учительница или врач. Я видел, что в этой «столичной» шумной окололитературной компании им неуютно, молча слушают, как пренебрежительно произносятся известные писательские имена. Тем более обрадовался Соломянский моему приходу — нам было что вспомнить. Кто-то из наших фронтовых друзей умер, живые не подают о себе вестей. Грустно. Встречи однополчан тогда не практиковались — в любом единении Сталин видел угрозу своей власти.

На мой вопрос, чем он занимается, Соломянский улыбнулся:

— Служу. Работа все та же. Поскучнее, конечно.

Больше я его не видел, судьбы его не знаю, он затерялся, как сотни и тысячи других фронтовиков.

В истории человечества такие катаклизмы, как война, выносят на поверхность новых деятелей. В Америке президентами стали генерал Эйзенхауэр, боевые офицеры Джон Кеннеди, Джим Картер, военный летчик Джордж Буш. У нас страной руководили старики политработники, не бравшие в руки оружия или вовсе не служившие в армии даже в мирное время. Естественной смены политиков не произошло, произошла неестественная.

Вероятно, в истории действуют свои законы преемственности поколений. Мы их нарушили. И жестоко наказаны. В результате в конечном итоге к власти пришли благополучные, честолюбивые, беспощадные мальчики, безразличные к народным нуждам, ввергнувшие страну в свои разрушительные эксперименты.

11

Наступление с Магнушевского плацдарма началось в 8.30 утра 14 января 1944 года. Стоял густой туман, авиации не было. Наш корпус в своей полосе разгромил глубокоэшелонированную оборону противника, продвинулся на три километра и на следующий день овладел городом Едлинск. Темп наступления нарастал, войска преодолевали сильно укрепленные рубежи, немцы не сумели организовать отхода, рассыпались на мелкие группы, прятались в деревнях, на скотных дворах, в стогах сена, в кустарниках, сдавались в плен. 19 января мы заняли Лодзь, немцы оставили город без сопротивления. Лодзь была под оккупацией более пяти лет, многие немцы там осели, теперь в панике бежали, в квартирах валялись наполовину собранные чемоданы.

Лодзь большой, промышленный, хорошо сохранившийся город, немцы не успели ничего взорвать. Улицы и площади переименованы на немецкий лад, и вывески магазинов немецкие, но в окнах домов уже советские и польские флаги. По улицам движутся наши танки, на броне сидят танкисты в шлемах. Публика на тротуарах ликует, однако восторг вызван поражением немцев, ненавистных «швабов», а не победой советских войск: боятся Советов, коммунизма, колхозов, России.

Я решил разместить в Лодзи походно-ремонтную базу, предприятий много, есть брошенные немцами мастерские с хорошим оборудованием. Поездили по городу с начальником ПРБ Макаровым, подобрали подходящее помещение, поставили охрану, прикрепили табличку: «Хозяйство Макарова», я ему велел передислоцироваться сюда, а сам отправился догонять штаб корпуса.

Дороги завалены порушенной техникой, забиты войсками,

беженцами — немцами и поляками, бредут монашки в черных с белым капюшонах. По бокам щиты: «До Берлина 500 километров», «Даешь Берлин!», «Вперед, победа близка!» И тут же еще не сорванные немецкие указатели дорог и плакаты — женщина прижимает палец к губам: «pst!», «молчи!» У дороги каменное распятие Христа, неподалеку островерхие крыши костелов. Идут заключенные, освобожденные из немецких лагерей, французы со своими флажками, в истрепанных шинелях, небритые, изможденные, толкают тележки со скудным своим скарбом.

Генерал Глазунов со штабистами стояли на обочине, смотрели на французов.

Я крикнул: «Vive la France!» Французы кинулись меня обнимать.

— Французский знаешь, — одобрительно заметил Глазунов.

— В детстве учил.

— Молодец, помнишь... А мы вот выросли безъязыкие.

Был генерал немногословен и справедлив. В отличие от командарма Чуйкова, голоса не повышал, не матерился, не хватался за пистолет, не грозился трибуналом, но и не уговаривал, не убеждал — в наступлении на это времени нет. «Я вам объяснил задачу? Что непонятного? Все понятно. Выполняйте!» Глупые приказы игнорировал: «“Взять высоту!” А что в ней толку, в высоте? Только лишних людей положу». Берег солдата, не все командиры были такие: другим — лишь бы орден получить. Разбирался в людях. Пришлют нового работника, он к нему присмотрится: «Сменял горшок на глину» — и постарается избавиться. На Висле приезжал к нам Жуков, беседовал с командирами, похвалил НП (наблюдательный пункт) Глазунова, сказал, что при наступлении будет находиться в нем. Когда он уехал, Глазунов приказал оборудовать себе новый НП: «Большое начальство затрудняет руководство боем».

Ко мне относился, как ко всем, — сдержанно. Но ценил — автомобильная служба в корпусе поставлена хорошо, насколько это возможно в боевых условиях, в наступлении, под бомбежками, артобстрелами, на разбитых дорогах, разрушенных переправах, при нехватке горючего, боеприпасов, неожиданных маневрах, сменах маршрутов. Вызывал иногда на опера-

тивные совещания, хотя по должности и не полагалось: «Пусть знает задачу». И, как я чувствовал, моя биография, судьба играли роль. В конфликтах с командирами дивизий принимал мою сторону: «Обеспечили тебя транспортом? Обеспечили. Нормально работает? Нормально. А в технических делах — они специалисты». Шоферов, которых многие начальники под всякими предлогами прятали для своих нужд, я безжалостно отправлял в автороты. На жалобы Глазунов отвечал: «Боеприпасы возить важнее, а ты уж обходись, как сумеешь». В двух авторотах были пленные австрийцы — хорошие механики, знали немецкие машины. Смершевец придирался, требовал убрать. Я пожаловался Глазунову, он ответил:

— Сам решай, как быть...

А на другой день, глядя в сторону, сказал:

— Смершевец твой без бензина сидит. Пошли ему пару канистр, вот и поладите.

Встречи, разговоры были на ходу, командные пункты менялись каждую ночь, а то и по два раза в сутки. Бои тяжелые. Особенно кровавыми они были на реке Варта и на сильно укрепленной польско-германской границе. Когда мы ее преодолели, дорожники поставили столб с большим щитом: «Вот она, проклятая Германия!» А рядом прикрепили на дереве другой щит: «Здесь в 12.00 28 января 1945 года первыми вошли в Германию гвардейцы командира Зализюка. Вперед на Берлин!» И пририсовали стрелку острием на Запад: «Берлин — 165 километров». Во всех частях и подразделениях зачитали листовку — обращение военного совета фронта: «Надо каждому уяснить — речь идет не о жалости к немцам. Нам нельзя ронять честь воина Красной Армии, который не уподобится фашистским насильникам и грабителям».

Мощную крепость Познань мы обошли, оставили ее в тылу, блокировав 29-м корпусом.

К исходу 2 февраля части нашего 4-го корпуса подошли к берегу реки Одер и с ходу форсировали ее, захватив в районе Кюстрина несколько небольших, но важных плацдармов.

Крепость Кюстрин в 70 километрах от Берлина окружена Одером, Вартой и их многочисленными притоками. Исключительно укрепленный район с мощным гарнизоном. Здесь сходятся крупнейшие транспортные магистрали, крепость запира-

ет все прямые пути к Берлину. Ворота Берлина! С сушей крепость соединена дамбами, насыпными дорогами с укрепленными окопами, блиндажами, проволочными и минными заграждениями. Нашим танкам развернуться негде. Лед непрочен, переправочных средств никаких. И все же перебрались: жерди, доски, охапки хвороста, на ходу строили настилы, перекидные мостики, переправляли противотанковые орудия вручную, поставив колеса на самодельные лыжи. Наши зенитчики отстали, и немецкие самолеты, летя совсем низко, беспрерывно бомбили переправы. Мы отбивались от них противотанковыми ружьями и пулеметами. Наконец 3 февраля прибыли зенитчики, снова заработали переправы, мы перебрались на западный берег и расширили плацдарм до двенадцати километров в ширину и восьми в глубину. Упорные бои за цитадель Кюстрин продолжались до конца марта, когда крепость наконец оказалась в наших руках.

Однако начинать общее наступление на Берлин было еще рано. В двенадцати километрах от переднего края над местностью господствовали Зееловские высоты с сильно укрепленными крутыми скатами. Высоты закрывали собой плато, на котором должно развернуться решающее сражение. А за ними до самого Берлина сплошная система оборонительных сооружений, многочисленные естественные рубежи: озера, реки, овраги, населенные пункты, приспособленные к круговой обороне. На этом пространстве сосредоточена армия в миллион солдат и в самом Берлинском гарнизоне еще 200 тысяч, они будут биться до конца — отступать некуда, на западе — союзники. Сам Берлин — громадный город с развитыми подземными коммуникациями.

Положение осложнилось еще тем, что Сталин в свое время отклонил предложение Жукова сломить сначала восточно-прусскую группировку противника. Теперь она угрожала нашему правому флангу. То, что не было сделано в нужное время, приходилось делать сейчас.

Это и задержало Берлинскую операцию на два месяца. Да и надо было собраться с силами, за двадцать дней войска прошли с боями 500 километров, тылы отстали, многого не хватало, особенно горючего, перешивка железнодорожной колеи задерживалась, авиация не могла перебазироваться — аэродро-

мы раскисли от дождей, а немецкая свободно поднималась с твердых покрытий берлинских аэродромов.

В таких условиях проводить Берлинскую операцию «с ходу», как требовали некоторые командармы, было невозможно, и Жуков этого не допустил.

Мы подтягивали тылы, базы: автотранспорт работал напряженно. Главное — горючее, требовалось его много, доставлялось мало, мы экономили на всем, ограничили заправки, запретили излишние поездки, машины ходили в тыл только спаренными: передняя машина на жестком сцепе тянет заднюю. Без сцепа на пропускных пунктах машины задерживали, из-за этого скандалы: боеприпасов нет, а ты нас тут держишь!

28 февраля сдался оставленный нами в тылу гарнизон Познани, в конце марта пал Кюстрин — Кюстринский плацдарм теперь целиком в наших руках, и наконец в апреле была разгромлена группировка противника в Восточной Пруссии. Немецкие войска уже не висели над нашим правым флангом. Можно начинать штурм Берлина. В войсках обучались уличному бою — из сталинградцев мало уже кто уцелел. Нашему 4-му гвардейскому стрелковому корпусу достался самый трудный и почетный участок — ось наступления Кюстрин — центр Берлина. Штаб корпуса в железобетонном складе, обнесенном валом, за валом — водоем. Видимость — двенадцать километров во все стороны.

16 апреля в 5 часов утра грохот многих тысяч орудий, разрывы снарядов, мин, авиабомб потрясли землю. В воздух взвились тысячи разноцветных ракет, и в ту же минуту вспыхнули 140 мощных прожекторов, осветив поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки для наших танков и пехоты.

В этой плотной завесе из дыма и пыли наши войска поднялись в атаку. Однако ошеломленный поначалу противник пришел в себя и начал оказывать отчаянное сопротивление. Он был наверху, а мы внизу, как на ладони. Мосты взорваны, солдаты перебирались по их разбитым фермам. Глазунов приказал скатки шинелей оставлять в обозе, их потом подвезут, а в атаку идти налегке, главное — побольше взять патронов и гранат. Противнику еще помогал бурный разлив рек, вода затопила низину и луга, пашни, превратив все в топкую грязь,

начальство фронта и армии нервничало, присылало угрожающие шифровки. Глазунов относился к ним спокойно, уверенно руководил боем. К середине первого дня атаки дивизия Шугаева захватила господствующие высоты севернее Зеелова, а вечером дивизия Securities Зализюка вела бой на подступах к станции Зеелов. Враг не сдавался в плен, не отступал, каждый дом брали с боем. К рассвету 18-го части нашего корпуса сломили врага и двинулись дальше на запад.

Противник с ходу бросал в бой все новые и новые резервы. Генерал Глазунов заметил:

— Немцы допускают большую ошибку — мы их уничтожаем по частям. Им надо бы собрать кулак и задержать нас на оборудованных позициях, благо их много.

Мы с боями шли вперед. Противник сопротивлялся, но это были старики и дети. Дерутся, как могут, старательно, но в победу не верят, хотя и пишут в листовках: «Berlin blaibt deutch», «В Сибирь — нет, лучше смерть». Погода испортилась — пасмурно, прохладно.

— Угрюмая весна, — сказал Глазунов.

К вечеру передовые части корпуса ворвались на восточную окраину Милсдорфа и, ведя уличные бои, продвигались вперед.

Итак, мы в Берлине!

23 апреля корпус форсировал реку Шпрее и продолжил уличные бои. Немцев, вооруженных автоматами и фаустпатронами, приходилось выбивать из каждого дома, дрались на каждой лестничной площадке. В подвалах прятались старики, женщины и дети.

25 апреля корпус перешел Ландверс-канал, овладел кварталами района Нейкельн и вышел на улицу Берлинерштрассе. Немцы упорно защищались, переодевались в гражданские костюмы и стреляли в спину русским солдатам. Наша дальнобойная артиллерия работала плохо, бомбила свои боевые порядки, Глазунов попросил Чуйкова убрать артиллерию с нашего участка. Короткая ночь, короткий отдых, 26 апреля снова в бой, здания горят, дым, пыль, нечем дышать. С поднятыми руками выходят из домов старики — солдаты фольксштурма, сдаются в плен.

27 и 28 апреля штаб корпуса на Вильгельмштрассе. В пер-

вый же день я заметил во дворе худую женщину в темных очках, черном пальто и черном платке. Она пристально вглядывалась в меня. И вечером там же стояла и опять смотрела на меня. А на следующий день нерешительно подошла и протянула клочок бумаги. На нем была нарисована шестиконечная звезда Давида — «могендовид». Ясно: еврейка, скрывалась, а когда пришли русские, решила «рассекретиться», показав «могендовид» советскому офицеру-еврею.

Я повел ее в штаб, предложил снять пальто, она почему-то испугалась: «Нет, нет», — только откинула на плечи платок, черноволосая, полуседая, изможденная, лет, наверное, тридцати пяти-сорока, но выглядела старухой. Я немного знал немецкий, помнил французский, она тоже немного знала французский. На этих двух языках мы и объяснились. «Хочешь перекусить?» Она отказалась, потом согласилась, ела медленно, деликатно, но я видел, *как* она голодна. Звали ее Эмма. А когда она назвала свой возраст, я онемел — шестнадцать лет!

История ее такова. Училась на фортепьяно у фрау Кребер, живущей здесь неподалеку. В 1940 году семью Эммы: отца, мать, бабушку и двух братьев — вместе с тысячами других берлинских евреев депортировали в Польшу. Знала ли она об их судьбе? Промолчала. Но я-то знал. Был и в Кракове, и в Люблине, видел Освенцим, Майданек. Думаю, и она знала.

Однако фрау Кребер оставила Эмму у себя. Как решилась на такое? Эсэсовцы тщательно разыскивали оставшихся в Берлине евреев и жестоко расправлялись с теми, кто их прячет. А вот решилась. И прятала целых пять лет! Вдова, собственных детей не было, возможно, привязалась к девочке, высоко ценила ее дарование, наивно полагая, что талант преодолевает трагедии и злодейства эпохи.

Я слушал рассказ Эммы, смотрел на нее, и постепенно в этом немолодом лице, в очертаниях рта, подбородка, тонкой шее, узких плечах проглянула девочка.

Она говорила медленно, с паузами, будто за эти пять лет разучилась говорить. Просидела в темном чулане, а когда к ней заходила фрау Кребер, то они говорили только шепотом, ведь и «стены слышат». И так пять долгих лет! Эмма не смела ходить по квартире, ее могли увидеть через окно, и соседи внизу могли услышать ее шаги, боялась малейшего шума, малей-

шего шороха. К фрау Кребер даже в войну продолжали приходить ученики, и чулан запирался: вдруг кто-нибудь из учеников случайно толкнется в дверь. Света в чулане не было, и все эти пять лет Эмма провела в темноте, по существу ослепла. Берлин перешел на продуктовые карточки, нормы становились все скуднее, они голодали.

К счастью, в их дом ни разу не попала бомба, иначе, останься они живы, Эмму бы разоблачили. Были попытки поселить у фрау Кребер жильцов из разбомбленных домов. Но в квартире всего две маленькие проходные комнаты, одну из них занимал рояль, и приходят ученики. Обошлось.

Эмма не могла даже умереть.

— Я хотела повеситься, но что бы фрау Кребер делала с моим трупом? Тогда бы сразу узнали, что она прятала еврейку, и потащили бы в гестапо.

— Все позади, — сказал я, — ты жива, тебе всего шестнадцать лет. Не падай духом. Хочешь, провожу тебя в нашу комендатуру?

Она отпрянула.

— Зачем в комендатуру?

— Выдадут продуктовые карточки и тебе, и фрау Кребер.

Она помолчала, потом спросила:

— Скажите, американцы уже в Берлине?

— Американцы... Пока нет. Ты хочешь к американцам?

— У меня есть родственники в Америке. Папа оставил адрес.

— Одно другому не мешает. Чтобы с ними списаться, потребуется время. А тебе надо прийти в себя, нужна медицинская помощь.

Она опустила голову.

— А как вы думаете, когда здесь будут американцы?

— Не знаю, еще идет война. Слышишь выстрелы? Хочешь, сама пойди в комендатуру, там есть переводчики.

— Я должна сначала поговорить с фрау Кребер.

— Поговори.

Она поблагодарила, встала, надвинула платок на лоб и на щеки, кивнула головой на прощание.

Как я понял, в нашу комендатуру она не пошла.

Где ты теперь, Эмма?

* * *

Весь день 30 апреля шел напряженный бой. В 16.00 в расположении нашего корпуса появились немецкие парламентеры. Мы прекратили огонь. В 17.40 в сопровождении свиты явился генерал Кребс, представитель германского Верховного командования. Глазунов отправил его в Военный Совет, где Кребс заявил, что Гитлер застрелился, у них новое правительство, просят приступить к переговорам о мире. Им ответили — никаких переговоров, только безоговорочная капитуляция. Когда Кребса со свитой стали провожать обратно, то метров за 30 до немецкого переднего края немцы открыли огонь и убили нашего сопровождающего офицера и двух солдат. Наши открыли ответный огонь, и пехота пошла в атаку. В этот день над рейхстагом поднялся советский флаг.

2 мая комендант Берлина генерал Вейдлинг подписал условия капитуляции. Немцы начали сдавать оружие, тут же их отправляли на берлинский аэродром, организовали там сборный пункт. Бои в Берлине прекратились. Город разрушен, улицы завалены обвалившимися стенами домов. Для очистки улиц и тушения пожаров выделены войска и мобилизовано население.

Не верится, что война кончилась.

8 мая подписан акт о всеобщей капитуляции Германии.

9 мая — праздник Дня Победы. Выпили изрядно.

В Берлине наш корпус пробыл до 2 июня, а потом передислоцировался в оставленную американцами зону от Хемница до чехословацкой границы.

Штаб корпуса — город Райхенбах.

12

Райхенбах — небольшой, тихий городок на юге Германии.

Штаб корпуса разместился в здании окружного суда, где в уборных в каждом унитазе было написано «Британия»: немецкий юмор, означавший, что ты справляешь большую или малую нужду прямиком на англичан. Улица огорожена шлагбаумами, в прилегающих к штабу домах жили его сотрудники. Мне разрешили жить отдельно, на соседней улице в частном доме, доступном немцам для посещения, — этого требовали мои деловые связи с предприятиями, где ремонтировали технику.

— Немцы, говоришь, должны приходить? А может, немки? — спросил генерал Глазунов.

— Бывают и женщины хозяйками предприятий, — ответил я.

— Ладно, со своими хозяйками сам разберись, а наших офицеров с бабами к себе не пускай. Чтобы девок не водили, понимаешь, бардака чтобы не устраивали.

Райхенбах не бомбили, боев тут не было, война не оставила видимых следов. Конечно, в каждой семье есть погибшие, но немцы не заводили об этом разговора, понимали, что те погибшие стреляли в нас, а потому и мы стреляли в них.

Но война кончена, под прошлым подведена черта. И мы этих приветливых, аккуратных, вежливых немцев и немок не связывали в своем сознании с гнусной безжалостной солдатней, что убивала наших матерей, жен и детей, жгла наши села и города. Мы очутились в другом мире, в другой стране, в Европе. Другие дома, другой быт, другие нравы и обычаи, другой строй мыслей. Мы — победители, мы власть, которой они подчинялись так же безропотно, как и предыду-

щей власти, может быть, даже более охотно: освободились от гитлеровской деспотии, а сталинская деспотия к ним еще не пришла, освободились от тягот войны, сокрушительное поражение Германии развеяло мифы о ее непобедимости, истребило национальное чванство. Оккупация не улучшила материальные условия их существования, перебивались кое-как, но, аккуратные, точные, исполнительные, сумели наладить жизнь в городе.

В эту жизнь вписались и мы, советские офицеры и солдаты. Никаких эксцессов, насилий, мародерства, унижений. Глазунов предупредил личный состав: за малейшее незаконное действие по отношению к местному населению виновные будут преданы суду военного трибунала. Офицеры и солдаты могли раз в месяц посылать посылки на родину, но только вещи, купленные в Военторге.

Однако попытки командования ограничить наши связи с местным населением не увенчались успехом. В Райхенбахе было много одиноких женщин, и они истосковались по мужчинам не меньше, чем мы по женщинам. Молодые, доступные, ласковые, ухоженные немочки, хорошо пахнущие, «по-заграничному» одетые, — в нашем скудном советском довоенном быту мы таких и не видывали. И наши офицеры и солдаты были молодые, здоровые, мужественные и привлекательные в своей военной форме, опаленные войной, увешанные орденами. «Herr leutnant», «Herr hauptmann», «Herr major», даже «Herr oberst», а то и просто «Herr soldat». Немцы уважают чины и звания. Где-то я читал, что жена Гёте обращалась к нему не иначе как «господин старший советник».

Безусловно, формула «Война все спишет» действовала здесь так же, как и у нас на родине. Играло свою роль и то, что советский офицер и даже солдат мог подкармливать свою подругу. Пайки хорошие, есть и трофейное продовольствие. А немки голодны. Должен все же кавалер угостить свою даму. И дамы охотно угощались. Клали на тарелку кусочек хлеба, намазанный маслом, и ели его вилкой и ножом, как едят второе блюдо. Такая изысканность нравилась нашим «кавалерам».

Бывали, конечно, случаи, когда эти связи заканчивались иначе.

Служил в штабе тыла майор Деменков, начальник продовольственного снабжения, офицер лет сорока пяти — старик в нашем представлении: взрослые дети. Кадровый военный, из младших интендантов дослужился до майора, малообразованный, неразговорчивый, но влиятельный — от него зависели наши желудки. Среднего роста, плотный, коренастый, голубоглазый, лицо ничем не примечательное, даже скучноватое, такие лица бывают у пожилых военных штабистов-тыловиков, но сытое, округлое, беззлобное и потому не лишенное некой приятности.

И вот оказалось, что у майора Деменкова есть в Райхенбахе любовница, причем постоянная, он жил у нее на квартире. Как-то Деменков позвал меня в гости: «Зайди вечерком, посидим». Я, конечно, зашел: у него можно выпить, хорошо закусить — начпрод все-таки. Кроме меня были еще три офицера, все «нужные»: майор Неплюев — начальник строевого отдела (отдел кадров), в его руках — звания, ордена и тому подобное, майор Репин — ведал вещевым снабжением, капитан Чканников — начальник хозяйственной части, ну и я — ведал машинами. Деменков знал, с кем поддерживать отношения. Состав компании меня не удивил, удивило другое. Вечеринка созвана по случаю дня рождения хозяйки, Эльфриды. Пухленькая, в кудряшках, энергичная, ловкая и оборотистая, «востренькая», как у нас бы сказали. Моложе Деменкова лет на десять, командовала им, он был у нее «под каблуком».

История эта имела продолжение.

В 1972 году немцы пригласили меня в Росток на книжную ярмарку. Я согласился при условии, что мне предоставят переводчика и машину для поездки в Райхенбах. К тому времени уже были написаны «Дети Арбата», и хотя не печатались и было неизвестно, будут ли когда-нибудь напечатаны, я все-таки обдумывал продолжение и старался посещать места, где когда-то жил, ездил на Ангару, в Уфу, Калинин, в Рязань, а тут предоставилась возможность посетить Райхенбах, где я жил в 1945-1946 годах. Поездка на машине через всю ГДР, от Балтийского моря и до чехословацкой границы, мероприятие — дорогостоящее, но издательство было заинтересовано в моем приезде.

Через двадцать шесть лет я вновь очутился в Райхенбахе. Маленькие немецкие города похожи друг на друга, и улицы в них схожи. Я забыл название улицы, на которой жил, но помнил короткую дорогу до нее от штаба корпуса и хорошо помнил свой дом с балконами, напротив — во дворе другого дома — гараж, где я держал обе свои машины: «опель-капитан» и «опель-олимпию». Я нашел улицу, нашел двор с гаражом, но дом напротив не имел балконов. Я стоял у его подъезда в недоумении: мой это дом или нет, если мой, то куда девались балконы, если не мой, значит, я попал не на свою улицу. Объяснив переводчице и шоферу проблему, я продолжал стоять у подъезда, размышлял, как быть, что делать.

В это время к дому подошли две старушки, остановились у подъезда, смотрят на меня и вдруг в один голос произносят:

— Herr major...

Я сразу их вспомнил, сестры, одинокие, бездетные, жили на третьем этаже и тогда казались такими же старенькими, как и сейчас. И тогда тоже ходили вместе.

У меня были хорошие отношения с жильцами дома. Я помогал им, дал осенью машину привезти каменный уголь для отопления, овальной формы черные брикеты, прожили зиму в тепле.

Старушки сказали, что хозяйка моя умерла несколько лет назад, сын ее в Западной Германии, в квартире живут другие люди, а балконы в доме уничтожены давно, как ветхие и опасные в аварийном отношении.

Так мы и стояли — я, переводчица, шофер, старушки, тут же машина. Подошла еще одна женщина, остановилась у подъезда, прислушалась к нашему разговору, спросила:

— Вы приехали без всякой надобности, просто так?

— Да. Потянуло посмотреть места, где жил когда-то.

— Нет, — убежденно произнесла она, — это за вас Бог решил.

Я улыбнулся, не хотел обсуждать эту тему.

— Возможно...

— Подождите меня здесь пять минут, ровно пять минут, это очень важно.

У меня не было охоты дожидаться ее. Экзальтированная особа. Но отказать неудобно.

— Ровно пять минут, — заторопилась она и скрылась за углом.

Она действительно вернулась через пять минут, но не одна, а с молодой женщиной в белом фирменном халатике, они торопились, и, подойдя, молодая женщина, запыхавшись и к тому же волнуясь, спросила:

— Вы служили здесь в сорок шестом году?

Голубоглазая блондинка лет, наверное, двадцати пяти, с прекрасными волосами, кожей, правильными чертами лица, этакая Брунгильда.

— Да, я здесь служил в сорок шестом году.

Она не спускала с меня глаз.

— А вы знали major Demenkoff?

Я все понял. Она дочь нашего бывшего начпрода майора Деменкова. По времени совпадает, и похожа на него. Но его крестьянское лицо в ее, так сказать, тевтонском исполнении отчеканилось, проступила порода.

— Да, я знал майора Деменкова, и я знаю твою мать Эльфриду.

Она схватила меня за руки:

— Будьте так добры, зайдем на минуточку к нам, повидайтесь с мамой.

Эльфрида, естественно, постарела за эти годы, но осталась такой же бойкой, подвижной, энергичной, как и раньше. Она кое-как, но достаточно, чтобы мы понимали друг друга, говорила по-русски, и я отпустил переводчицу до вечера. Дочь Эльфриды, ее звали русским именем Майя, содержала косметический салон и должна туда бежать — оставила в кресле клиентку. Через час вернется и очень просит ее подождать.

За этот час, отлучаясь иногда на кухню, Эльфрида рассказала мне историю своей дочери.

Майя родилась в конце сорок шестого года, в том же году расформировали наш корпус. Деменков уехал в Берлин, где в штабе советских оккупационных войск должен был получить новое назначение, о чем собирался немедленно сообщить Эльфриде.

— Я вам расскажу, как все было, — предупредила Эльфрида, — но... Майя очень любит своего отца, и об ее отце надо говорить только хорошо.

— Понятно.

Продолжая свой рассказ, Эльфрида, когда упоминала Деменкова, называла его по имени-отчеству: Михаил Федорович, произнося это так: «Михель Феодорович».

В общем, уехал наш «Михель Феодорович» в Берлин и, естественно, исчез. Таких вот прижитых детей наши ребята оставили в Германии, наверное, немало. Но здесь случай был особый: Эльфрида — женщина, которую не так-то легко бросить. Она начала разыскивать «major Demenkoff» и, представьте, нашла: служит в пригороде Берлина — Карлхорсте. С ребенком на руках Эльфрида явилась в Берлин, оставила Майю у знакомых, а сама отправилась к Деменкову.

Представьте себе состояние несчастного Деменкова. В Москве законная жена, семья, внук появился... Честный служака, дисциплинированный член партии, до пенсии осталось немного, и вот пожалуйста, «аморалка» на старости лет.

Как он выкручивался перед Эльфридой, чем оправдывался, не знаю, по ее словам, утверждал, что нового назначения еще не получил, поэтому не писал, на днях получит, тогда они с Эльфридой подумают о судьбе Майи, родную дочь он никогда не оставит и так далее, и тому подобное. После этого Эльфрида с Майей поселились в Берлине, отношения возобновились, конечно, в глубокой тайне, деваться Деменкову некуда. Однако является он как-то вечером и говорит Эльфриде, что их связь раскрыта, ему вручили билет, приказали завтра же выехать в Москву, где будет разбираться его персональное дело, и что его ждет, он не знает: могут уволить из армии, исключить из партии, а то еще что-нибудь похуже. Если же в Москве все обойдется, он подумает, каким образом сумеет помогать Эльфриде. Эльфрида вернулась в Райхенбах, только убедившись, что Деменкова в Берлине нет, он действительно уехал в Москву.

Из Москвы Деменков не писал, ничего не передавал, адреса своего не оставил, исчез из ее жизни. Эльфрида понимала, что все это он перед ней разыграл, ничего с ним не случилось. Но умная женщина придумала свою версию.

Райхенбах — город маленький, всем было известно, что отец Майи — русский офицер. Репутация дочери только и имела значение для Эльфриды. Она сказала друзьям, что кто-то донес на Деменкова и за связь с иностранкой его арестовали. Эльфрида оказалась мудрой матерью и внушила девочке, что отец ее герой, боевой русский офицер, мужественный и благородный, и когда от него потребовали разорвать отношения с женой и дочерью, он категорически отказался, за что был сослан в Сибирь. Прошел всю войну, участвовал в боях и сражениях, остался жив, но за свою маленькую Майю не пощадил собственной жизни и свободы.

С гордостью за отца Майя и выросла. Насмешки и поддразнивания в школе, в доме и на улице ее не задевали, наоборот, давали повод еще выше поднимать голову, укрепляли преклонение перед отцом. Ее убежденность передавалась и другим. Не случайно так взволновалась женщина возле подъезда, тут же побежала за Майей, сочувствовала ей, и она, конечно, не единственная здесь. «Бог решил!» — вот ведь как! Может быть, эта история стала легендой города, а Деменков ее героем?!

Между прочим, года за два или за три до поездки в Германию я встретил Деменкова в цирке на Цветном бульваре, на дневном представлении в воскресенье. Я был с сыном, он с внуком, пополневший, гладколицый, спокойный, приветливый. Благополучно закончил службу, вышел на пенсию в звании полковника. Старший сын тоже полковник, служит. Дочери, старшая и младшая, врачи. Ну, конечно, внуки, дача, то да сё, хватает стариковских забот.

— Ну, а ты, говорят, в писатели вышел, лауреат. Правда?

Я засмеялся:

— Читать надо.

Он не понял шутки, серьезно ответил:

— Да, надо будет почитать.

Читать он, конечно, не будет, в жизни своей ни одной книги не прочитал. Но подумал я тогда: серый, посредственный мужичонка *после* войны от майора дослужился до полковника. А Соломянский остался в том же звании, в каком воевал.

Прибежала Майя, улыбнулась мне на ходу, прошла в свою комнату, переоделась, вышла веселая, оживленная, сияющая... Села против меня, посмотрела прямо в глаза:

— Может быть, вы что-нибудь слышали о судьбе моего отца?..

— К сожалению, нет.

— Когда у вас правил Хрущев, мы с мамой надеялись, что его отпустят... Но мама думает, что он погиб в Сибири.

— Да, я так думаю, — подтвердила Эльфрида. — Если бы он был жив, то обязательно или бы приехал, или бы написал. Я его хорошо знаю.

Майя сидела задумавшись, затем тихо сказала:

— Жаль... Мне хотелось бы хоть раз в жизни увидеть своего отца.

Эльфрида поставила на стол традиционную немецкую свинину с капустой.

За ужином я спросил Майю:

— Ты такая молодая, красивая, у тебя собственное дело. Почему не выходишь замуж?

Она гордо вскинула голову, тряхнула золотыми локонами.

— Я никогда не выйду замуж.

— Почему?

— Потому что не встречу такого человека, каким был мой отец.

Этот миф помогает ей жить.

Я почему-то вспомнил Эмму, девушку из Берлина, пять лет просидевшую в темном чулане.

Так складываются судьбы человеческие в этом мире.

13

Ничего особенного в нашей жизни в Райхенбахе не происходило — обычная гарнизонная жизнь в покоренной и покорной стране. Ходили слухи о каких-то партизанах — «вервольфах», я их не видел, думаю, это были домыслы. Мы свободно ездили по стране и днем и ночью, останавливались в городах и деревнях, никто на нас не нападал, никто не стрелял.

В Германии все продумано, организовано, дорожные знаки, указатели, прекрасные автострады, асфальтированы даже дороги, ведущие в поле и к фермам, все чисто, подметено, при гололеде каждый хозяин обязан посыпать песком или золой участок дороги против своего дома. Открыты кинотеатры, пивные, танцевальные залы, где веселилась молодежь и куда наведывались комендантские патрули отлавливать наших солдат, уходивших из казармы без «увольнительной».

Началась демобилизация старших возрастов. В июле сорок пятого года — первая очередь, осенью — вторая, весной сорок шестого года — третья... Из 11-миллионной армии за два года уволили 8,5 миллионов. Однако ликования не было. Почему? Отвоевали войну, уцелели, герои с орденами и медалями, а домой уезжали без особого энтузиазма. У многих не было ни дома, ни семьи — уничтожили немцы. Куда ехать? Но те, кому было куда ехать, тоже пребывали в раздумье. Военная служба освобождает человека от многих забот. В обычных условиях она, конечно, тягостна, а здесь условия необычные, жизнь за границей привлекательнее той, своей, советской. Казарма. Да. Но и отечество тоже казарма. Здесь казарма сытная, и, как ни верти, Европа. Дома — скудость, постылое начальство, НКВД, колхозы, трудодни, не ходи туда, не смей того, все знали, в какую жизнь возвращаются.

О войне написано много стихов, неплохих, даже талантли-

вых. Но истинно провидческим считаю одно — Михаила Исаковского.

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?..
....
Он пил — солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил...»
Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

И медали оказались не нужны... «Ходит, трясет жестянками, надоели со своими бляхами».

«...Что муж в сраженьях изувечен, что нас за то ласкает двор...» — писал Пушкин. Наших изувеченных не ласкают, даже пенсий вовремя не выдают, стоят с протянутой рукой... *Победители!*

Особенно тяжело было возвращаться парням и девушкам, угнанным в Германию на принудительные работы. «Солдатам хорошо, воевали, а нам что скажут: “на врагов, на немцев работали”?..» Девушки предпринимали отчаянные попытки остаться любым способом: уборщицами в комендатурах, в банно-прачечных отрядах, поварихами на солдатских кухнях или выйдя замуж за какого-нибудь младшего офицера. У одного командира автороты появилась такая жена, ей велели уехать: «Приедете домой, там и женитесь и распишетесь».

Уполномоченным СНК «По делам репатриации граждан СССР» назначили генерала Голикова. Перед войной был он начальником Главного разведывательного управления (ГРУ), в угоду Сталину отклонял сообщения наших агентов о предстоящем нападении Германии, на донесении Зорге о том, что Германия нападет в июне, написал: «В перечень сомнительных и дезинформационных сообщений». На доклады к Стали-

ну ходил с двумя папками. Если Сталин был мрачен, докладывал утешительную информацию, если благодушен, говорил правду. Во время войны Сталин назначил его командующим Воронежским фронтом. Голиков так им командовал, что в начале сорок третьего года немцы отбили у нас обратно Харьков и Белгород. Жуков потребовал его заменить. Сталин согласился, но сделал своим заместителем по кадрам, а после войны по совместительству и начальником Управления по репатриации. Безжалостный и бездарный угодник лебезил перед Сталиным, а потом перед Хрущевым, участвовал в травле Жукова, за что в 1961 году, через шестнадцать лет после окончания войны, получил звание маршала. Можно представить, каким проверкам, унижениям и репрессиям подвергал он граждан СССР, работавших на территории врага. Девушки не знали никакого Голикова, но наши порядки знали хорошо, и что их ожидает, отлично понимали.

Как-то приехал я в один городок в нашей зоне, попросил у коменданта переводчика — поговорить с хозяином авторемонтной мастерской. Переводчицу звали Мария. Симпатичная девчушка. Во время поездки рассказала мне свою историю. Из Смоленска, отец русский, мать — еврейка. Когда началась война, отец и мать, врачи, сразу ушли в армию, а через месяц, в двадцатых числах июля, немцы заняли Смоленск, однако перешли к обороне, мобилизовали население на рытье окопов и противотанковых рвов. Марии исполнилось семнадцать лет, по паспорту — русская, фамилия — русская и похожа на русскую, ее тоже послали на рытье окопов. Разместили в бараках. Как-то приходят они поздно вечером с работы, взобралась Мария на свою полку и сквозь сон слышит, что внизу одна женщина говорит другой:

— А у Машки мать — еврейка, участковым врачом у нас была...

На следующее утро Мария сумела присоединиться к эшелону, увозившему в Германию наших парней и девушек. В Германии ее направили к «бауэру», богатому крестьянину недалеко от Дрездена. Все было спокойно. В сорок четвертом году сдружилась с парнем-украинцем, тоже «перемещенным лицом», хороший парень, в прошлом комсомолец, и в минуту откровенности все ему рассказала о себе. На следующий день

ее забрали — друг донес. В гестапо она отрицала еврейство своей матери.

Ее били, будили ночью в камере, разговаривая с ней на идише, ничего не помогало. Версия ее тверда — русская из Смоленска, вот ее адрес, вот номер школы, где училась, отец и мать военные врачи, проверяйте! А как проверить? Смоленск теперь в руках русских. Как подозреваемое лицо, сидела она в дрезденской тюрьме, с другими заключенными гоняли ее на работы. Весной сорок пятого года ведут их на работу, а тут знаменитая бомбежка Дрездена англо-американской авиацией. Колонна заключенных рассыпалась, караул разбежался, Мария отсиделась в какой-то подворотне, после отбоя выглянула на улицу, увидела двух девушек, говоривших по-русски, попросила принести какую-нибудь одежду, на ней была тюремная роба. Девчонки, молодцы, принесли ей кофточку, юбку, старенькое пальтишко, Мария переоделась и пошла на восток, знала, русские недалеко, на Одере. Но не дошла. Опять бомбежка. Очнулась в крестьянском доме, оглушенная, контуженная, но живая, целая. Хозяева, пожилые немецкие крестьяне, муж и жена, выходили ее, откормили; когда она окончательно пришла в себя, спросили:

— Мария, на тебе белье с тюремным штампом. Расскажи всю правду о себе.

И она рассказала. Старики ей поверили. И хотя оба их сына погибли на Восточном фронте, не выдали. Она жила у них, пока не пришли русские. В их двор вошли наши солдаты. Мария выбежала им навстречу:

— Братцы, родные, здравствуйте!

Один из солдат начал к ней приставать, но появился старший лейтенант, прогнал его и взял Марию с собой. Какую роль сыграл или играет этот старший лейтенант в ее жизни, я не понял. Уже год она служит переводчицей в комендатуре. На родину возвращаться боится.

— Спросят: почему меня, наполовину еврейку, оставили в живых? Служила немцам? Своих предавала?

Хотелось как-то ее обнадежить.

— Перемещенных лиц миллионы. Каждого так уж и проверяют?

— Да, каждого. Уже здесь, в комендатуре, отправляя лю-

дей на сборные пункты, мы на каждого заполняем анкету. И на пункты отправляем на грузовых автомашинах с сопровождающими, чтобы не разбежались.

Я вспомнил, как освобождали мы немецкие концлагеря в Польше. С каким ликованием и торжеством, свободно уходили на родину пленные других стран. И как забирали смершевцы наших военнопленных, истощенных, измученных, хмурых, переписывали, допрашивали, загоняли в товарные вагоны и отправляли на новые проверки и допросы, ведь, по Сталину, они — изменники. Нашлась наконец нашим энкавэдэшникам настоящая работа...

— Ты домой, родителям писала?

— Писала. Ответа нет. И в Главное санитарное управление писала, тоже не знают... Может быть, убиты, они на войне с первого дня.

— Дрезден в нашей зоне, запроси дрезденскую тюрьму, в списках заключенных ты значишься. Вот и доказательство, что не сотрудничала с немцами.

Она отвернулась.

— Наверное, съезжу туда... Попрошу нашего коменданта.

Месяца через два я опять попал в этот городок. Марии уже не было — уехала на родину вместе с демобилизованным комендантом. Может быть, поженились? Возможно, он и есть тот самый старший лейтенант, который защитил ее в свое время? Все может быть...

Но что это за родина, на которую так страшно возвращаться?

Этот вопрос возникал и передо мной, хотя дела мои складывались вроде бы благополучно.

За Висло-Одерскую и Берлинскую операции я получил два ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени. В Райхенбахе начальник кадров майор Неплюев передал мне вызов: 19 октября явиться в город Цвикау в военный трибунал.

— Зачем?

— Не знаю. Дело твое запросили. Теперь вот тебя требуют.

Чего им надо? Ладно, посмотрим!

Отправился я в Цвикау, явился в трибунал. Оказалось, командир корпуса генерал Глазунов сделал представление о снятии с меня судимости. Задали мне два-три вопроса и через

час вручили «Справку о снятии судимости»: «За проявленное отличие в боях с немецко-фашистскими захватчиками ОСВОБОЖДЕН от отбытия назначенного ему по ст. 58-10, ч. 2 УК РСФСР наказания — административная высылка из города Москвы на ТРИ года по приговору Военного Трибунала НКВД города Москвы от 10 января 1934 года. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26 февраля 1943 года признан *не имеющим судимости. Председатель военного трибунала* воинской части — Полевая почта 06605 гвардии капитан юстиции Долженко.

19 октября 1945 года № 088»

Не реабилитация, не пересмотр дела, а, так сказать, прощение. Хорошо воевал, и мы прощаем тебе твои грехи. Справка давала мне право писать в анкетах «несудим» и жить в Москве.

Я поблагодарил Глазунова за представление.

— Чего там... А ты как в такое дело попал, из-за родственников, что ли?

— Нет, в институте в стенгазете стишки написали, не понравились начальству. А тут заместителя директора посадили, я за него вступался в свое время. Вот всех и повязали одной веревочкой.

— Вступался-то зачем?

— Честный был человек, а ему всякую чепуху пришивали, сожрать хотели.

Глазунов бросил на меня свой короткий взгляд, задумался...

— Анкету в личном деле перепиши, зачем тебе такую отметину на себе таскать? Я Неплюеву сказал.

Переписал я анкету. В графе «судимость» написал «нет». Но хорошо понимал условность этого «нет». В 1934 году судил меня не «Военный трибунал г. Москвы», а Особое совещание при НКВД СССР, вряд ли наш Военный трибунал имел право отменять его приговор. Главное, органам на это «нет» ровным счетом наплевать. У них свой план «очищения от сомнительных элементов». Новые послевоенные времена уже в точности повторяли довоенные, в сталинском государстве ничего не изменилось. В одной дивизии какой-то подполковник сказал, что не немцы, а мы расстреляли пленных польских офицеров в

Катыни. Его тут же арестовали. Посадили и какого-то военинженера, говорившего: «Только идиоты могли додуматься до демонтажа немецких предприятий».

Правильно говорил: мы своими действиями только способствовали будущему развитию экономики ФРГ.

В счет репараций (возмещения ущерба) мы вывозили из Германии заводское оборудование. Техника во время войны не менялась, устарела, и после нашего дурацкого демонтажа немцы поставили на своих заводах уже современное оборудование. А мы привезли домой старые, изношенные, поломанные и побитые при перевозке станки, они валялись на заводских дворах и препятствовали обновлению нашей промышленности. «Вон сколько всего вам завезли, работайте!»

Такая же нелепость творилась с отправкой машин. Армию обязали вернуть стране 150 000 автомобилей. Решение правильное — нужно восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство, нужен автотранспорт. Но проводилось оно по-сталински: немедленно, в сжатые сроки, за срыв сроков — трибунал. Войска воспользовались этим, чтобы избавиться от старья, приемные пункты торопились это старье отправить. Проверять состояние машин, браковать их значило срывать сроки. Дошла машина до пункта своим ходом, и ладно. В результате достался народному хозяйству металлолом.

В газетах быстро стихли «союзнические» восторги, возобновилась критика западного образа жизни, империализма и колониализма. В марте в США, в Фултоне, прозвучала речь Черчилля о «красной угрозе», о «железном занавесе», воздвигнутом Советами между Востоком и Западом. У нас снова ввели «политчас», обязательное чтение «Правды», «Краткого курса». Казенные вопросы, казенные ответы, боязнь сказать не так, как положено.

Дух Великой войны, дух «фронтового братства» выветривался. Мы становились прежними. На фронте можно было встать во весь рост, двинуться в атаку, метнуть гранату под танк, вражеской пули мы не боялись, пули от своих — боялись.

Представляя свою жизнь на «гражданке», я понимал, что мне нужна только свободная профессия, без анкеты, без отдела кадров. Вернуться к танцам? После ссылки, мыкаясь по разным городам, не имея работы, я некоторое время вел в

Уфе танцевальные кружки: западноевропейские танцы были тогда в моде. Но сейчас? Смешно! Мне уже 35 лет, у меня семья — жена, сын. Чем же я могу еще заняться? Рисовать? Не умею. Петь? Голоса нет. В актеры? Поздно. Остается только то, к чему тянуло всю жизнь, но при моей судьбе не могло реализоваться, — литература.

Я любил и знал литературу, даже прозу мог страницами читать на память. Были у меня любимые писатели: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Чехов, Маяковский, Есенин, Бальзак, Стендаль, Мопассан, всех не перечислишь. Они казались мне людьми необыкновенными, к их именам относился с трепетом, писать самому, когда есть *они*, представлялось графоманством, нескромностью, даже нахальством. Я и в школьный литературный кружок не ходил — слушать наивные, детские опусы да еще всерьез обсуждать их — времени нет... Многие начинают со стихов, но дара версификации у меня не было никогда.

В главе 7-й я рассказал о том, что в начале тридцатых годов получил от графолога Зуева-Инсарова исследование моего характера по почерку. Оно не сохранилось: забрали при аресте, но одну фразу я запомнил: «Несомненная литературная одаренность, возможно, слабо выявленная вследствие недостаточной целеустремленности». Не знаю, как с одаренностью, но насчет недостаточной целеустремленности Зуев-Инсаров был прав. Я иногда пробовал что-то писать, так, для себя, но не хватало времени: днем — работа, вечером — институт, потом тюрьма, скитания по России, война, когда было писать? Все же, скорее, не хватало усидчивости. Тогда я еще не знал, что прозаик — это ломовая лошадь, тянущая в гору тяжело нагруженный воз. Или дотащит до вершины, или падет по дороге, не достигнув цели.

В ссылке я написал несколько рассказов из времен Великой французской революции, но бросил — описываю незнакомую жизнь, неизвестный мне народ, все ходульное, книжное, заимствованное. Неудача меня охладила, я на время перестал писать, но тяга к перу пересилила. Побуждаемый одиночеством, тоской по Москве, которой меня лишили, я снова сел за стол. Многие писатели начинают с воспоминаний о детстве, оно надолго остается в памяти. В моих первых литера-

турных опытах присутствовали Арбат, наш дом, двор, мои товарищи, школа в Кривоарбатском переулке. Я подражал Бабелю, я очень любил его тогда, люблю и сейчас. Но когда перечитал, понял: то, что хорошо у мастера, плохо у подражателя. Постарался избавиться от подражательности, получалось плоско, пресно. Я не обольщался насчет своих литературных возможностей, но все мною написанное тогда отослал маме в Москву.

Осенью сорок пятого года Глазунов разрешил мне недельный отпуск на родину. Я побывал дома. Мама сказала:

— Я сохранила то, что ты присылал с Ангары.

И вынула из комода папку с пожелтевшими страницами моих рассказов, написанных более десяти лет назад. Я перечитал. Они были плохи. И все же дохнуло тем временем. И я утвердился в мысли: если мне предстоит начать жизнь, как теперь говорят, с чистого листа, то этим листом будет первая страница не начатой еще рукописи.

Перечитал в Райхенбахе еще раз написанное в ссылке. В одном из рассказов упоминался кортик, который подарил мне во время гражданской войны матрос, живший в дедушкином доме. Может быть, и не подарил, не помню точно, но кортик у меня был, и это, как мне казалось, давало возможность создать сквозной сюжет. Каков он будет, я пока не знал, все складывалось по мере написания, но сюжет я считал обязательным — повесть о детях, для детей, значит, должна быть увлекательной.

Купил пишущую машинку «Олимпия» с русским шрифтом, бумагу и начал писать повесть «Кортик», писал ее понемногу до расформирования корпуса и моей демобилизации. В августе сорок шестого года вручили мне запечатанный сургучной печатью конверт с моим личным делом и предписание явиться в Москве в свой райвоенкомат. Место жительства — Москву я назвал сам, хотя был мобилизован в армию в Рязани.

Зашел к Глазунову попрощаться.

— Желаю тебе успеха, — сказал он, — ребята говорят, пописываешь. Чего пишешь-то?

— Так. Воспоминания.

— Может быть, и войну вспомнишь.

— Возможно. Пока пишу детство, двадцатые годы.

Он задумчиво проговорил:

— Хорошие были годы, ровные, с большой надеждой жили, — он глянул на меня, — ну, а если до войны доберешься, не вспоминай лихом, воевали, как умели.

— Что бы там ни было, Василий Афанасьевич, эту войну мы будем вспоминать как самое яркое и самое правильное время своей жизни, — сказал я.

Он опять бросил на меня свой короткий взгляд, понял, о чем я говорю.

— Да... Конечно... Только народу положили много, кому теперь в деревне работать? Пропадет деревня, как думаешь?

Еще на Ангаре я убедился, что наша деревня гибнет. А теперь без мужчин, истребленных войной, она и вовсе пропадет. Но Глазунову я ответил так:

— Я — городской житель, плохо разбираюсь в деревенских делах.

— Ну, ну... — Он встал, протянул руку: — Счастливой тебе дороги.

— Василий Афанасьевич! Вы много для меня сделали. Я вам всегда буду за это благодарен.

— Чего там... Делал, что положено. Позванивай жене, может, окажусь в Москве, встретимся. Телефон мой знаешь.

Во время отпуска в сорок пятом я звонил и заезжал к его жене.

Вспоминаю я Глазунова до сих пор. Солдат, талантливый военачальник, оборонял и брал города, но и сохранял человеческие жизни. В *те* времена осмелился возразить Сталину. Согласился бы он уничтожать чеченские города и села, истреблять мирных жителей? Сомневаюсь.

Я выехал из Райхенбаха в Москву на своей машине «опель-капитан». В багажнике и на заднем сиденье уместилось все мое имущество. Пишущая машинка, несколько пачек бумаги, говорили, в Москве ее трудно достать, несколько канистр, в Берлине у американцев можно заправиться, оккупационных марок у меня много, они имеют хождение по всей стране.

Въехал в Берлин, остановился невдалеке от американской комендатуры. Входили и выходили офицеры и солдаты, белые и черные. Я сидел в своей машине, смотрел на них и думал,

долго думал. Войти, представиться, сказать, что я в прошлом судим по политической статье 58-10, отбыл ссылку и сейчас опасаюсь новых репрессий. Прошу политического убежища. Они мне его дадут, как не дать: гвардии майор, прошедший войну, ордена, медали.

Чего я добьюсь, совершив этот шаг? Освобождения от гнета сталинской тирании, от риска быть посаженным снова. Конечно, родина! Я люблю Россию, в ней родился и вырос, за нее воевал, но там по-прежнему царят произвол и беззаконие.

Чем я рискую? Безопасностью своих родных. Со временем они забьют тревогу: где я и что со мной? Конечно, органы могут списать на бандеровцев — нападают на проезжих демобилизованных офицеров, сволочи, убивают. Но могут и не списать. Докопаются рано или поздно до правды, руки у них длинные. И репрессируют мою семью. Значит, свою свободу я получу за счет несвободы моих близких.

Вот о чем думал я, сидя в машине напротив американской комендатуры. Повторяю, долго сидел, долго думал. Несколько шагов отделяли меня от Свободы. Длинный путь через Германию, Польшу, Белоруссию вел меня в Несвободу. Но в этой несвободе остается мой сын, моя мать, все, кто мне близок и дорог, остается мой народ.

Я включил мотор, нажал педаль сцепления, перевел рычаг скоростей и поехал на восток. Домой.

14

Я женился перед войной, в Рязани. Жене моей Асе — Анастасии Алексеевне Тысячниковой, был 21 год, мне — 28. В октябре 1940 года у нас родился сын Саша, Александр, маленького мы называли его Алик. В октябре 1941 года вместе с моими родителями они эвакуировались в город Джамбул Казахской ССР. Только тогда мои отец и мать познакомились с невесткой и увидели годовалого внука. В сорок четвертом все они вернулись из эвакуации, Ася прописалась на Арбате, жила сначала с моими родителями — четверо в одной комнате, потом что-то себе снимала. Первая моя задача была обеспечить семью жильем.

Но для этого надо самому прописаться. С меня снята судимость, я имею право жить в Москве. Однако Арбат режимная улица, «Военно-грузинская дорога», как ее называли: по ней ездит на дачу Сталин, каждый житель тщательно проверяется, и в этом доме многие знают, куда я делся задолго до войны.

Ася присмотрела в Филях однокомнатную квартиру. Окраина города, удобств никаких, рядом хлев, где хозяйка держит корову, но дом частный — можно официально купить, и цена более или менее приемлемая. Я мог поместить там жену и сына, а потом прописаться сам: муж вернулся с фронта, к семье, в такой дыре избегу «арбатских» сложностей.

Но почему я должен их избегать? Ведь закон на моей стороне, по закону они обязаны прописать меня на Арбате... Воевал, защищал отечество и опять бесправен?! Пойду напролом — не выйдет, значит, не выйдет. Зато буду знать свои истинные права в этой стране.

Иду со своими документами в 8-е отделение милиции в Могильцевском переулке. Бравый фронтовик, майор, грудь в орденах, прописывается к жене и сыну, отцу и матери, документы в порядке. Девушка в паспортном отделе все сделала, но перед тем, как поставить на паспорте штамп прописки, говорит:

— Поднимитесь на второй этаж, комната шесть, к уполномоченному райотдела НКВД. Для прописки на Арбате нужна его виза.

Начинается...

Я поднялся на второй этаж в комнату номер шесть. В просторном кабинете сидел за столом, под большим портретом Сталина, энкавэдэшник, старший лейтенант, приподнял и опустил голову, таким едва заметным движением как бы поздоровался. Даже не взглянув на меня, взял мои бумаги, начал их рассматривать. Будь перед ним не майор, как я, а генерал-майор, он тоже бы не встал, поздоровался бы таким же малозаметным движением головы, потому что он представляет здесь истинную власть, а мы, остальные, ничто. Ко мне сразу вернулось испы-танное впервые в тюрьме, врубленное в сердце ощущение собственного бессилия перед их вседозволенностью. Ничего не изменилось... Опустил глаза в бумаги, молчит. Сейчас откажет в прописке, задержит выдачу паспорта: где призваны в армию? В Рязани. Туда и отправляйтесь.

Итак, прежде всего следует отвлечь его внимание от бумаг.

Поигрывая ключами от машины, я подошел к окну. На противоположной стороне переулка у тротуара стоял мой «опель-капитан».

— У вас тут машины не угоняют?

Он наконец поднял голову.

— Нет как будто... Какая у вас машина?

— «Опель».

Он встал из-за стола, подошел к окну, посмотрел.

— У меня тоже «опель». «Опель-кадет». Барахлит чего-то.

— Что именно?

— Плохо заводится, глохнет.

— Где он у тебя? — Я перешел на «ты», другого выхода нет, надо разрядить казенность обстановки, попробовать найти какой-то человеческий контакт, пусть ерундовский, пустяковый, смешной, какой угодно.

— Тут, во дворе.

— Пойдем посмотрим.

Он колебался.

— Пойдем, пойдем, — настаивал я, — в армии я был начальником автослужбы, инженер-автомобилист.

Мы вышли из кабинета, он запер дверь, спустились во двор, подошли к машине. Мотор действительно плохо заводился, я поднял капот, снял крышку трамблера, серебряной монеткой зачистил контакты. Машина сразу завелась. После меня лейтенант сел за руль, погонял мотор, все было хорошо.

— Вот так. Зачищай контакты. А еще лучше смени молоточек и наковальню. Были бы у меня, отдал бы. Но нет, к сожалению. Сам достанешь?

— Какой разговор!

Мы вернулись в его кабинет. Он сел за стол, пододвинул к себе мои бумаги, мельком проглядел, казенным голосом спросил:

— В семье есть арестованные, судимые, сейчас или прежде?

— Судимые? Отец, мать, сестра, жена, сын — все налицо.

— Куда выходят окна вашей квартиры: на улицу или во двор?

— Во двор.

Он расписался, где нужно, вернул документы.

Я имел право на прописку, но, чтобы реализовать свое право, я должен был расположить к себе должностное лицо, «усыпить его бдительность». Таковы порядки, таковы условия, в которых мне предстояло жить. Я помог бы любому водителю, знакомому, незнакомому, просто стоящему на дороге. И в данном случае помог как бы почеловечески, как автомобилист автомобилисту. Но на самом деле я словчил, помог в собственных интересах, по-

мог чиновнику, от которого зависел. Вспоминаю об этом с отвращением.

Как-то в 1956 году, вскоре после доклада Хрущева на XX съезде партии, повергшего многих в страх и смятение, я зашел к маме. Ее соседка выглянула в коридор:

— Толя, можно вас на минутку?

Она прикрыла за мной дверь.

— Толя, я обязана рассказать вам. Понимаете, давно еще меня вызвали в райотдел НКВД, велели сообщать, кто к вам ходит, с кем разговариваете по телефону, откуда получаете письма. Я им сказала, что вы живете в другом месте, у матери только прописаны. Но они настаивали, у них есть точные сведения, бываете у матери почти каждый день, получаете письма на ее адрес. Толя, вы знаете мою ситуацию, я не посмела отказаться. Сообщала раз в месяц — заходил, не заходил, звонил, не звонил, писем не видела. Ничего плохого о вас я не говорила, не писала. Теперь я к ним не хожу, оставили, слава Богу, в покое.

— Давно вас вызвали в первый раз?

Она смешалась. Я понял причину: первый раз ее вызвали давным-давно. Ее младший брат, молодой энтузиаст, в начале тридцатых завербовался и уехал строить Магнитогорский металлургический комбинат, выдвинулся там как комсомольский работник, в тридцать седьмом году его расстреляли. Наверное, тогда же его запуганную старшую сестру и заставили служить органам. Таких, как она, были миллионы, а может быть, и десятки миллионов. Жаль ее — сломанная, как и все вокруг...

Вывел ее из смущения мой вопрос:

— Я имею в виду, когда вас впервые вызвали насчет меня.

— Как только вы вернулись из армии.

Значит, уже десять лет я у них под колпаком. А тот старший лейтенант в милиции, видно, еще ничего не знал...

Возвращаюсь к своему рассказу.

Вскоре я купил присмотренную Асей квартиру в Филях, она с сыном переехала туда, и я вроде бы переехал. Но жить там не собирался.

Подхожу к одному из тяжких моментов моей жизни, но из собственной биографии его не выкинешь.

Моя жена Ася родилась в деревне, в крестьянской семье, кончила в Зарайске школу, потом в Рязани бухгалтерские курсы, работала в Госбанке. А я работал на автобазе, дружил с одним парнем, звали его Роберт, экономист из промкооперации, кстати, это он рассказал мне историю своих родителей, которую я потом положил в основу сюжета романа «Тяжелый песок». Ходили с ним в городской сад на танцы, где-то познакомился он с девушкой Аней и ее подругой Асей, меня с ними познакомил, так составилась компания. Хорошенькие, скромные, без претензий, сдержанные, было с ними приятно, чисто.

И вот Роберт сообщает мне, что женится на Ане.

— И ты женись на Асе, чем плохая девочка?

Действительно, хорошая девочка, с открытым лицом, как у многих рязанских, с чуть монгольским разрезом глаз, статная, с доброй милой улыбкой, покладистая, бесхитростная, по-крестьянски работящая.

Было мне под тридцать. В Рязани я прижился, меня не трогали, но я знал, что если даже снова не посадят, то жизнь моя к лучшему не изменится, Москвы мне не видать. Я забился вроде бы в надежную щель. Даже подумывал переехать еще в более глухое место, в район, в Шацк, в Спас-Клепики, но передумал: в маленьком городке буду на виду, а здесь, в областном центре, незаметен. Конечно, как и в других областных городах, в Рязани могут ввести паспортный режим, но вряд ли, город незначительный, только надо жить тихо, не высовываться, жить, как все живут. Никаких честолюбивых планов на будущее я не строил. Уцелел, и ладно! После тюрьмы, ссылки, скитаний по России, после бражничества, распутства хотелось спокойствия, в спокойствии только и было спасение. И мне казалось, что с Асей будет спокойно: порядочная девочка, верная, преданная.

И были первые семейные заботы, хлопоты создания дома, потом рождение сына. Ася была гостеприимна, хлебосольна, пекла пироги, угощала соседей, все ее любили. А на меня иногда наваливалась тоска, томила эта жизнь.

После всего пережитого был комком нервов, часто раздражался, Ася не догадывалась об истинных причинах моих срывов, грустила, но терпела, я старался сдерживаться, понимал свою неправоту.

Все перевернула война. Война освободила меня от прозябания, от заячьей жизни, я снова чувствовал себя человеком, достоинство, возрожденное в советском солдате, возродилось и во мне. Что бы ни случилось впереди, я твердо знал: к прежней жизни я уже не вернусь. И четыре года разлуки сделали свое дело, я отвык от Аси, отдалился от нее. Рязань ушла в прошлое. В прошлое ушло и все, что там было. Во время войны у меня были женщины, но и была настоящая любовь в Саратове, перед Сталинградом. Эвакуированная ленинградка, Марина, синеглазая брюнетка, красавица, работала в дирекции драматического театра, бывали с ней на спектаклях, я ее любил, и она меня любила, все это было обострено неизвестностью, предстоящей разлукой, нашу часть перебрасывали в Сталинград, мы не знали, что нас ждет, но я остался жив, и она сумела в конце сорок третьего года приехать ко мне на фронт. Я надеялся устроить ее в штаб вольнонаемной машинисткой, но СМЕРШ не пропустил, пришлось ей уехать. Очень тяжело мы тогда расставались. Встретились после войны, я ездил к Марине в Ленинград, она приезжала ко мне в Москву, я уже развелся с Асей, но и на Марине не женился, начинал новую жизнь, хотел полной свободы, но это другой сюжет.

Ася тяжело пережила наш разрыв, не понимала, отчего, почему я ее оставляю, в сущности, и я не мог бы это четко сформулировать. Стремление к другой жизни бурлило и клокотало во мне, лишая рассудительности, обдуманности, взвешенности. Асина тихость, умиротворенность были не для меня. Я был возбужден, круто все менял, работу, профессию, отбрасывал все, чем жил раньше. Тогда я был опущен на дно, теперь никто не должен мешать мне выбраться на поверхность. Я писал, не умея писать, строил фразы, сюжет, не зная, как это делается, сомнения, неуверенность одолевали меня, я их превозмогал, нервничал, не спал ночами, писал, зная, что я дол-

жен написать во что бы то ни стало — мне уже 35 лет, и если я не напишу сейчас, то никогда уже не напишу. Я был в состоянии одержимости, Ася стала жертвой всего этого. Я уехал в деревню под Москвой, решив не выезжать оттуда, пока не закончу повесть, никто, даже мать, не знал моего адреса. Раза два в неделю я звонил ей с почты: все в порядке, живы-здоровы? Ну и слава Богу, целую. И вешал трубку. Все было подчинено несокрушимому стремлению писать, мне требовалось только одно — одиночество, никто не смел и никому бы я не дал его нарушить.

Так и разошлись наши пути с Асей.

Естественно, я продолжал заботиться о ней и о сыне, вскоре перевез в хорошую квартиру на Смоленской площади, летом, как правило, сын жил у меня на даче в Переделкине. Потом он окончил исторический факультет Московского университета, но стал журналистом. На нем сосредоточились все заботы Аси, а когда он женился и родилась Маша, забот прибавилось. Жили в одной квартире на проспекте Мира. Жизнь Аси была отдана сыну, потом внучке.

У Алика было много друзей, всегда он кому-то был нужен, всегда кому-то помогал, красивый, остроумный, веселый, любил застолье, ресторан ЦДЛ, прекрасный рассказчик, писал неплохие статьи, мог бы писать и прозу. Я так считал, и так считала его жена — критик Наталья Иванова. Но не хватало целеустремленности, работоспособности, чем в избытке обладали его отец, жена и дочь Маша.

Алик болел печенью, я возил его по врачам, они требовали, чтобы он изменил образ жизни, но он не хотел его менять, хотел жить так, как ему нравится. В 1994 году в возрасте 53 лет сын мой умер.

Похоронили его на Востряковском кладбище, рядом с могилами моих родителей и моей сестры, Алик был ее любимым племянником и любимым внуком моей матери и отца. Теперь там рядом четыре могилы. Ася бывает на кладбище постоянно, я — реже. Но знаю, какой аллеей она идет к нашему участку, мимо каких могил, каких над-

гробий, вижу ее все еще статную фигуру, косынку на голове, вижу, как стоит, опершись об ограду, а потом не спеша принимается за работу, сметает листья, поливает цветы, ухаживает за могилами семьи, рядом с которой прошли ее молодые и зрелые годы с их печалями и невзгодами, перенесенными ею с мужеством и достоинством.

Я много живу за границей, и когда приезжаю в Москву, звоню Асе в тот же день. Сейчас, на старости лет, я преисполнен к ней нежности, стараюсь облегчить ее жизнь в нашей разоренной стране.

Разводы не редкость среди людей, и не всегда можно сказать, кто прав и кто виноват. Но в данном случае виноват я. Тогда, в Рязани, я был старше и мудрее. Обязан был все обдумать.

Прости меня, Ася!..

15

Перед отъездом из Москвы в деревню я оформил пенсию по инвалидности — 510 рублей в месяц, по тому времени деньги небольшие. Дали третью группу — должен работать. И каждые шесть месяцев представлять справку с места службы. Тогда за этим следили строго, чтобы люди не шатались, не болтались, не распустились после войны, чтобы по-прежнему были под присмотром.

Деньги у меня еще оставались: «полевые», «увольнительные», продержусь, напишу повесть, а там будет видно. Сидел в Ленинской библиотеке, читал все, что находил о кортиках, делал записи. Кортики носили морские офицеры — я просмотрел и литературу о российском морском военном флоте, натолкнулся на рассказ о гибели в 1916 году на севастопольском рейде линкора «Императрица Мария». Таинственная гибель линкора (причина не выяснена до сих пор), романтическая история кортиков как оружия, тайна, разгадка тайны показались мне хорошей основой для приключенческого сюжета.

На своем «опель-капитане» я выехал на Рязанское шоссе, доехал до поселка Кузьминки, он не входил еще в черту города, жили там люди из снесенных в Москве зданий — отвели каждому участок земли, дали ссуду, стройся, как хочешь, такие тогда были порядки, согласия не спрашивали. В одном из этих домов я и поселился. Удобств, конечно, никаких, даже электричества еще не провели, зато тихо, отдельная комната, детей нет, днем семья на работе в Москве, ездят на электричке, уезжают рано, приезжают поздно, никто не мешает, хозяйка меня кормит — все довольны.

Я работал с утра до обеда, после обеда выходил, бродил по пустым заснеженным улицам, зимой смеркается рано, в

окнах кое-где тускло мерцал свет керосиновых ламп, и мысли мои были заняты одним — повестью. Возвращался, снова садился за стол, перечитывал написанное утром, правил, опять перепечатывал, писать я не умел, но упорства хватало: вариантов было много, несколько раз переделывал уже готовую рукопись.

Начинающий писатель подобен дикарю — он не знает того, что стоит за пределами его опыта. Дикаря научили стрелять из ружья, оно кажется ему самым грозным оружием: ему неизвестны пушки, пулеметы, гранаты, ракеты.

Так и начинающий писатель. То, до чего дошел он сам, своим умом, кажется ему вершиной искусства, собственная находка представляется открытием. Только со временем приходит сознание ограниченности и несовершенства твоих изобразительных средств. Это сознание и есть первая ступень мастерства.

Впрочем, смелость неофита часто побеждает. Сейчас, после пятидесяти лет работы в литературе, я бы не отважился на те решения, которые принимал тогда. А тогда решался, соединял правду с вымыслом. Правдой были события моего детства, вымыслом то, как я их расположил. А расположил я их в соответствии с придуманным сюжетом — тайной кортика. И еще я осознал: писательство — это непрерывное усилие. И придумал девиз: «Чтобы написать, надо писать», начертал его на листке бумаги и прикрепил над столом. До сих пор висит в моем кабинете.

Данный мной самому себе обет — не выезжать из Кузьминок, пока не напишу повесть, — пришлось несколько раз нарушить — выезжал в Ленинскую библиотеку, уточнял там сведения о кортиках, заезжал к своему приятелю, журналисту Василию Михайловичу Сухаревичу, давал ему читать написанные главы — чувствовал нужду в еще чьем-то глазе. О Сухаревиче расскажу позднее. Про мои редкие наезды в Москву никто не знал, я возвращался и снова садился работать.

Сын хозяйки привозил мне из города газеты. Прочитал Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», сообщение о докладе Жданова, решение об исключении Ахматовой и Зощенко из Союза писателей... Читал ру-

гань и брань в их адрес: «Мещанин... Пошляк... Пакостник... Блудница...» Ужасно, отвратительно. Но куда деваться? Свой выбор я сделал там, в Берлине, возле американской комендатуры... И сейчас сижу в этой хибаре тоже по собственному выбору.

В апреле 1947 года я завершил рукопись, перепечатал, нашел адрес детского издательства «Детгиз» и отправился туда. Поднялся на четвертый этаж большого дома в Малом Черкасском переулке, впервые в жизни открыл двери издательства, по коридору ходят люди, мне они казались писателями, на стенах висят портреты литературных знаменитостей, на дверях таблички с наименованием редакций... Вот то, что мне надо: «Редакция приключений и фантастики».

Большая комната, вдоль стен шкафы, уставленные папками. За столом молодая миловидная женщина (позже я узнал ее имя — Галина Владимировна Малькова) скользнула взглядом по мне, по рукописи, которую я держал в руках. По этому взгляду я понял, что такие посетители ей не в диковинку. Очередной графоман. Многие, вернувшись с фронта, начали писать, присылали или приносили в издательство свои рукописи, которые в редакциях называли «самотеком».

Я положил на стол папку:

— Вот рукопись повести.

Она развязала тесемки, открыла папку, просмотрела. Напечатанные на машинке два экземпляра, между строчками два интервала, на титульном листе адрес и телефон (мамин). Зарегистрировала в толстой тетради, заполнила карточку, поставила в картотеку, закрыла папку, завязала тесемки.

— Все в порядке, мы вам позвоним.

Держа папку в руках, встала, посмотрела на полки, решая, куда ее поставить.

— Это все рукописи? — спросил я, не скрывая испуга.

— Да.

Я покачал головой:

— Долго, наверное, придется ждать.

Что-то, видимо, тронуло ее. Растерянность, отчаяние, прозвучавшее в моих словах, возможно, мой вид: был я в сапогах и поношенной шинели без погон.

Она положила папку на стол.

— Я покажу вашу рукопись заведующему редакцией. Это убыстрит дело.

После возвращения из армии я повидал некоторых старых знакомых. Мало их осталось: кто погиб в тридцатых, кто на войне.

Навестил Михаила Юрьевича Панова, моего сослуживца по Стройкомитету, заявился к нему, еще не сняв форму майора, с водкой и закуской. Жил Михаил Юрьевич там же — на углу Большой Никитской улицы и Кудринской площади, в том же старом двухэтажном особняке с широкой парадной лестницей, как и прежде, грязной, с теми же шатающимися перилами.

Мы обнялись, я смотрел на него — будто и не прошло тринадцати лет: такой же чуть старомодный, тот же тихий приятный голос, только пенсне сменил на очки.

С удовольствием прошелся по комнате со стрельчатыми окнами: шкафы и этажерки с книгами и альбомами, тот же письменный стол с баночками, тюбиками, кисточками. Однако кровать покрыта красивым покрывалом, над кроватью на стене коврик, на окнах — занавески. Кресло с высокой спинкой и продавленным сиденьем, на котором я когда-то любил сиживать, в чехле. И в самом облике Михаила Юрьевича что-то изменилось, я сразу не догадался, что именно, потом сообразил: выветрился холостяцкий дух. И действительно, он женился, дочке уже два года, живут они в Столешниковом переулке — там у жены большая комната, сюда он наведывается, когда есть время поработать со старыми книгами, страсть эта у него осталась.

Мы выпили, закусили, вспомнили Стройкомитет, сослуживцев. Он сказал, что работает в Госплане СССР. Внимательно выслушал мою одиссею.

— Я звонил как-то твоей матери, она сказала, что тебя в Москве нет. По этому ответу, по ее голосу можно было догадаться, что произошло... Я рад, что ты сумел сохраниться, да еще такой бравый майор! А сейчас какие планы?

— Поеду в какую-нибудь деревню, буду писать повесть о своем детстве.

Он внимательно посмотрел на меня из-под стекол очков:

— Сбывается предсказание Зуева-Инсарова...

Помнит.

— А жить на что будешь?

— Инвалид войны. Получаю пенсию, небольшую, правда...

— Завидую, — он плеснул в свою рюмку еще водки. — Ты ведь знаешь, я сам надеялся что-то написать, да вот не смог вырваться из... как бы это тебе сказать... из жизни, что ли... — Скользнул взглядом по полкам с книгами. — Из своих привычек... А ты молодец, решился... Выйдет — не выйдет, важна попытка.

Он дал мне свои телефоны — служебный и в Столешниковом у жены:

— Позванивай.

Перед своим вояжем в Детгиз, в апреле сорок седьмого года, я позвонил маме, она сказала, что меня разыскивает Панов. Отзвонил Панову, он попросил по приезде в Москву зайти к нему.

После Детгиза я к нему зашел. Оказалось, Михаил Юрьевич с семьей уезжает на два года в Берлин, будет работать в советской администрации. И если я хочу, то могу на это время поселиться в его комнате, он получил на нее бронь.

— Будешь платить квартплату, за коммунальные услуги, ну, и, надеюсь, сохранишь мои книги и журналы, не пропьешь, не раздаришь.

Я распрощался с Кузьминками, переехал на Большую Никитскую и засел за роман о шоферах, название уже придумал: «Водители».

Дожидаясь решения Детгизом судьбы «Кортика», я носил рукопись в журнал «Пионер», в издательство «Молодая гвардия» и еще куда-то. Всюду одно и то же: «Редакционный портфель журнала на будущий год заполнен», «План издательства на ближайшие три года утвержден». Стандартная форма отказа. Истинную его причину высказал один рецензент, этакий упитанный, насмешливый господин:

— Вот тут у вас Журбин, старый большевик, где он теперь кукует?

Дал понять, что я пишу о временах забытых, о людях исчезнувших, никому не интересных. Говорил не энкавэдэшник, не тупой сталинист, а интеллигентный вроде бы человек, деятель литературы.

Так что надежду я связывал только с Детгизом. Прошло лето — ответа никакого. Позвонил я сам. Галина Владимировна Малькова сказала:

— Потерпите немного, люди в отпусках.

А мне не на что жить. Деньги кончились. Пенсию перестали платить.

— Почему не работаете? — спросили в собесе.

— Пишу книгу.

— Вы член Союза писателей?

— Нет еще.

— Когда станете членом Союза писателей, тогда и придете.

Хорошо хоть милиция не придиралась как к тунеядцу. Но положение аховое. Пришлось продать машину, мой «опель-капитан».

Пригласили меня в Детгиз только в сентябре. Заведующий редакцией приключенческой литературы Асанов, молодой, толковый, сказал:

— Прочитал вашу рукопись. Что-то в вас есть. Книга может получиться. Но вы не знаете законов жанра. В приключенческой повести ничто не должно задерживать действия, отвлекать внимания читателей. А у вас тут пионеры, комсомольцы... Если вы хотите о них писать, тогда вам надо идти в соседнюю комнату, в редакцию пионерской литературы к товарищу Камиру Борису Исааковичу, они этим занимаются. А если хотите печататься в нашей редакции, то рукопись придется переделать, во главу угла поставить тайну кортика и выбросить все, что задерживает сюжет.

Асанов продержал рукопись полгода, столько же продержит и Камир. Асанов после переработки готов печатать, а согласится ли печатать Камир?

— Хорошо, я переделаю рукопись.

Ни о договоре, ни об авансе речь не шла. Слово «аванс» я знал только по Маяковскому: «Ни тебе аванса, ни пивной». Но я был счастлив: повесть не отвергли на корню.

И, придя к маме, объявил, что вещь в основном принята, осталось сделать кое-какие поправки.

Надо понять моих родных: они недоумевали. Тридцать шесть лет, прошел такую жизнь — уцелел, вернулся с войны невредим, инженер — и вдруг ни с того, ни с сего вздумал писать детские книги, нигде не служит, ничего не зарабатывает. Втайне, наверное, надеялись, что рукопись отвергнут, блажь пройдет, я поступлю на работу и все пойдет своим порядком. Потому мне так нужна была удача, хоть какая-нибудь! Разговор с Асановым подал крохотную надежду, я успокоил родных и снова засел за рукопись: несколько ужал социальный фон, пионерскую линию, усилил линию приключенческую. С исправленной рукописью через месяц явился в Детгиз. Однако Асанов ушел из издательства, вместо него приключенческой редакцией по совместительству заведовал Борис Исаакович Камир, тот самый, к кому посылал меня Асанов в случае, если не захочу делать чисто приключенческий вариант. Все начиналось с начала.

— Будем читать, — сказал Камир.

В голосе его я не почувствовал заинтересованности, рукопись моя уже изрядно провалялась в издательстве, никто о ней ничего не говорил, была бы стоящая вещь, Асанов дал бы ей ход. Не дал. Значит, еще один графоман из «самотека».

С этими невеселыми мыслями вернулся я домой и стал писать дальше. На «Водителей» я возлагал больше надежд, чем на «Кортик»: теперь требуется «рабочая тема», пафос защиты страны сменился пафосом ее восстановления после разрушительной войны. При всем отвращении к Сталину я не мог отрицать его умение сосредоточивать усилия народа на задаче, которую он считал главной. Многие авторы писали о заводах, фабриках, я видел свое преимущество перед ними: они пишут, о чем не знают, а я автомобильное дело знаю.

Прошло месяца три, являюсь в очередной раз к Камиру, сапоги стоптаны, гимнастерка выцвела, посмотрел он на меня, достал рукопись, перелистал.

— О чем это?

— О первых пионерах, о первых комсомольцах...

Почему у меня вырвалось «о первых комсомольцах»?! Мои пионеры вступают в комсомол в самом конце повествования. Видимо, хотел уточнить возрастной адрес повести.

Реакция была неожиданной:

— Хорошо, я вам обещаю быстро прочитать.

Понятно... Наступает сорок восьмой год, год тридцатилетия комсомола, издательство должно отметить юбилей книгами, значит, надо посмотреть...

На следующее утро Камир позвонил и попросил срочно приехать.

— Что-то в вас есть, но главный ваш недостаток — крен в сторону детектива, очень выпячена линия кортика. А самое значительное — жизнь пионеров, комсомольцев — проходит фоном.

Я ничего не сказал ему про первый вариант, было бы нелояльно по отношению к Асанову, тот отнесся к повести хорошо, хотя и со своих позиций.

— Ладно, — сказал я Камиру, — усилю пионерскую линию.

— Только не тяните, — предупредил Камир, — делайте побыстрее, получится — будем срочно издавать, чтобы вышла в сорок восьмом году.

Я не просто возвратился к первому варианту. Теперь восстановленная пионерская линия держалась на динамичном приключенческом сюжете. Асановские рекомендации пригодились: я научился строить сюжет. Все мои последующие вещи сюжетные. В прозе сюжет — это не раскрытие тайны, а сцепление судеб, обстоятельств жизни, взаимоотношений персонажей, развитие характеров, внутренняя тяга, не дающая читателю отложить книгу.

Рукопись «Кортика» рецензировал для издательства Рувим Фраерман, автор повести «Дикая собака Динго», пригласил меня к себе на Большую Дмитровку. Маленького роста, приятный, благожелательный, говорил со мной умно, тактично. Впервые в жизни я беседовал с настоящим писателем. Больше мы с Фраерманом не встречались, он болел, нигде не появлялся, вскоре умер.

В издательстве рукопись прошла все инстанции, у всех были какие-то замечания, впрочем, незначительные.

Константин Федотович Пискунов, заведующий редакцией литературы для младшего возраста, человек здесь очень авторитетный, встретил меня в коридоре, подошел, спросил:

— Это вы — Рыбаков?

— Да.

— Мне понравилась ваша рукопись, детям будет интересно. Вы до этого что-либо писали?

— Нет.

— Для первой книги это более чем хорошо. Я посоветую директору издательства Дубровиной ее прочитать.

Это был мой первый разговор с Пискуновым. Бывший типографский ученик, ставший руководящим работником издательства, сухощавый, с болезненным лицом, деликатный и внимательный, он был энтузиастом детской книги, отдал ей жизнь. Считаю его лучшим издателем в послереволюционное время.

Директор издательства Людмила Викторовна Дубровина спросила многозначительно:

— Вы понимаете, как ответственно писать о том времени?

Я отлично понимал. Первые послереволюционные годы стали зоной повышенной опасности. Ее вожди, ее деятели уже истреблены. Об этом времени полагается создавать мифы, какие создавал Михаил Ромм в своих картинах. В моей повести мифов не было, была романтика того времени. Но сейчас предпочтительней другая романтика: пятилеток, войны, послевоенного строительства, всего, что связано с именем Сталина. Мне просто повезло: издательству надо отметить 30-летие комсомола.

— Да, я все понимаю.

— Вот и прекрасно, — заключила Дубровина, — потому обязательно учтите замечания редактора, не капризничайте.

Через несколько дней со мной заключили первый в моей жизни издательский договор и выдали аванс. Небольшой. Хватило на несколько месяцев.

При подписании договора Камир сказал:

— Анкет у нас авторы не заполняют. Но автобиография требуется. Напишите и оставьте у секретаря.

Я написал:

«Автобиография

Учился, работал, воевал, теперь пишу.

Анатолий Рыбаков».

Сошло!

Моим редактором назначили Бориса Владимировича Лунина, немолодого, опытного — не предъявлял мне требований, которых я был бы не в силах выполнить.

Как-то пришел я в Детгиз, встретил в коридоре Пискунова, он на ходу сухо со мной поздоровался, меня это удивило и насторожило. Сели мы с Луниным работать, и он, со смущением и неловкостью человека, которому дано не слишком приятное поручение, говорит:

— В Детгизе появилась еще одна рукопись о первых пионерах Москвы, написала ее бывшая пионервожатая. Возникла идея объединить ваши рукописи в одну повесть. Автор — жена Генерального секретаря ЦК комсомола Михайлова. Там есть кое-какой интересный материал, — добавил Лунин неуверенно.

Понятно. Согласие на соавторство — гарантия выхода книги и ее официального успеха, отказ от соавторства будет угрожать ее выходу и наградит меня влиятельными недоброжелателями. Но решается и моя писательская судьба: войду я в литературу достойно, прямым путем или держась за плечи жены Михайлова. И я ответил категорическим «Нет!».

— Нет, значит, нет, — с облегчением вздохнул Борис Владимирович.

Через несколько дней я опять встретил Пискунова, он поздоровался со мной весело и доброжелательно. Видимо, мой отказ утвердил его доброе отношение ко мне. Судьба рукописи этой дамы мне неизвестна, ее книга мне не попадалась.

Осенью сорок восьмого года «Кортик» вышел из печати. Первый авторский экземпляр я получил из рук Пискунова, к тому времени уже директора издательства.

Вскоре состоялось обсуждение книги в Союзе писателей. Председательствовала Агния Барто, собралось много народу, пришли руководители Детгиза во главе с Пискуновым, он знал, откуда ждать удара, и не ошибся: явились три лоще-

ных молодца из ЦК ВЛКСМ. С ними шушукалась критик Леонтьева, плотная, квадратная баба с зыркающими по сторонам черными глазами. Она первой взяла слово, объявила, что не видит разницы между «Кортиком» и пошлым американским боевиком «Багдадский вор», на такой литературе недопустимо воспитывать советских детей, выпуск книги — промах Детгиза, потерявшего политическое чутье, и так далее в том же духе. Это было намерение задать тон обсуждению, но все получилось наоборот. Выступавшие писатели говорили о Леонтьевой с издевкой, хвалили книгу. Как я потом узнал, многим Пискунов заранее послал книгу и просил участвовать в обсуждении. Михайловские мальчики ретировались, не произнеся ни слова.

На повесть появилась лишь одна рецензия Фриды Вигдоровой: «Школьники полюбят эту книгу». Но книга сразу стала популярной.

После «Кортика» я ушел во «взрослую» литературу, написал романы «Водители» и «Екатерина Воронина»; казалось, обычный случай — писатель начал с детской биографической книги, и на этом его «детская» литература кончилась. Однако Константин Федотович Пискунов не выпускал меня из виду. Каждый год переиздавал «Кортик», встречаясь со мной, спрашивал: «Когда вы напишете для нас?» Он читал мои «взрослые» романы, звонил, такой звонок обычно кончался словами: «Пишите для нас, вы должны писать для детей». Был заинтересован в каждом авторе. Я пятьдесят лет в литературе, но ни один издатель ни разу не спросил меня: «Что вы пишете для нас?» Это спрашивал только Константин Федотович Пискунов.

Однажды Пискунов пригласил меня к себе.

— Не для всеобщего сведения. Мы задумали «Всемирную библиотеку приключений», подписную, большим тиражом. Там должен найти место и «Кортик». В каждом томе должно быть не менее двадцати печатных листов. А в «Кортике» всего десять. Надо еще десять. Напишите продолжение!

Он закашлялся, и, глядя на его бледное, худощавое лицо, я вдруг подумал: не туберкулез ли у него, профессиональная болезнь печатников, имеющих дело со свинцовым набором?

Откашлявшись, он продолжал:

— Проект может и не осуществиться, мы впервые задумываем такое сложное, богатое подписное издание. Ну и что? Зато у вас будет вторая приключенческая книга, мы ее будем издавать, как и первую. А потом, глядишь, вы и третью напишете, вот вам и трилогия, вот вы и классик. У нас ведь кто классиком считается? Тот, кто написал трилогию.

Засмеялся, опять закашлялся.

Из Германии я привез чернильный прибор с двумя массивными чернильницами, красивый, мраморный, отделанный бронзой и увенчанный большой бронзовой птицей. Писал я на машинке, но на столе он стоял. При очередном переезде птица отломалась, и я увидел, что она полая внутри, и так как мыслил уже «приключенчески», то подумал, что такая птица могла бы служить тайником. Воображение заработало. За несколько месяцев я написал «Бронзовую птицу».

К этой повести у работников издательства, а потом и у критиков отношение было сложное, как это бывает по отношению к книге, продолжающей первую, имевшую успех. Писатель эксплуатирует удавшихся ему героев и придумывает для них новый сюжет, не всегда удачный. Всем известны «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна», но не все знают, что Марк Твен написал еще «Том Сойер за границей» и «Том Сойер сыщик». Бывают и удачные продолжения: «Двадцать лет спустя», «Десять лет спустя», и все же пальма первенства за «Тремя мушкетерами». Некоторая настороженность к такого рода продолжениям справедлива. Во второй книге часто отсутствует то, что привлекает в первой: свежесть памяти, наивность, доверие, покоряющие читателя, — мол, пойми и прости, это моя первая книга. Во второй нет той подкупающей надежды, которую автор вкладывает в свою первую работу, — надежды войти в литературу. Писатель часто пользуется материалом, который не использовал в первой книге. А читатель уже ничего не прощает: ты теперь профессионал и, будь добр, пиши по-настоящему.

Первым прочитал повесть Пискунов:

— Не все будут хвалить, скажут, что вы повторяете самого себя. Не обращайте внимания. Повесть хорошо дополняет «Кортик», будем издавать.

Он оказался прав — читатель принял книгу. Пискунов включил ее в задуманную им и выходящую тиражом в триста тысяч экземпляров 20-томную «Всемирную библиотеку приключений».

При директорстве Пискунова вышли в свет мои повести для подростков: «Приключения Кроша», «Каникулы Кроша», «Неизвестный солдат».

В 1964 году в журнале «Новый мир» был опубликован мой роман «Лето в Сосняках». В первом часу ночи позвонил Константин Федотович:

— Только что кончил читать, не мог удержаться от звонка. Роман раскритикуют, но я как читатель благодарю вас, это честная книга.

Ни один издатель ни днем, ни ночью не звонил мне по поводу моей книги. Звонил только Пискунов. И, я думаю, не мне одному.

Работники издательства, возможно, от многолетнего общения с детскими писателями, с детьми-читателями сами приобрели нечто детское: непосредственность, способность восхищаться и радоваться хорошей книге. После Лунина меня много лет редактировала Светлана Николаевна Боярская. Пискунов сумел сплотить вокруг себя особенный коллектив. Уже перестав писать для детей, я продолжал захаживать в Детгиз — родной дом, где тебя все знают и ты всех знаешь, где начиналась твоя литературная биография.

16

Борис Лунин — мой редактор в Детгизе — писал для журнала «Октябрь» работу о Чернышевском, называлась она, кажется, «Вилюйский узник». Но все журналы охотились тогда за сочинениями на «производственную» тему. Лунин сказал в редакции, что некий Анатолий Рыбаков, автор повести «Кортик», пишет роман о шоферах и это может быть интересным — автор по профессии автомобилист.

Прихожу как-то к маме, она говорит:

— Звонили из журнала «Октябрь», оставили телефон, просили позвонить.

Звоню в «Октябрь», представляюсь заведующей прозой Ольге Михайловне Румянцевой, она передает разговор с Луниным и просит принести роман.

— Он у меня еще в работе, написана только первая часть.

— Неважно, приносите, почитаем, может быть, договоримся о чем-либо.

Редакция журнала «Октябрь» помещалась тогда в здании газеты «Правда», я привез рукопись, отдал ее Румянцевой, милой, пожилой женщине. Как я потом узнал, она — давний член партии, работала в секретариате Ленина машинисткой, была тогда молоденькой, хорошенькой, Владимир Ильич как-то после работы проводил ее и в дом зашел — повидаться с родителями, своими давними знакомыми, старыми большевиками Румянцевыми. После этого Надежда Константиновна Крупская, тоже давняя знакомая Румянцевых, выпроводила их дочь на учебу... За другим столом в комнате сидела заведующая отделом науки, немолодая грузная женщина, с почему-то знакомым лицом. Оказалось, родная сестра сталинского помощника А. А. Жданова. Вот в такой именитый кабинет попала моя рукопись.

В мае или июне мама встречает меня словами:

— Где ты пропадал? Три дня названивают из «Октября».

Звоню Румянцевой.

— Господи! Ищем вас повсюду. Приезжайте немедленно на редколлегию.

За громадным столом, уставленным телефонами, восседал главный редактор журнала Федор Иванович Панферов, мрачноватый мужик при галстуке, с лохматыми бровями, хмуро, насупившись, смотрел исподлобья. За столом, приставленным к главному столу, чинно сидели члены редколлегии: Первенцев, Полевой, Ильенков, Санников, еще кто-то, на стульях вдоль стен кабинета замерли рядовые сотрудники.

Румянцева представила меня. Панферов еще больше насупился.

— Приходится вас разыскивать! Не мы вас, а вы нас должны ждать.

— Как только мне сообщили о редколлегии, я тут же явился.

— Решаются твоя судьба, судьба твоего романа, а ты разгуливаешь.

— Не буду теперь отходить от телефона, — кротко ответил я.

Все сидели по-прежнему чинно, только Полевой скосил на меня глаза.

— Прочитали мы твой роман, общее мнение: надо печатать. И замечание у всех одно: у тебя снабженец — Вербицкий. Зачем?

— Что зачем?

— Зачем тебе нужна еврейская фамилия?

— Нельзя писать о евреях?

— Можно. Но он у тебя жулик. Критики обвинят тебя в антисемитизме.

— Не обвинят. Я сам еврей.

Он на мгновение запнулся, потом неожиданно спокойно сказал:

— Свои же тебя и слопают. Был бы он положительный герой — пожалуйста! А отрицательный персонаж — еврей, этого мы не допустим.

— Вербицкий... Такая фамилия может быть у еврея, у поляка, у русского. Писательница была Вербицкая.

— Не беспокойся, они поймут, как им надо. Почему Вербицкий? Почему не Вербов, Вербиков или, скажем, Вертилин. Как хорошо! Жулик, снабженец — Вертилин!

— Слишком прозрачный намек. Близко лежит.

— А у Гоголя: Чичиков, Собакевич, Ноздрев — это не намек, не близко лежит?

— Хорошо, пусть будет Вертилин.

— Молодец! Так и надо принимать замечания редакции. Ставим в январский номер.

— В январский?! У меня написана только первая часть.

— Дописывай.

— Когда я должен все сдать?

Он посмотрел в график:

— Январский... Январский номер сдаем в ноябре. Надо будет еще почитать. В октябре приноси.

— Я не могу за полгода дописать две трети романа.

— Допишешь, допишешь! Твоим романом открываем год. Анатолий! Ты понимаешь, что такое напечататься в «Октябре», старейшем российском журнале?!

— Но я не успею.

— Успеешь, успеешь! Подпишем договор, получишь аванс, выпьешь рюмку, как положено писателю, и сядешь работать.

Я подписал договор. Напечататься в «Октябре» — представится ли мне когда-нибудь еще такая возможность? Смел ли я мечтать о такой удаче? И аванс! Денег нет, полученный в Детгизе гонорар попал под обмен денежных знаков. Погорел я тогда...

Недели три спустя, в очередной выплатной день, явился в бухгалтерию «Правды» за авансом. Денег — полный портфель. Выдавая аванс, кассирша сказала:

— Звонили из «Октября», просили вас зайти.

Поднимаюсь на четвертый этаж, вхожу в кабинет к Панферову.

Он сидит за своим громадным столом с телефонами. Как и в прошлый раз, смотрит насупившись, грозно, по-партийному, по-кремлевски, воплощает в себе не личность, а ин-

станцию. Однако не получается. Конечно, в литературе он был инстанцией, весьма значительной — главный редактор журнала. Но был и личностью, не слишком, может быть, значительной, но своеобразной, колоритной, очень характерной для того времени. Деревенский парень, не лишенный способностей, малообразованный, испробовал в свое время перо как «селькор» — сельский корреспондент в провинциальной газете. Напечатали. После этого он уже пера из рук не выпускал, обуяла страсть к сочинительству, вдохновлял пример «великого босяка» Горького, поощряли всякого рода призывы рабочих и крестьян в литературу. Написал роман — его расхвалили «за тему», он тут же следующий, заимел квартиру в Лаврушинском переулке, дачу на Николиной горе, жену-красавицу, к тому же писательницу — Антонину Коптяеву, стал секретарем Союза писателей, депутатом Верховного Совета — словом, весь антураж. И старался держаться соответственно. Людей принимал по строго разработанному ритуалу.

Неугодных к нему не допускали. Я помню, как обреченно расхаживал по коридору один весьма известный критик, постоянный сотрудник «Октября», но чем-то Панферову не угодивший. Этого было велено «гнать в шею».

Автор никому не известный, еще не прочитанный, допускался не дальше дверей. Так со стоящим в дверях Панферов с ним и разговаривал. «Почитаем, ответ получите в отделе».

Следующий разряд — жест, приглашающий присесть. Значит, есть шанс на публикацию: кто-то автора рекомендовал, и он уходил обнадеженный.

Но если вслед за приглашением сесть автору протягивалась пачка папирос «Друг» с нарисованной на коробке собакой, это значило, что его напечатают, он друг журнала. В этом смысле название папирос было символично.

Этими вариантами церемониал не исчерпывался. Было еще два.

Из ящика стола Панферов вынимал бутылку водки, наливал автору полстакана, подвигал блюдечко с печеньем:

— Выпей за успех.

Значит, ты не только автор и друг, но еще «человек жур-

нала “Октябрь”», «свой», «наш» человек, мы тебе доверяем и будем поддерживать.

И наконец, наивысший разряд.

Голицына (секретарь) приносила из буфета большую тарелку сосисок, две тарелочки, горчицу, хлеб, боржом. И вы с Панферовым распивали бутылку водки. Теперь все! Ты войдешь в состав редколлегии, будешь представлен на соискание Сталинской премии, Панферов выхлопочет тебе квартиру, дачу в Переделкине и на ближайшем съезде писателей выдвинет твою кандидатуру в члены правления.

Вот по этому высшему разряду Панферов меня и принял. Чем я так ему понравился, не знаю.

Привычным ударом дна о ладонь Панферов вышиб пробку из бутылки, мы с ним ее и выпили. Он был выпивоха, и я умел пить, он пьянел, я — нет, сосисок навалом, я хорошо закусил. Панферов почти не ел, рассуждал:

— Кончишь этот роман, сразу начинай другой, тему я тебе даю, как Пушкин Гоголю. Слыхал об этом?

— Конечно, «Мертвые души».

— Молодец, знаешь историю литературы. Мне говорили: простой шофер, то да се, язык ведь без костей. Значит, только тебе, как Пушкин Гоголю. Слушай. Во время войны эвакуировали из Москвы завод в Казахстан. Оборонный завод! Прямо в степь, под открытое небо. И что ты думаешь? Поставили люди станки в степи и начали работать. Пока возводили стены, крышу, они боеприпасы выпускали для фронта. Понимаешь, что за люди были! Какой материал для писателя! Почему не записываешь?

— Я все запомню.

— Запомнишь? Детали! Самое главное в художественном произведении — детали! Кто умел писать детали? А?

— Толстой, думаю.

— Молодец, Анатолий, правильно! И вот я тебе, как Гоголь Толстому, сюжет отдаю. Командировку выпишем, поезжай, посмотри, с людьми поговори...

Захмелел, путались мысли, но продолжал рассуждать:

— В холод, снег, вьюгу... А работали. Кто работал? Женщины наши... Великая русская женщина... Коня на скаку остановит... Все при ней! Как у Рубенса. Рубенса знаешь?

— Знаю.

— Видел у Рубенса женщину? Сразу видно, для чего она создана, — детей рожать! Все при ней! И здесь, и там, всюду, где полагается, есть за что ухватиться. Ядреных баб писал Рубенс, понимал, разбирался...

Его монолог прервала возникшая в дверях Голицына:

— Федор Иванович, возьмите трубочку по внутреннему.

С одного из телефонов Панферов снял трубку:

— Алло!.. Приехала... Ладно... Сейчас спущусь... Жди... — Положил трубку. — Жена явилась, ждет внизу. Собирайся, поедем ко мне на дачу.

Ехать к нему на дачу... У меня портфель полон денег.

— Неудобно, Федор Иванович, поздно.

— Что поздно? Переночуешь на свежем воздухе. Завтра со мной в Москву вернешься.

— Я не знаком с вашей женой.

— Познакомишься...

Рядом с шофером сидела Антонина Коптяева, моложавая, с несколько необычным бурятским лицом. Мы с Панферовым уселись сзади. Он был чем-то недоволен, что-то ей выговаривал, она не отвечала, ни разу не оглянулась.

— Видал? Как об стенку горох. Муж рюмку выпил. А какой мужчина не пьет, это глиста, а не мужчина. Поумному, видишь ли, разговаривает, интеллигент! Нет, ты напиши! Не какой-то там фельетон-клеветон, ты роман напиши! Рассуждать легко, это они умеют, критиканы! За это и нравятся нашим барынькам.

Коптяева по-прежнему сидела молча. В чем упрекал ее Панферов, каких интеллигентов-критиканов имел в виду, я не понял.

Большая дача, на фронтоне вырезанные из дерева аршинные буквы: «АНТОША» — в честь Антонины Коптяевой. Стены внутри увешаны картинами — в основном «передвижники», старинная мебель — богатый дом.

На столе бутылка водки, на закуску горячие беляши. Панферов ел с аппетитом, я мало — наелся сосисок в редакции. Как и в машине, Панферов продолжал ругать критиков, рассказывал: пишет о них пьесу, герой — критик Ермилов.

— Я его приложу, перевертыша... И нашим и вашим... Имя и фамилию ему придумал — Ермил Шилов. А? Все догадаются. И не придерешься, на личности не перехожу. Ермил Шилов — ищите, кто такой! В художественном произведении, Анатолий, имя герою надо выбирать звонкое, чтобы запоминался. Вот у Пушкина — Онегин, откуда такая фамилия? Река Онега. Ленский — река Лена. Чувствуешь?!

Постелили мне в небольшой комнате для гостей. Намаялся я за этот день, заснул мгновенно.

Разбудил меня Панферов часов в семь.

— Вставай, умывайся.

Позавтракали. Подавала прислуга. Коптяева к завтраку не вышла. У крыльца уже стояла машина. Сели. Проехали метров пятьсот. Стоп! Выходи!

Возле большого пустыря нас ожидал человек на длинных журавлиных ногах, в выцветшей, с орденскими планками гимнастерке. Панферов нас познакомил:

— Председатель поселкового совета, большая сила. Анатолий Рыбаков — знаменитый писатель. — Обвел рукой пустырь. — Видишь, Анатолий, этот участок будет твой. Съездишь в Калужскую область, дома там дешевые, срубы хорошие, калужские — они испокон веку плотники, купишь пятистенок, привезешь, поставишь тут дом, дачу заимеешь, будем соседями.

— Федор Иванович! Мне нужно заканчивать роман. Когда строиться?

— Роман — романом, дом — домом. Бери, не зевай, потом поздно будет.

— Пока не кончу роман, ни о какой даче не может быть и речи.

— Ах, так, Господа Бога, Христа... — он длинно и витиевато выругался. — Тут министры не могут участок получить, министры! Из писателей я здесь один, вот еще Михалков втерся, этот куда хочешь просунется. А ты кто? Ноль без палочки. Я из тебя человека делаю, а ты брыкаешься.

Только что представил меня знаменитым писателем, а теперь ноль без палочки. Забавный человек и ведь добра мне

хочет, покровительствует. Но для меня сейчас главное и единственное — роман.

— Пока не кончу роман, ничем другим заниматься не буду.

— Ну и хрен с тобой!

Сел в машину и уехал. И председатель поселкового совета ушел. А я остался. Стою один на дороге, автобусы сюда не ходят, железной дороги нет. Как добраться до Москвы? Добрался, конечно.

В сентябре я сдал вторую часть рукописи, в декабре — третью. Роман начали печатать в январе, открыли им год. Об инциденте на Николиной горе Панферов не вспоминал. Отстоял мне в Союзе писателей квартиру, потом и дачу в Переделкине, рекомендовал в члены редколлегии «Октября», выдвинул роман на Сталинскую премию и в драматической истории ее получения вел себя достойно. После публикации «Водителей» я в журнал не ходил, вокруг него вертелись не те люди: Бубеннов, Первенцев, Бабаевский.

Как-то встретил меня Панферов в Союзе писателей:

— Почему в журнал не заходишь?

— Работы много.

— Какой занятой! Слыхал, роман пишешь... Много написал?

— Только первую часть.

— Принеси. Договор подпишем, аванс дадим. Ты теперь богатый, и все равно с авансом надежнее.

Я передал Румянцевой первую часть романа. Вскоре меня вызвали к Панферову. Не хотел идти, предчувствовал недоброе. Панферов опубликовал тогда первую книгу своего романа «Волга матушка-река». Вещь графоманская. Я опасался, что он заведет о ней речь. Но Румянцева настаивала, пришлось идти.

Панферов опасливо покосился на дверь, вытащил из ящика бутылку водки:

— Выпьешь? Только один. Мне врачи запретили. Антонина лютует, развела тут вокруг меня разведку.

— Тогда и мне не надо.

Он спрятал бутылку в стол, вынул мою рукопись.

— Прочитали мы... Получится роман, поздравляю, как

допишешь, будем печатать. И название хорошее: «Одинокая женщина». Молодец! Сразу берешь быка за рога. А пока договор подпишем. Сколько у тебя будет листов?

— Листов двадцать пять.

Он вызвал Голицыну, приказал приготовить договор со мной на роман «Одинокая женщина», объем 30 листов, гонорар — 4000 рублей за лист. Быстренько!

— Есть! — Голицына скрылась за дверью.

Панферов смотрел на меня благодушно, улыбаясь, подписал договор на незаконченный роман, дал высшую «лауреатскую» ставку — 4000 рублей и не за 25 листов, как я сам назвал, а за 30 — аванс будет больше.

— Читал мой роман?

— Читал.

— И как?

— Первая книга... Надо до конца дочитать.

— Ишь ты какой! — он недобро усмехнулся. — Твой роман я тоже не до конца дочитал, договор подписываю — оценил тебя, а ты, видишь ли, конца дожидаешься!

— Вещь читается, роман, я думаю, получится.

— Ах, значит, романа еще нет, еще только «думаю, получится»... Что же тебя там не устраивает? Говори прямо, по-писательски!

— Один сюжетный ход неубедительный.

Он насупился, насторожился.

Я продолжал:

— В романе написано: в Прикаспии гибнут овцы, положение в области отчаянное. Туда срочно посылают нового секретаря обкома. Казалось бы, он должен вылететь первым же самолетом, а он садится в Химках на теплоход и спокойно плывет по Волге две недели. Так ведь? А овцы тем временем гибнут. Читатель этому секретарю не поверит. На твоем месте я бы сразу отправил его на самолете.

Он сидел все так же, набычившись, потом с горечью сказал:

— Да, вам этого не понять.

— Кому это вам?

— *Вам* не понять, — повторил он, — в этой поездке я показываю читателю Волгу. Нашу Волгу, великую русскую

реку, дорогую каждому русскому человеку, матушку нашу Волгу, кормилицу, а вам, конечно, не понять.

— Кому это *вам*? — переспросил я.

Он нажал на звонок, рявкнул секретарше:

— Договор! Где договор?!

— Сейчас, сейчас, Федор Иванович, — заторопилась та.

— Так кому это вам? — снова спросил я.

— Вам, инородцам!

— Ах так... Мало того, что ты графоман, ты еще и антисемит. Значит, правду о тебе говорят.

Он опять нажал кнопку звонка:

— Договор! Договор! Я вам сказал!

— Сейчас, сейчас, Федор Иванович.

— Несите договор, черт возьми!

— Сейчас, минуточку, Федор Иванович.

Он застучал кулаком по столу.

— Договор, я вам сказал! Сейчас же договор!

Наконец Голицына положила перед ним договор. Он схватил его и, не глядя, разорвал и бросил в корзину.

— Со шпионами договоров не заключаю.

— Что, что?

— Ты же спал со шпионкой, с Анной Луизой Стронг, вот с кем ты спал!

Я в жизни своей не видел Анны Луизы Стронг, читал в газете, что она объявлена шпионкой. Что ему взбрело в голову?!

— Дурак ты! — сказал я на прощание.

Прошли годы. Панферов сильно болел, вроде обнаружили рак, но продолжал руководить журналом. Говорили, будто бы даже хотел печатать Пастернака, Паустовского, Казакевича, бывших тогда не в почете у власти.

Как-то позвонил мне Елизар Мальцев, в ту пору заместитель Панферова.

— Толя, Федор Иванович хочет тебя видеть.

— Зачем?

— Просто так.

— Не имею желания.

— Толя, он умирает... Поверь, дело идет не о месяцах,

а о неделях, может быть, о днях. И он хочет с тобой повидаться, неужели ты ему откажешь?

Я приехал. Редакция находилась теперь не в здании «Правды», но на той же улице, на первом этаже жилого дома. Небольшой, в сравнении с прошлым, кабинет, за столом — Панферов, худой, бледный, с ввалившимися глазами, с печатью смерти на лице. Комок подкатывал у него к горлу, он его сглатывал, потом комок снова подкатывал. Видимо, у него был рак желудка.

Мы с Мальцевым сели против него. Панферов, улыбаясь, смотрел на меня, медленно, с трудом заговорил:

— Видишь, Елизар, вот и Анатолий пришел. Я знал, что он придет, ведь я любил его, как брата... Большие надежды на него возлагал и сейчас возлагаю, Анатолий себя еще покажет... А кто нас рассорил? Елизар, знаешь, кто нас рассорил? Падерин — негодяй! (Падерин был тогда его заместителем.) Я велел выписать Анатолию гонорар по четыре тысячи рублей за лист, а Падерин, подлец, антисемит, выписал ему по три тысячи. Анатолий обиделся и ушел от нас в «Новый мир».

Что я мог ему сказать? Не напоминать же тот разговор...

Елизар оказался прав.

Через несколько дней Панферов умер.

17

Газеты — московские, республиканские, областные, даже районные, все журналы напечатали хвалебные статьи о романе «Водители». Книга вышла на русском, на языках народов СССР и народов РСФСР, в странах Восточной Европы (в то время «страны народной демократии»). Имел роман успех и у читателей, в том числе и у интеллигенции.

Что было в «Водителях»? Достоверность, автор знает, о чем пишет, честность, нет славословий, лживого пафоса, ни разу не упоминается имя Сталина, персонажи — рядовые люди, шоферы, грузчики, слесари, рассказано о них без затей и ухищрений. Но в жизни героев романа был только труд, ничего, кроме работы. Все остальное — любовь, ненависть, страдания, сострадание, способность мыслить — истреблялось в литературе беспощадно: «личное не должно заслонять общественного». Поэтому я и не включил «Водителей» в свое собрание сочинений.

Но тогда я был, как говорится, «нарасхват»: приглашали на премьеры, на всякого рода «культурные» мероприятия — литературный успех в ту пору ценили. Приняли, конечно, в Союз писателей. Пришлось заполнять анкету. В графе «судимость» — написал «нет»: судимость с меня снята. Но вслед за этой графой следовал вопрос: «Если судимость была, но снята, то кем и когда снята». Вопрос незаконный: он лишал меня права не писать о своей судимости. И в этой графе я тоже написал «нет».

Союз писателей выделил мне однокомнатную квартиру на Смоленской площади, в старом доме, бывшем когда-то детским приемником Рукавишникова. Советы, как ее обставить, давали Василий Ажаев, автор романа «Далеко от Москвы», и поэт Михаил Луконин. Они уже были лауреатами Сталинской

премии, а меня только выдвинули. Все мы авторы одной «рабочей» темы (помню луконинскую строчку: «Жажда трудной работы нам ладони сечет»). Вася Ажаев считался ее родоначальником и покровительствовал своим, так сказать, продолжателям, проталкивал их, выдвигал, включал в писательские бригады на разные декады. Помню, мы ездили в Ригу на какое-то литературное мероприятие. Они были с женами: Ирина Ажаева, добрая, рассудительная, милая дама со склонностью к светскости, и Галя — молодая жена Луконина (в будущем Евтушенко), бесшабашная, веселая, с поразительно красивым, незаурядным лицом.

В этой поездке я познакомился с Алексеем Сурковым, возглавлявшим нашу делегацию. Знал его раньше только как фронтового поэта, теперь Сурков был одним из руководителей Союза писателей. Сначала он настороженно приглядывался ко мне, потом со своим характерным ярославским говорком на «о» сказал:

— В «Октябре» печатаешься, я и подумал, не из «гужеедов» ли ты.

«Гужеедами» он называл правых, связывал их с журналом «Октябрь». Сурков — фигура противоречивая, партийный функционер, средний поэт, имя его впервые прозвучало в 1934 году на Первом Всесоюзном съезде писателей: он возражал против высокой оценки, данной Бухариным Пастернаку. Отсюда и пошла его репутация «гонителя» Пастернака. Но он не явился на знаменитое собрание в пятьдесят восьмом году, где писатели прорабатывали Пастернака. И в так называемой «борьбе с космополитизмом» тоже не принимал участия.

Ажаев и Луконин вели себя порядочно. Ажаев, работая в Союзе писателей, помогал Алексею Суркову разоблачить мошенника Сурова, который присваивал себе чужие пьесы. Мешало им то же, что и многим писателям того времени, — неожиданный, сногсшибательный официальный успех. Он не приковал их к письменному столу.

Круг моих знакомых расширялся. Обедал я в ресторане ЦДЛ. Там собиралась московская литературная публика, жизнь в ЦДЛ кипела: собрания, заседания, обсуждения книг, съезды, пленумы, совещания, торжественные даты, митинги,

юбилеи, панихиды, суета и суматоха... Но какая может быть литература при отсутствии права на самостоятельную мысль? Анекдот того времени: «Не думай, подумал — не говори, сказал — не публикуй, опубликовал — пиши покаянное письмо».

Как-то пригласил меня к себе Константин Симонов, тогда главный редактор «Литературной газеты». Отношение к нему у меня было двойственное. На войне — любимый поэт, стихи его читали и солдаты и офицеры, фигура тогда легендарная. Но в феврале сорок девятого года меня, еще не члена Союза писателей, один приятель провел в ЦДЛ на собрание московского писательского актива, на доклад Симонова: «Задачи советской драматургии и театральная критика».

Этому собранию предшествовали такие события. 13 января 1948 года в Минске был убит Михоэлс, знаменитый актер, руководитель Еврейского театра в Москве, председатель Еврейского антифашистского комитета во время второй мировой войны. Убийство изображалось как несчастный случай, но многим, и мне в том числе, хорошо знавшим сталинские способы устранения неугодных, было ясно, что это не случайность. Через год в «Правде» появилась редакционная статья, написанная Фадеевым и известным тогда казенным журналистом Давидом Заславским, которого еще Ленин именовал «политической проституткой». Статья называлась «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Цель этой акции была ясна: официальное объявление сталинского государственного антисемитизма. Состав «антипатриотической» группы не оставлял в этом никакого сомнения: Борщаговский, Бояджиев, Варшавский, Гурвич, Малюгин, Холодов (он же Меерович), Юзовский. Не буду перечислять предъявленные этой группе абсурдные обвинения. Достаточно назвать ныне забытых, но тогда процветавших конъюнктурщиков, чьи пьесы критиковали эти «антипатриоты»: Суров, Софронов, Вирта, Ромашов, Корнейчук, Павленко.

И вот на эту тему делал доклад Симонов. Возвышаясь на трибуне, аристократически грассируя, он произносил нечто отвратительное: «мелкая злоба, самодовольная наглость... Оголтелые враги социалистического искусства... Подшибали ноги передовым драматургам...» Все это, повторяю, было отвратительным, но для меня, прошедшего школу сталинских

репрессий, наиболее страшными были его слова: «Одна из самых вредоносных сторон деятельности критиков-антипатриотов заключается в том, что они были именно группой». Неужели не понимал Симонов, что говорит? Ведь это отчетливо сформулированное обвинение не только по статье «контрреволюционная агитация и пропаганда», что наказуется сроком до десяти лет лагерей, но и по статье «создание и участие в контрреволюционной организации», за что положен расстрел. И это произносит Симонов, бесстрашный военный корреспондент, поэт, написавший «Жди меня», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» — пронзительные стихи. Помню, как-то я ужинал в ресторане «Гранд-Отель», вошел Симонов, и оркестр тут же грянул его знаменитую песню: «С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом...» Так любил и чтил его народ. И вот стоит он на трибуне и произносит холопскую речь.

Такие два Симонова были мне известны. Он пригласил меня домой, помню большую квартиру, просторный кабинет, полный книг, журналов, наваленных на журнальном столике рукописей, непрерывные телефонные звонки, отлучки его из кабинета в другие комнаты, атмосферу чрезвычайной занятости, кипучей деятельности.

— Читал ваш роман, — сказал Симонов, имея в виду «Водителей», — мне нравится ваше отношение к жизни. Предлагаю работу в газете, заместителем заведующего отделом. Пока. А там посмотрим. Разумеется, сразу же вводим вас в состав редколлегии.

Быть членом редколлегии газеты, конечно, почетно. Но работать в ней... Никогда я не был газетчиком, в жизни своей не написал ни одной корреспонденции, не будет времени писать прозу. Да и работать с Симоновым после его февральского доклада? Я поблагодарил за предложение, но твердо отказался, сослался на занятость новым романом, на отсутствие опыта газетной работы.

Я не нажил в Симонове врага, но всегда потом чувствовал его несколько презрительное равнодушие к себе: такая удача шла человеку, на такое видное место мог выйти — не захотел! Останется на обочине — дурачок!

Нечто похожее, но посерьезнее ожидало меня в другом месте.

Осенью пятидесятого года пригласили меня в ЦК ВКП(б), в один из идеологических отделов к товарищу Маслину. Ничем не примечательная чиновничья личность, стертое чиновничье лицо, чиновничьи повадки. Пригласил сесть, посмотрел в папке мое имя, отчество...

— Анатолий Наумович! Союз писателей СССР вошел в Центральный комитет партии с предложением ввести вас в состав редколлегии журнала «Октябрь», это номенклатура ЦК. У нас вы прошли все инстанции. Поздравляю. Проект решения Секретариата ЦК уже подготовлен. Остались некоторые формальности. Надо вам написать автобиографию и заполнить анкету, — и протягивает мне анкету, этакую тетрадь страниц на десять.

Заполнять анкету *здесь*?! Цековские номенклатурные анкеты тщательно проверяются в здании поблизости, на Лубянской площади, тут не напишешь: нет, нет, нет, это «нет» быстро разоблачат, а написать правду — значит признать, что при вступлении в Союз писателей я скрыл бывшую судимость. Этим я подставлю Союз под удар — они представили в высший орган партии кандидатуру непроверенную и сомнительную.

— Понимаете, в чем дело, я не смогу принимать участие в работе редколлегии.

Он был ошеломлен, просто онемел. Придя в себя, проговорил:

— Вы отказываетесь?! Такая честь для молодого писателя — стать членом редколлегии старейшего российского журнала.

— Я инвалид Отечественной войны. И я тяжело болен — у меня грудная жаба, бронхиальная астма, сердечно-сосудистая недостаточность (ничего больше из этого разряда болезней я не сумел припомнить). Врачи категорически запретили мне любые нервные нагрузки.

— Почему вы не отказались в Союзе?

— Меня никто не спрашивал. Я в это время был в отъезде.

— Как же теперь быть? — растерянно проговорил Маслин. — Решение уже подготовлено, прошло все инстанции, завизировано во всех отделах...

— Не знаю. Но войти в состав редколлегии я не могу.

— Понятно, — протянул он, — понятно... — Растерянность

постепенно сходила с его лица, черты становились жесткими, глаза холодными. — Понятно, — и голос тоже обрел уверенность, набрал злобные, угрожающие нотки, — значит, Союз писателей внес в ЦК неподготовленный вопрос. Заставил аппарат ЦК работать вхолостую. Придется разбираться, придется спросить с кого следует.

Недели через три группу детских писателей пригласили к Фадееву. Позвали и меня, хотя после «Водителей» я считался писателем для взрослых. Шел разговор о работе бюро детской секции, вопрос этот меня не интересовал, интересовал сам Фадеев, руководитель Союза писателей, любимец Сталина. Красивый, стройный, и седина красивая, но лицо цвета разбитого кирпича, пил он по-черному, все это знали, на время запоя исчезал, неделями его не могли найти. Потом запой проходил, он являлся и продолжал, как ни в чем не бывало, руководить Союзом.

Злые языки рассказывали, будто во время одного из таких запоев его вызывал Сталин. Не могли найти. Выйдя из запоя, Фадеев является к нему.

Сталин спрашивает:

— И сколько времени у вас это обычно продолжается?

— К сожалению, три недели, товарищ Сталин. Болезнь такая.

— А нельзя немножко сократить, укладываться в две недели? Подумайте.

За достоверность этого разговора не ручаюсь.

Перед тем как встретиться с детскими писателями, Фадеев специально прочитал три детских книжки, о них и говорил:

— Эти книги не дают повода для дискуссии. Разговаривать можно о книге или статье, не соответствующей задачам, которые стоят перед детской литературой. На таком отрицательном примере можно заявить свою положительную позицию. Такие книги и статьи надо искать и представлять на суд общественности. Тогда-то и начинается настоящая литературная жизнь. А у вас все благостно, тихо, спокойно. С Михалкова какой спрос — он человек легкий, а вот товарищи Барто, Кассиль, Маршак — серьезные люди, однако боятся кого-то обидеть. А мы воспитываем молодежь, делаем большое партийное дело. Какие тут обиды?!

В такой деликатной форме поучал, как искать «идейного противника».

Разговор закончился, все разошлись, меня Фадеев попросил остаться.

— Анатолий Наумович, мне докладывали, что в ЦК партии вы отказались войти в состав редколлегии «Октября».

— Да, отказался.

— Вам следовало это сделать здесь, в Союзе.

— Меня никто не спрашивал. Я об этом ничего не знал.

— Это недоработка нашего аппарата. Но обнаружена эта недоработка из-за вашего отказа. Вы нас поставили в нелепое положение.

— Если бы я согласился, то поставил бы вас в более нелепое положение.

Он удивленно уставился на меня.

— Я — инвалид Отечественной войны, и у меня больное сердце. Врачи запретили мне любые нервные нагрузки, я бы не явился ни на одно заседание редколлегии, и в скором времени меня бы пришлось из нее вывести. Вам бы сказали: «Что же вы рекомендуете людей, не способных работать?»

Он смотрел на меня, не понимая, серьезно я говорю или издеваюсь над ним.

— Неубедительно. Среди нас нет абсолютно здоровых людей. Товарищи оказали вам высокое доверие, а вы их подвели.

— Я прошел войну, Александр Александрович, и никогда не подводил своих товарищей. В данном случае я тоже никого не подвел.

Встал, попрощался, вышел из кабинета, чувствуя на себе его взгляд.

18

Понимал ли я, что мы своими книгами, пьесами, картинами помогаем власти? Понимал. Но утешал себя мыслью, что служу не только власти, но и народу, стране, за которую воевал, ее культуре, служу, но не прислуживаю, не участвую ни в каких верноподданнических акциях, утешал себя мыслью, что «Водители» — честная книга, а «Кортик» — повесть о революции — служит не Сталину, а идее, которую он сокрушил. В стране развивается антисемитская кампания, прикрытая словами «борьба с космополитизмом». Но я не единственный еврей в литературе, искусстве, науке. Все живут, работают, и я должен работать. Надежда на то, что после войны все изменится, не оправдалась. И все же вера в будущее не должна покидать нас. Мне 39 лет. Достаточно я нахлебался всего, могу пожить как человек. Если дадут, конечно.

Наверняка рано или поздно мое прошлое откроется. Но чем известнее я становлюсь, тем безопаснее. Рядового инженера посадить просто. Но если я получу Сталинскую премию, то есть официальное признание правительства, посадить меня можно будет только с санкции правительства. Решатся ли «органы» загружать его столь мелким делом — анкету человек не так заполнил? Не думаю. Значит, вопрос стоит так: разоблачат меня до того, как я получу Сталинскую премию, или после. В Комитете по Сталинским премиям «Водители» уже прошли первый, главный этап — секцию литературы, рецензенты отозвались положительно, пресса громадная, книга широко читается. Предстояло пленарное заседание Комитета, а затем окончательное утверждение в Совете Министров СССР под председательством Сталина. Списки лауреатов объявляли обычно в марте—апреле следующего года. Мне оставалось ждать и надеяться, что все закончится благополучно.

Задумал я роман об одинокой женщине — много одиноких женщин было после войны. И только написав роман о женщине, как мне казалось, писатель может состояться. Побывал на швейной фабрике, но не потянуло писать о швеях. Да и некогда: держал корректуру отдельного издания «Водителей», заключал договора с республиканскими и зарубежными издательствами, давал интервью газетам — они уже заранее готовили обзорные статьи о произведениях, удостоенных Сталинской премии, вел переговоры с Ленфильмом об экранизации романа, они ни к чему не привели — «Водители» так и не были экранизированы; ездил на встречи с читателями, иногда со мной отправлялся туда и мой друг Василий Михайлович Сухаревич — фигура примечательная в литературной богеме тех, да и последующих, лет.

Мой ровесник, родом из Пятигорска, язвительно остроумный, лицо сатира, одновременно напоминающее лицо Вольтера, бабник, выпивоха, незаменимый человек в компании. Мать отдала его, четырнадцатилетнего с шестиклассным образованием, учеником в самый большой ресторан Пятигорска, принадлежавший частному владельцу — был нэп. Стал Вася прекрасным поваром и как таковой, уже будучи журналистом, был хорошо известен в московских литературных и журналистских кругах. На домашних сборищах, ужинах «становился к плите» и варил, жарил, пек, занимался всем, кроме одного — никогда не мыл посуду: «Я повар, а не судомойка. Привет с Анапы!» Соблюдал свой поварской престиж.

Но там, в Пятигорске, на кухне, поваренка Васю тянуло писать. Писал сначала в стенной газете, потом стал посылать корреспонденции в окружную газету, стал Вася «рабкором» — рабочим корреспондентом. Был писуч, не лишен дарования, с юмором, с издевочкой, писал заметки типа: «Охрана труда, где ты?», «Кто заботится о рабочих?», «Когда выдадут спецодежду?» Критиковал хозяина, профсоюз... Нэп ликвидировали, ресторан стал государственным, Вася критиковал администрацию, трест народного питания («Нарпит»), опять тот же профсоюз — эта мишень была у него постоянной. Перо у Васи было бойкое, задор молодой, поварское дело знал, его заметки разбирались в «инстанциях», по ним выносились решения, в общем, поднадоел он начальству изрядно, особенно предсе-

дателю профсоюза работников общественного питания, некоему Аггею Кузьмичу (фамилию забыл). Вася изводил Аггея Кузьмича, и тот избавился от него распространенным в те времена способом — послал на учебу в Москву. Пришла путевка в Архитектурный институт, по ней Аггей Кузьмич и послал Васю: «Человек молодой, способный, надо ему расти...»

Поехали двое — Вася и еще один пятигорский парень, Саша Тарасенков, из интеллигентной семьи, окончил девятилетку, прекрасный рисовальщик, его приняли в институт, а бедного Васю — нет: не сдал ни одного экзамена. Что делать? Возвращаться в Пятигорск неохота, жить в Москве негде. Саше дали койку в общежитии, Вася под ней спал, чтобы комендант не видел. На работу никуда не берут — нет прописки, нет документа о поварской квалификации, не запасся, надеялся, что с кухней покончено навсегда. Промыкался Вася с полгода, пообносился, изголодался, подкармливал его Саша в студенческой столовой винегретом, но Саша сам на стипендии.

Идет как-то Вася по улице Горького, и ему навстречу... Аггей Кузьмич — тот самый председатель профсоюза работников питания в Пятигорске.

— Вася, ты?

— Я, Аггей Кузьмич.

— Рад тебя видеть, Вася, — говорит Аггей Кузьмич, — честно говорю, рад, как родному. Давай зайдем вот сюда, посидим.

Заходят они в кафе-закусочную, раздеваются в гардеробе. Вася стесняется — пиджак порван на локтях, брюки обтрепались, облохматились, рубашка грязная, но ничего не поделаешь — в пальто не пускают.

Сели за столик, Аггей Кузьмич заказал водку, закуску — он, Аггей Кузьмич, угощает.

— Как дела, Вася, рассказывай.

— Плохи мои дела, Аггей Кузьмич, в институт не приняли, квартиры нет, прописки нет, работы нет.

Аггей Кузьмич сочувственно покачал головой:

— Плохо, конечно... Но выход у тебя есть: вернешься домой, работать будешь по специальности, порядок! Вот мои дела, Вася, намного хуже.

— Что такое, Аггей Кузьмич?

— Перевели в Москву на высокую должность. Только работа не по мне. А уйти не могу — партийное поручение. Партия послала — справляйся!

— Что за работа, Аггей Кузьмич?

— Назначили меня главным редактором журнала «Общественное питание». А я сроду ни в журнале, ни в газете не работал.

— Не расстраивайтесь, Аггей Кузьмич, журнал-то ведь выходит, значит, люди там есть, авторы, редакторы, постепенно и вы освоитесь.

— Какие люди?! Специалисты нужны, а их нет. Сидят там два ученых еврея — умные, грамотные, но ведь общественного питания не знают. — Он задумался, посмотрел на Сухаревича. — Слушай, Вася, а ведь ты газетчик, рабкором был! Какие в Пятигорске статьи закатывал! Пойдем ко мне в журнал работать! Я тебе с пропиской помогу. А, Вася?! Выручай!

И стал Вася работать в журнале «Общественное питание». Хорошо работал, усердно, понимал, какой шанс выпал. Ездил на фабрики-кухни, в столовые, рестораны, на новостройки, на заводы, в железнодорожные буфеты, публиковал в каждом номере по несколько корреспонденций, материал шел за материалом, все со знанием дела: сколько в котел заложено, сколько недоложено, и где недовес, и как обслуживают — все по существу. С его помощью «ученые евреи» стали писать квалифицированные статьи о задачах общественного питания в период строительства социализма. Журнал пошел в гору.

Аггей Кузьмич прописал Васю в общежитии мясокомбината, комнату Вася снял на Арбате, в Резчиковом переулке, купил костюм, рубашку, пальто, новые штиблеты. Теперь уже не Саша Тарасенков подкармливал его винегретом в студенческой столовой, а он водил Сашу по ресторанам, всюду Сухаревича знали, принимали по первому разряду. Завел Вася дружбу с журналистами. Корреспондентское удостоверение открывало ему двери не только в столовые и кафе, но и в театры, на выставки, в концертные залы.

Вася был на редкость артистичен, из него мог бы получиться великий актер или конферансье. Он мог изображать кого угодно, имитировал не только голос, но и содержание речи — именно *так*, и только так, должен был говорить изображае-

мый им человек, поразительно читал Маяковского, Блока, память — феноменальная. Но хотел стать писателем, а этого дара не было. Он мог на ходу написать заметку, корреспонденцию, но сидеть за столом не отрываясь не умел. Ему сопутствовала удача, и он вел рассеянный образ жизни... Женщины, женщины, женщины... Привлекал их талантом, красноречием, остротами, застольями, импровизациями, домашними ужинами, которые превращал в пиршества. Притворно вздыхал: «Тяжело нам, красивым мужчинам». Женился — разошелся, второй раз женился — опять разошелся, а потом, до конца дней своих, оставался холостяком.

Шикарная жизнь оборвалась неожиданно. В одной из главных московских газет появилась статья: «Кто питается в "Общественном питании"». Авторский гонорар журнала целиком получали его штатные сотрудники, половину всего гонорара — В. М. Сухаревич. Васю из журнала выгнали, редакцию разогнали, вероятно, и Аггей Кузьмич полетел, подробностей не знаю.

Но Вася не пропал. Профессиональный журналист, имея в Москве множество знакомых, стал театральным рецензентом, ездил по областным театрам, писал рецензии на спектакли, пытался сам сочинять пьесы — не получилось, хохмы в них были, но на одних хохмах не выедешь. Так рецензентом и остался, работал в «Советском искусстве», в «Литературной газете», в «Крокодиле», напечатал несколько юмористических рассказов, довольно слабых. Но не огорчался, обладал счастливым характером: никому не завидовал, никого не старался опередить, был терпим, незлобив, незлопамятен, не жаловался, ни на что не сетовал, довольствовался тем, что имел, и потому был мудрее многих.

Вел себя достойно. Во время войны служил в какой-то центральной газете, редактор ему говорит:

— Вася, ты чистокровный русский человек, православный, а фамилия у тебя смахивает на еврейскую: Сухаревич, Гуревич... Есть установка: в газете должны быть русские имена, не надо давать пищу фашистской антисемитской пропаганде. Как-нибудь измени свою фамилию.

— Хорошо, — ответил Вася, — свою фамилию Сухаревич я изменю, но при одном условии.

— Каком?

— У Гоголя в «Мертвых душах» помещик Собакевич тоже должен поменять фамилию.

Этот рассказ долго потом ходил по Москве.

Конечно, прежних заработков у Васи уже не было, но жил он неплохо. Его холостяцкую квартиру возле Большой Грузинской полюбили молодые преуспевающие драматурги. Заходили за Васей, тот снимал шлепанцы, надевал ботинки, вместе отправлялись на Тишинский рынок, покупали мясо, рыбу, зелень, все, что требовал Вася, и дома он «сооружал» обед, «пищу богов». На его «борщи» сбегалось много народа, каждый, конечно, с бутылкой. В Васе был поразительный талант гостеприимства, от доброты, от широты натуры. Так и жил. Вышел на пенсию. Ходил по улице или по Переделкину, когда наезжал ко мне, важный, солидный, с палкой, на которую не опирался, а выкидывал перед собой в такт своему шагу, как большую трость — этакий лорд, аристократ.

Перед войной Васин пятигорский приятель Саша Тарасенков окончил Архитектурный институт, стал заметным в Москве архитектором, талантливый, работоспособный, был женат на моей сестре Рае и жил у нас на Арбате. Вася к ним захаживал, там мы с ним и познакомились. Заехал я как-то к маме вечером, быстро прошел по двору, к счастью, никто меня не увидел, но дома у нас оказался Вася. Он, конечно, знал, что я после ссылки, что мне нельзя появляться в Москве, но не выдал, правда, распушил передо мной хвост, показывая свою значительность, но это было не главное, главное — не продал, я это оценил.

Когда я вернулся из армии и начал писать, Сухаревич был единственным моим знакомым, имевшим отношение к литературе. Ему я показывал первые свои писания, о чем уже упоминал. Жил он тогда в Ружейном переулке, между Плющихой и Садовым кольцом, у своей второй жены. Принес я ему первые главы «Кортика», а через месяц приехал узнать его мнение. Сидя на полу, Вася перебивал матрас, вынул гвоздик изо рта и сказал:

— Прочитал твой опус. Знаешь, Толя, из тебя может получиться писатель.

И вернул мне рукопись. Поля ее были испещрены Васины-

ми пометками: «Ха-ха!», «Ну и ну», «Ах, какой умный!», «Неужели?», «Чепуха!», «Графомания!», «За такие фразы убивают!» И все в таком роде. Я на него не обижался, кое-что в его пометках было верным. Со временем убедился, что читательские замечания полезны: если что-то задело, над этим стоит подумать. Такие же пометки были и на последующих главах рукописи. Но как бы ни петушился Сухаревич, как бы ни высокомерничал, что бы ни писал на полях моей рукописи, все же он первый сказал: «Толя, из тебя может получиться писатель». Этого я никогда не забывал.

В пятидесятом году он был неизменным моим спутником, да и собутыльником. Кафе «Националь», туда приходили многие писатели, а завсегдатаем был Юрий Олеша; ресторан «Гранд-Отель», его метрдотель Альберт Карлович знал Васю еще со времен журнала «Общественное питание», когда тот считался важным лицом. Вася, и со мной приходя, держался как важное лицо. Ресторан Химкинского речного вокзала. Я любил сидеть там на открытой террасе, водная гладь чем-то притягивала, именно там, в Химках, впервые мелькнула мысль: роман об одинокой женщине связать как-то с рекой, с Волгой. Мелькнула мысль, но еще не взбудоражила...

Вася пожинал со мной плоды моего успеха. Человек легкий, покладистый, к жизни относился спокойно и философски. Позвонишь ему: «Как дела, Вася?» — «Ничего, все тихо». Любил, чтобы было тихо, умел отбрасывать от себя житейские невзгоды, рядом с ним и я чувствовал себя спокойно. Уверенный в том, что я обязательно получу Сталинскую премию, Вася говорил:

— Вот тогда-то зададим банкетик. Всем покажем! Привет с Анапы!

19

Идеологически Союз писателей был казармой. Организационно — департаментом. Его сотрудники имели дело не со случайными посетителями, а с постоянными, с писателями. Были хорошо с ними знакомы, обслуживали их съезды, пленумы, заседания, обедали в том же ресторане ЦДЛ, ездили в те же Дома творчества, пользовались одной поликлиникой — Литфонда; бывало, молодые сотрудницы выходили замуж за писателей, жили со своими мужьями в писательских домах, писателей во все времена селили кучно: в Лаврушинском переулке, на улице Фурманова, на Ломоносовском проспекте, в районе метро «Аэропорт», в Астраханском переулке. Сотрудники много чего знали о каждом, писательская жизнь протекала у них на виду.

Ко мне в аппарате Союза относились с симпатией: молодой, уже известный, но общительный, демократичный, прошел войну, встречали с улыбкой, приветливо.

Но вот прихожу в Союз, было это в начале марта 1951 года, и сразу, с первого же мгновения, возникло ощущение опасности, хорошо знакомое, въевшееся во все поры моего существа. Быстро промелькнувший взгляд, любопытный или настороженный, замкнутое, отчужденное лицо, подчеркнутое равнодушие, как бы вынужденное рукопожатие, притворная занятость — мелочи, обычному человеку ничего не говорящие, но мне вполне понятные.

Много лет спустя в Доме творчества «Малеевка» мы стояли в холле с Евгенией Семеновной Гинзбург, автором «Крутого маршрута», восемнадцать лет проведшей в сталинских тюрьмах, лагерях и ссылках. Мимо нас прошел Виктор Николаевич Ильин, поздоровался со мной. Евгения Семеновна проводила его взглядом:

— Кто этот человек?

— Ильин, секретарь Московского отделения Союза писателей.

— Он — кагэбист.

— Почему вы так думаете? — Мне было интересно, что она скажет.

— У него это на лице написано.

Ильин всю жизнь прослужил в «органах», и Евгения Семеновна с одного взгляда узнала в нем кагэбиста, такое лицо бывший зек отличит среди сотни других.

Так и человек, за которым тянется 58-я статья, живет с опасением, что об этом узнают, и по малейшему, едва уловимому признаку чувствует опасность.

В коридоре мне встретился Вадим Кожевников, известный тогда писатель, редактор «Правды» по отделу литературы и искусства, мы с ним осенью были в Кисловодске, в одном санатории, ходили вместе в горы, сложились какие-то отношения, а сейчас прошел мимо меня, не поздоровался, даже головы не повернул.

Иду к Воронкову, заместителю Суркова, «рабочему секретарю», мы с ним когда-то состояли в первых пионерских отрядах Москвы и, хотя ни тогда, ни после того знакомы не были, иногда вспоминали то время, а потому были как бы приятели. Из рабочей семьи, проработал на производстве один год, а потом двадцать лет ведал пионерской работой в райкоме, затем в Московском и, наконец, в Центральном комитете комсомола. Ничего другого в своей жизни не знал и не умел, тихо, спокойно двигался по номенклатурной лестнице. Потом из комсомольского возраста вышел и очутился в Союзе писателей. Но повадки руководящего аппаратчика сохранил: спокойный, дружелюбный, вальяжный, чисто выбрит, в хорошо отутюженном костюме, производил приятное впечатление, встречая посетителя, выходил из-за стола, крепко жал руку, выслушивал, обещал разобраться, помочь, писатель уходил от него обнадеженный. Но это была лишь привычная манера поведения. Двадцать лет работы в комсомоле пришлись на самые страшные тридцатые и сороковые годы, рядом исчезали из жизни друзья, товарищи, начальники, такие же комсомольские работники, как и он. Вечером, расходясь с работы, они

прощались, обнимались, а утром приходили на службу — а друга, приятеля, сослуживца уже нет, ночью забрали. И о том, что накануне он с этим «врагом народа» обнимался и целовался, Воронков забывал, и человека этого забывал, пассивный исполнитель, ни во что не лез, ни во что не вмешивался, писал и подписывал бумаги, вежливый, благожелательный, всех устраивающий чиновник. Система, которой Воронков служил, выработала в нем убеждение, что жизнь человеческая мало чего стоит, сегодня ты есть, завтра тебя нет.

— Костя, что произошло, как мои дела?

— Твои... Вроде все в порядке.

— Брось, Костя! Скажи мне, останется между нами.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь... В издательском плане на будущий год книга твоя стоит... Сталинская премия... Секцию ты прошел, Комитет прошел, как в Совете Министров, — он пожал плечами, — решение еще не опубликовано.

Намек ясен. Дело в премии. Так я и думал.

— А что было на Совете Министров?

Он опять пожал плечами:

— Меня туда не зовут.

— Кто же там был?

— Фадеев в отъезде, в ГДР. Значит, Симонов.

Поехал я в «Литературную газету», там работал писатель Николай Атаров, он написал первую рецензию на «Водителей», был ко мне расположен. Попросил его узнать, что произошло с моей премией.

— А что случилось? — спросил Атаров.

— Не знаю. Но что-то произошло. Хорошо бы выяснить.

Атаров прошел к Симонову, вскоре вернулся: Симонов на том заседании Совета Министров не был, был Сурков.

Возвратился я в Союз писателей, размышляя по дороге об аппаратной умелости Воронкова: на то, что дело в премии, намекнул туманно, но называть имя своего начальника Суркова не стал. Если Сурков у меня спросит: «Кто тебе сказал, что я был на заседании?», я отвечу: «Симонов».

Прихожу к Суркову.

— Алеша, что произошло на заседании Совмина?

— Ничего не произошло.

— Скажи правду, я знаю: что-то случилось.

— Знаешь, зачем спрашиваешь?

— Хочу услышать подробности.

— О заседаниях Совета Министров публикуют газеты. Большего не могу тебе сказать и не скажу. — Он встал, понизил голос: — Ты куда сейчас?

Не хочет говорить в кабинете... Прослушивается.

— На Арбатскую площадь, к метро.

— Будь здоров!

Я медленно пошел по улице Воровского. Вскоре Сурков меня нагнал.

— Вот что, Толя... Мы живем в строгое время, — начал он своим ярославским говорком, — а ты, когда вступал в Союз писателей и заполнял анкету, скрыл свое прошлое.

— Что же я скрыл?

— Тебя исключали из партии и судили за контрреволюцию.

— От кого такие сведения?

— Неважно от кого. Важен сам факт!

— Вот что я тебе скажу, Алеша. Я никогда не состоял в партии, и потому меня не могли из нее исключать. Что же касается судимости, то действительно в тридцать третьем году меня, тогда еще студента, комсомольца, выслали из Москвы на три года. Но на фронте, за отличие в боях с немецко-фашистскими захватчиками, с меня Военный трибунал судимость снял, я имею право писать о себе — несудим. Что я на законном основании и написал в анкете. И тот, кто докладывал на Совете Министров...

Он оборвал меня:

— Ты не знаешь, кто и что докладывал. И не должен знать, запомни! Можешь представить решение трибунала о снятии судимости?

— Хоть завтра.

— Приноси.

Я тут же пошел к маме. Справка из Военного трибунала была зашита у нее в подушке, чтобы не забрали при новом аресте. Но отдавать ее Суркову я не собирался. Отправился в ближайшую нотариальную контору — снять и заверить копию. Увидев в справке статью 58-10, нотариус мне тут же отказала: «Мы таких справок не заверяем». Помотался я по Москве от одного нотариуса к другому, никто не хочет заверять. На сле-

дующий день поехал на улицу Кирова в нотариальную контору номер один. Долго ждал очереди к главному нотариусу Москвы. Наконец вошел в его кабинет, положил перед ним справку, попросил снять копию и заверить.

Он прочитал, поднял на меня глаза, долго смотрел.

— Мне что-то ваше лицо знакомо... — И неожиданно улыбнулся: — Я купил внуку книгу «Кортик», там не ваш ли портрет?

— Мой.

— Сколько копий вам надо?

Я не был готов к такому вопросу, ответил наобум:

— Три.

От нотариуса поехал в Союз и передал Суркову копию справки.

О том, что произошло на заседании Совета Министров, я все-таки узнал. История эта тогда широко распространилась в московских литературных кругах по правилам «испорченного телефона», обросла домыслами и небылицами, во времена гласности писатель Юлиан Семенов опубликовал ее в совершенно искаженном виде. Мне эту историю тоже передавали в разных вариантах, я отобрал единственный соответствующий истине, услышанный мной лично от тех, кто присутствовал на заседании.

Председательствовал Сталин. В зале среди прочих находились поэт Николай Тихонов — председатель Комитета по премиям и поэт Алексей Сурков — секретарь Союза писателей.

Сталин, зачитывая список, останавливался после каждой фамилии, давая возможность членам правительства высказать замечания. Если замечаний не было, читал дальше. Итак — проза. Премии первой степени — Гладков, Николаева, вторая степень — Рыбаков: «Водители»... Замечание делает сам Сталин:

— Хороший роман, лучший роман минувшего года.

Сурков подмигивает Тихонову: сейчас роман переведут на премию первой степени.

Однако Сталин посмотрел в какую-то бумагу...

— А известно ли товарищам, что Рыбакова исключали из партии и судили по пятьдесят восьмой статье?

Поэт Тихонов, не медля, подставляет своего друга поэта Суркова.

— Товарищ Сталин! Комитет рассматривает только сами произведения. Авторами занимается та организация, которая их выдвигает. В данном случае Союз писателей.

Все взоры направились на Суркова.

— Нам об этом ничего не известно, — пролепетал Сурков.

— Значит, скрывает?!

Сталин передал бумагу сидевшим за столом членам правительства, встал и начал прохаживаться.

Бумага обошла стол. Первым откликнулся Ворошилов:

— И все же всю войну был на фронте, искупил кровью.

— Тогда тем более зачем скрывал? — возразил Маленков. — Мы давали премию Ажаеву, тоже был осужден, но ведь не скрывал. Награждали и других, в прошлом осужденных, никто судимость не скрывал, вели себя честно.

Сталин вернулся к столу:

— Да, неискренний человек, не разоружился.

Таким клеймом меня припечатал. Понятно, почему все от меня шарахались. Пришел обедать в ресторан ЦДЛ, сижу один, столик на четверых, никто не подсаживается, как бывало. Перестал туда ходить и в Союз больше не ходил.

Я отлично понимал, что ни Сурков, ни кто-либо другой не посмеют доложить Сталину о моей справке, это значило бы защищать «неразоружившегося». Но я понимал и другое — посадить меня теперь могут только с санкции Сталина. Да, «неискренний, неразоружившийся», но «лучший роман минувшего года». Роман понравился товарищу Сталину, и посадить его автора не так-то просто, товарищ Сталин может сказать: «А зачем такая поспешность?» Так что время у меня пока есть.

Справку мама опять зашила в подушку, у меня остались копии. Деньги свои я снял со сберкнижки, дал Асе на год вперед, остальные отдал сестре на сохранение, «на всякий случай», не хотел волновать маму, о моих перипетиях она ничего не знала. Принял такие предупредительные меры, но сам, как это ни странно, был спокоен, не знаю почему, был уверен, что со мной ничего не случится, жил прежней жизнью, начал писать «Одинокую женщину», вечером иногда театр, чаще

кафе «Националь», конечно, с Васей Сухаревичем, он единственный остался возле меня.

Однажды после «Националя» компанией поехали ко мне играть в преферанс. Я — игрок слабый, карточную игру считаю пустой тратой времени, но Вася был отчаянный преферансист, мог играть сутками, хотя играл неважно.

Играли мы у меня на Смоленской, шел уже первый час ночи — и вдруг телефонный звонок. Беру трубку, знакомый голос Вадима Кожевникова:

— Толя, поздравляю! Ты получил Сталинскую премию. Читай завтра в газетах.

Кладу трубку, объявляю:

— Я получил Сталинскую премию.

— Так я и знал, — провозгласил Вася, — теперь все! Привет с Анапы!

О том, что произошло на последнем заседании Совета Министров, тоже существуют разные версии, но я опираюсь на рассказы трех бывших там людей: Фадеева, Суркова и Тихонова.

Фадеев вернулся из ГДР, на секретариате Сурков зачитал мою справку, и было решено: «если представится возможность», предъявить ее на заседании Совета Министров и тем отстоять честь Союза. Самым моим ревностным защитником оказался Панферов, ездил к Маленкову и с мужицкой прямотой объявил тому:

— Правильно Рыбаков поступил, что не написал о судимости! Если бы написал, то никто бы его не печатал и мы не имели бы этого писателя!

На заседании Совмина перед Сталиным положили книгу со списками лауреатов. Сталин ее перелистал и подписал.

Все кончено. Ни Фадеев, ни Сурков не посмели доложить ему о моей справке.

И вдруг Сталин спрашивает:

— А как ваш Рыбаков?

По этому вопросу Фадеев, опытный царедворец, понял: что-то изменилось, появился какой-то шанс. Он встал:

— Товарищ Сталин! Мы тщательно проверили все материалы и документы. Рыбаков никогда в партии не состоял. Мальчишку, студента, его действительно выслали из Москвы на три

года, но на фронте, за отличия в боях, судимость сняли. Постановление Военного трибунала у нас есть. Он имел право не писать о своей судимости.

— Да, — сказал Сталин, — информация была неточной.

Вышел из-за стола и направился к выходу.

И тут Фадеев пересек пространство, отделявшее зал от стола президиума, поступил смело — это пространство разрешалось пересекать только тому, кого Сталин сам просил подойти, Фадеева он не подзывал. Фадеев догнал Сталина у двери:

— Товарищ Сталин! Как же поступить с Рыбаковым?

— Восстановите его в списке, — равнодушно ответил Сталин.

Что подвигнуло Фадеева на такой смелый шаг? Возможно, припомнился наш прошлогодний разговор. Может быть, отстаивал честь Союза. Не знаю...

После публикации романа «Дети Арбата» кое-кто упрекал меня: «Сталин дал вам премию, а вы так о нем пишете».

Мое отношение к Сталину сложилось еще в юные годы и никогда не менялось: могильщик Революции, тиран. Все происшедшее с моей премией точно вписывается в его образ: «От товарища Сталина ничего нельзя скрывать, от товарища Сталина ничего невозможно скрыть, верховная власть всезнающа, всеведуща, всемогуща». Эту мысль он постоянно внушал своему окружению, а окружение, в свою очередь, пускало этот миф в народ. В моем случае Сталин дважды показал свое всеведение: первый раз огорошил всех тем, что никто не знает о моей судимости, а он знает, во второй раз — не упустил возможность продемонстрировать: даже неправильная информация не может его обмануть. Я лично был ему безразличен: для него, истребившего десятки миллионов советских людей, что значил один человек?

20

Работа над романом «Одинокая женщина» продолжалась. Но повествование только о личной жизни было «непроходимо» в те времена: судьбу человека надо писать на фоне общественных отношений. «Чем занимается ваш герой?» — первый вопрос редактора. «Покажите его в коллективе» — первое требование.

В Транспортном институте я учился на автодорожном факультете, но транспорт есть транспорт: автомобильный или воздушный, железнодорожный или водный, те же грузы, пассажиры, километры, маршруты. Для романа я выбрал водный: легче освободиться от гнета производственных проблем.

То, что называется «деревенской темой», имеет в русской литературе вековую традицию. Деревня — наше детство, детство наших отцов и матерей, всегда волнующие запахи травы, леса, реки, труд на земле объединяет крестьянскую семью. Совсем другое — «рабочая тема». В городе труд отделен от быта, семья — часто разные профессии, разные интересы. Техническая проблема сама по себе не может быть предметом художественного исследования. Именно потому от многочисленных «производственных» романов того времени мало что осталось.

Жизнь речников схожа с крестьянской, там кормилица — земля, тут — река, волгарь — извечная потомственная профессия, переходящая из рода в род, судно — твой дом, где ты, а часто и твоя семья проводят большую часть жизни.

И привлекала сама Волга, широкая дорога, долгий путь...

Я провел на Волге две навигации — пятьдесят первого и пятьдесят второго годов. Плавал на пассажирских судах, на самоходных баржах, побывал во всех портах, в Горьком жил целое лето.

Конечно, воспетой в народных песнях Волги уже нет. Обмелела, перегородили плотинами, запачкали нефтью, поразогнали рыбу.

И все же просторный, могучий волжский пейзаж... Чуть зеленоватая вода сверкает на утреннем солнце, местами темнеет пятнами разводьев. Редкий туман спускается с дальних гор. Луга, пески, кустарники — слева, лес и горы — справа... Деревни, пристанешки, лодки, сети, ветер белыми барашками пробегает по воде. Бесконечной лентой тянутся вниз плоты с деревянными избушками и неожиданными на воде кострами. У речных вокзалов дымят нарядные пассажирские пароходы, снуют катера, проносятся спортивные лодки — длинные, узкие, мелькают в воздухе весла... Ночью на волнах покачиваются белые и красные огоньки бакенов... Я вернулся в ту Россию, по которой столько лет скитался до войны. Милые сердцу небольшие пыльные города с тихими, выложенными булыжником улицами, с низкими кирпичными гостиными рядами, где пахнет овчиной, дегтем, олифой и прочей москателью, с неизменным сквером на площади, где стоит бронзовый памятник Ленину. Валы старинных укреплений, башни кремлевских стен, колокольни церквей, минареты мечетей, деревянные срубы Верхней Волги, белые мазанки Нижней... Русские, татары, башкиры, черемисы, удмурты, кавказцы, мордва... Россия... Многострадальная, терпеливая, жалостливая, когда же обретешь ты мир, спокойствие и свободу? Долго, видно, ждать... Дождусь ли?

Рукопись «Одинокой женщины» я отнес в «Знамя». Главному редактору Вадиму Кожевникову роман не понравился.

— Что у тебя за грузчики, Толя? Разве это пролетариат, рабочий класс? Какие-то темные, забитые люди! А ведь описываешь город Горький, город с революционными традициями! Разве у Максима Горького такие грузчики, такие рабочие?

— А какие они у него?

— Они были эти... Как они?.. Гринберг, какие рабочие были у Максима Горького?

Гринберг, один из послушных критиков того времени, сотрудник журнала, маленький, толстенький, озадаченно моргает глазами:

— В каком смысле, Вадим Михайлович?

— Эти... Как их?.. Ну, роман у Горького?.. О рабочем классе...

— Вы имеете в виду «Мать», Вадим Михайлович?

— Точно — «Мать»! Правильно, «Мать»... Ниловна... И сын ее Власов, кто они были? Ну... эти... социал... социал...

— Социал-демократы, — подсказывает Гринберг.

— Именно! Социал-демократы! Вот кем были рабочие на Волге! А у тебя, Толя, кто они? Голь перекатная! Роман придется переписывать...

Отнес я роман в «Новый мир». И через некоторое время получил от его главного редактора Константина Симонова такое письмо:

«Многоуважаемый Анатолий Наумович!

Вчера дочел ваш роман. Мне он кажется хорошим, а многое в нем и очень хорошим. В то же время надо подумать над Ледневым — он как-то не дается в руки... Следует его раскрыть от него самого, изнутри — каков он для самого себя, каким он кажется сам себе, причем раскрыть щедро на целую большую главу... Я еду сегодня вечером на дачу, буду там весь день завтра, если заедете в течение дня — буду рад. Роман ваш будет со мной для разговора.

Жму руку, от души поздравляю с книгой, хорошей и душевной.

Ваш *К. Симонов.* 9 ноября 1954».

На следующий день я приехал к нему на дачу. Обедали вместе с его женой, актрисой Валентиной Серовой, она порядочно выпила, Симонов не скрывал своего недовольства, атмосфера за столом была тягостной. После обеда мы перешли с ним в кабинет, уселись в мягкие кресла, Симонов взял в руки мою рукопись, перелистал, положил обратно на стол.

— Так вот, о Ледневе... Я уже писал вам... Повторяю, его следует раскрыть на целую главу, а может, и больше, проследить на протяжении всего романа. В этом вам не следует себя ограничивать. Леднев очень важный персонаж.

— Мне не хотелось бы Ледневым заслонять образ главной героини.

— Она у вас выписана достаточно: с нее начинается, ею заканчивается роман, даже и родословная описана подробно. Линия героини не пострадает. Но Леднев — руководитель пароходства. Это наш директорский корпус, героические люди, на них держится народное хозяйство. Таким Леднева и надо показать.

Он говорил в своей небрежно-снисходительной манере, брал бумаги со стола, бегло просматривал, откладывал в сторону: человек занятой, помимо собственной творческой работы на нем журнал, Союз писателей, разные общественные обязанности — крупный государственный деятель, я для него очередной автор, к тому же не слишком умный — в свое время по собственной глупости остался на обочине.

— Мне кажется, в нашей литературе хозяйственников достаточно.

— Да, есть. — Он отложил бумаги, посмотрел на меня. — Но сейчас, в настоящее время роль руководящего звена резко возрастает, укрепление авторитета руководителей приобретает особое значение.

Я понимал, о чем он говорит. Сталина нет, и надо укреплять аппарат — единственную силу, способную сохранить государство.

Сталин умер 5 марта 1953 года, а 19 марта в руководимой Симоновым «Литературной газете» появилась его статья: «Священный долг писателя». В ней Симонов писал: «Самая важная, самая высокая задача, со всей настоятельностью поставленная перед советской литературой, заключается в том, чтобы во всем величии и во всей полноте запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего гения всех времен и народов — бессмертного Сталина».

Возмущенный Хрущев позвонил Суркову и потребовал отстранения Симонова от руководства газетой. На собрании в Союзе писателей по указанию «верхов» было сказано, что статья эта неверная, роль Сталина — огромна, но не следует превращать его в демиурга. Вскоре Симонова перевели в журнал «Новый мир». Я уверен: все это он воспринял не как критику лично Сталина, а как выдвижение на первый план роли аппарата — единственного теперь гаранта силы и могущества страны.

В июле 1953 года исполнялось 60 лет со дня рождения Маяковского. Представителей Союза писателей вызвали по этому поводу в ЦК партии к Маленкову, и кто-то из этих представителей сказал:

— Партия назвала Маяковского лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.

На что Маленков якобы ответил:

— Это слова товарища Сталина, это его личная оценка поэта Маяковского.

Дал понять: пока был жив Сталин, надо было укреплять его личный авторитет. Но Сталина нет, и, воздавая ему должное, нужно укреплять авторитет партии, то есть нынешних кадров.

Так воспринимал ситуацию и Симонов.

Фадеев был предан лично Сталину. Как-то, гуляя по дорожкам Переделкина, я встретил Ермилова, в прошлом тоже редактора «Литературной газеты» и бывшего друга Фадеева. О нем мы и разговорились.

— Александр Александрович, — сказал Ермилов, — очень любил Сталина. Однажды шли мы с ним по улице Горького, видим — большой портрет Сталина. Фадеев остановился, смотрел, смотрел и говорит мне с восхищением: «А, каков! Горный орел! Мало таких было в истории человечества!»

Ермилов рассказал мне это после самоубийства Фадеева. Содержание его предсмертного письма тогда еще не было известно, ходили разговоры о причастности Фадеева как секретаря Союза к арестам многих писателей. После XX съезда, после массовой реабилитации, к нему приходили люди, вернувшиеся из лагерей и в свое время арестованные с его санкции. Как бы оправдывая Фадеева, Ермилов и рассказал мне об его уверенности в гениальности Сталина и безусловной правильности сталинской политики. Я думаю, Ермилов говорил правду. Фадеев пришел в литературу, уже будучи членом партии и, занимаясь литературой, служил партии, был прежде всего партийный человек.

Симонов в партию, в политику пришел из литературы. Знаменитым его сделали война, время, советское время, ему Симонов служил не менее ревностно, чем Софронов и Грибачев, но, в отличие от них, был интеллигент, просвещен-

ный царедворец, а не партийный монстр. Многолетняя журналистская работа сделала его контактным, общительным. Он был поэт не только гражданский, но и лирический. И такие люди нужны возле престола — Сталин это понимал. Теперь Сталина нет. Но Симонов все равно не мог быть на обочине, он должен был быть только на Олимпе, он служил этой системе при Сталине, будет служить, когда Сталина нет и равного ему нет. Систему возглавят аппаратчики, и задевать их не следует. В моем романе критика Леднева — в сущности, критика аппарата, аппаратчиков, и допускать этого нельзя. Этим и объяснялись претензии Симонова к образу Леднева.

Умер Сталин, расстреляны Берия и его команда, выпустили врачей — «убийц в белых халатах», уже возвращается кое-кто из лагерей и ссылок. Неужели Симонов не понимает значения всего этого? Неужели думает, что система сохранится в том виде, в каком была при Сталине?

Но дискутировать с ним я не стал. Все решится в работе с редактором.

— Ну, и насчет названия, — заключил Симонов, — «Одинокая женщина»... Двусмысленно... Звучит с намеком... Что-то зазывное, рекламное. А роман серьезный, в рекламе не нуждается.

— Я думаю, дать название роману — право автора.

— Никто не покушается на ваши права. Но название публикации — это лицо журнала, по нему читатель судит не только об авторе, но и о редакции. Придумайте другое название.

Роман был опубликован в 1955 году в «Новом мире» под названием «Екатерина Воронина». Его опубликовала и популярная тогда «Роман-газета», так что тираж был большой, кроме того, по роману поставили фильм, в нем снимались Мордюкова, Ульянов, Хитяева и другие известные актеры. Но критика «Екатерину Воронину» разругала, и справедливо. Наступали новые времена, а роман, несмотря на все мои попытки, остался романом предшествующей эпохи, так называемым производственным романом. В моем последнем собрании сочинений роман сокращен ровно вдвое. В таком виде, как мне кажется, он читается.

Но тогда... Подожди я несколько месяцев, получилось бы, наверное, по-другому — в феврале пятьдесят шестого года Хрущев сделал свой знаменитый доклад на XX съезде партии. Вслед за ним можно было бы пробить то, что хотелось видеть в романе. Но кто ожидал его доклада?

После XX съезда я написал роман «Лето в Сосняках», начал открытым текстом писать «Дети Арбата». Доклад Хрущева повернул мою жизнь, как и жизнь многих.

Но не всех.

Фадеев был сталинистом, крушение Сталина было и его крушением, он ушел из жизни. Симонов не был сталинистом, но вписался, вжился в сталинскую эпоху, не сумел преодолеть ее инерции, не мог изменить себя, оставил политику, переехал на время в Ташкент. Но и серость брежневских времен была не для него. Он умер сравнительно молодым (шестидесяти четырех лет).

Нельзя отвергать право народа на революцию. Свержение тирании, абсолютизма, диктатуры оправдывает революцию, ибо другой, демократической альтернативы нет. Такова история человечества. Там, где у народа нет возможности освободиться от деспотии демократическим путем, он достигает этого путем революционным. Если бы в тридцатых годах нашего столетия народы Германии, Италии, СССР избавились от Гитлера, Муссолини и Сталина, совершив революцию, мы бы их одобрили. Революция — зло, если посягает на демократию, благо, если свергает тиранию.

Октябрьская революция выполнила задачи, которые февральская выполнить не сумела: вывела Россию из войны, провела реформы, предотвратила реставрацию самодержавия и развал страны. Во время гражданской войны не русский флот стоял у берегов Англии, Франции, США, Японии, наоборот, войска этих стран высадились в российских портах. Походом на Москву и Петроград шли Деникин, Колчак, Врангель, Юденич. Как и всякая гражданская война, и эта сопровождалась эксцессами, но они были обоюдными. За это в ответе те, кто вынудил народ на революцию и междоусобицу.

Революция свершилась под лозунгами социальной справед-

ливости и братства народов. Людям это казалось исполнением вековых чаяний человечества, что и принесло победу коммунистам. К нескольким тысячам интеллигентов, входивших в партию во время Октябрьского переворота, к концу гражданской войны прибавился почти миллион человек — солдат, матросов, рабочих, крестьян. Однако вскоре Ленин, создатель Советского государства, стал первым его реформатором, введя в 1921 году нэп, предоставив экономическую свободу крестьянам и предпринимателям. Социализм в том виде, в каком задумывался, оказался невозможным.

Это разочаровало новых членов партии, они не находили своего места в нэповской системе, не были способны конкурировать с потомственными промышленниками и коммерсантами, умели «рубать врага, ставить буржуя к стенке» и не желали существовать рядом с нэпманом и кулаком. Именно поэтому после смерти Ленина они не пошли за Троцким, отрицавшим возможность построения социализма в одной стране, призывавшим к какой-то отвлеченной мировой революции, не пошли за Бухариным, который ратовал за врастание в социализм ненавистного кулака. Они пошли за Сталиным строить социализм без кулаков и нэпманов, бороться с теми, кто угрожает государству, где на разных ступенях державной лестницы каждый из них нашел свое место.

К этому поколению, к этой, в сущности, *новой* партии и принадлежал Никита Сергеевич Хрущев, слесарь из Донбасса, боец гражданской войны, большевик с 1918 года, свято веривший в грядущий коммунизм. Те, кто свергли Хрущева, кто пришли ему на смену — Брежнев, Андропов, Черненко, все их окружение, были людьми следующего поколения, вступили в партию в тридцатых годах, когда не было уже ни старой партии, ни новой, а была подчиненная диктатору тоталитарная структура.

В чем видится мне трагедия Хрущева — его подвиг, возвышение и падение?

Своим докладом «О культе личности» на XX съезде партии Хрущев бросил вызов не только господствующему в стране сталинскому аппарату. Всего три года назад советский народ оплакивал смерть Сталина, а до этого двадцать семь лет пел ему гимны, любил, почитал, славословил, преклонялся пе-

ред ним. Среди них были даже те, кто по семнадцать лет отсидел в лагерях. А приговоренные к смерти, случалось, перед расстрелом выкрикивали: «Да здравствует товарищ Сталин!» И кто вернулся с фронта, не забывал, что шел в бой «за Родину, за Сталина». И все же Хрущев отважился выступить против Сталина.

Говорят, что его доклад был вызван борьбой за власть. Так за власть не борются! Когда Хрущева снимали с должности, он, главнокомандующий, не выводил танки, не расстреливал неугодных. На пленуме сел в стороне от президиума, выслушал обвинения в свой адрес, не произнес ни слова. Оказался на высоте той миссии, которую возложила на него история, ушел, зная, что свою задачу выполнил. Он не сокрушил сталинизм, но нанес ему смертельный удар, после которого сталинская система была обречена. Первый советский лидер, который достойно сошел с политической арены и не пытался на нее вернуться. Властолюбцы так не уходят.

Дома Хрущев сказал:

— И все-таки моя заслуга перед историей в том, что меня уже можно было снять простым голосованием.

Хрущев был последним в стране рабочим-революционером и оставался верным революции до конца своих дней. Дочь Хрущева, Рада Никитична, сказала мне про своих родителей: «Они были из военного коммунизма, из того поколения». Они зарегистрировали брак только в 1956 году, а свою «коммунистическую свадьбу» справили в 1924 году — и прожили вместе жизнь. Нина Петровна ходила тогда в кожаной куртке, кожаной фуражке, коротко стриженная, курила, Никита Сергеевич заставил ее бросить, сам никогда не курил. Отец Хрущева, плотник на шахте, умер от острого туберкулеза, мать надорвалась на постройке хаты, когда они еще крестьянствовали, и Никита Хрущев начинал свою жизнь подпаском. Он был кость от кости, плоть от плоти своего народа, носил простые косоворотки, любил борщ и гречневую кашу, «яешню» с украинским салом, лакомился дерунами — картофельными оладьями, арбуз ел с черным хлебом. Песни пел народные, революционные... «Стоит гора высокая...», «Слушай, рабочий, война началася» — на мо-

тив «Белой акации гроздья душистые»... О Пушкине говорил: «Конечно, он гений, но все же барский поэт. Какое там «очей очарованье», когда нечего одеть, обуть, крыша течет и дров не на чем привезти. Вот как мужик жил... «Зима, крестьянин, торжествуя...» Какое там «торжествуя»! Вот послушай: «Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели, только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она»... Этот знал крестьянскую жизнь!» Любил Некрасова, Кольцова, Никитина, помнил их стихи с молодости и детям читал наизусть. Сын Хрущева, Леонид, учился в авиационной школе, военный летчик, погиб во время Отечественной войны. Вскоре арестовали его жену — Любу, ее мать была немкой. Допрашивал Любу Абакумов, говорил: «Вот я выбью сейчас твои белые зубки...» Юлю, дочь Леонида и Любы, Хрущев удочерил, а Любе в ссылку посылал теплую одежду и обувь.

Нина Петровна не разрешила Юле поступить в Институт международных отношений: «Там и так министерских деток хватает». Никита Сергеевич мягко добавил: «Правильно, дочка, зачем тебе туда идти? Врач, агроном, учительница — как хорошо!»

Как и вся новая партия, Хрущев беззаветно верил в Сталина, видел в нем продолжателя дела Ленина. Хрущеву импонировала простота Сталина, понятность его речей, лозунгов, его книг. Как всякого недостаточно образованного человека, Хрущева раздражало то, чего он не понимал, и потому непонятное он отвергал. У Сталина он понимал каждое слово. Его поколение жило одним — верой в скорое пришествие коммунизма. Сталин и ведет страну к коммунизму. Хрущев ценил доверие, оказываемое ему Сталиным, ценил свое выдвижение на самые верхи иерархии, был ослеплен Сталиным, человек искренний, принимал все за чистую монету, гордился отношением Сталина к себе. Сталин был для него фигурой гигантской, мирового класса, личностью планетарной, а вот доверяет, опирается на него.

Для Сталина же Хрущев был одним из людей его расклада — простой мужик, верит искренне и безгранично, такого надо иметь возле себя. Есть еще «мужичок» — Калинин Михаил Иванович, так ведь старик, бесцветная личность.

А Никита — живой человек, энергичный простачок с напором, ни на что не претендует, не сподвижник, а выдвиженец, из «низов», придает верховной власти оттенок народности.

Предвоенные репрессии, в которых погибли многие друзья и товарищи, не прошли мимо сознания Никиты Хрущева. По натуре он был добр и человечен, но, поверив в Сталина, подобно многим другим, запрещал себе даже тень сомнения: Сталин все делает на пользу партии и советской власти, на пользу великому делу коммунизма.

Первое сомнение в Сталине пришло к Хрущеву во время войны. Несмотря на возражения Жукова, Сталин приказал «ни в коем случае Киева не оставлять, мостов не взрывать». Киев пал. В плену у немцев оказалось 665 тысяч советских солдат и офицеров. Опять же вопреки возражению Жукова Сталин приказал начать наступление на Харьков. Хрущев звонил Сталину, просил приостановить это обреченное на неудачу наступление, Сталин даже трубку не взял, через Маленкова приказал «оставить все по-прежнему». Наступление на Харьков закончилось катастрофой. В дальнейшем Хрущев, член Военных советов многих фронтов, мог убедиться, каков «полководческий гений» Сталина.

После войны колхозы находились в отчаянном положении, зимою некормленый скот подвешивали на веревках, чтобы он не упал и не примерз к ледяному полу. Сталин в такое время приказал повысить налог с колхозов на 40 миллиардов рублей, не считаясь с тем, что за всю сданную в том году продукцию колхозы получили всего 26 миллиардов рублей.

Разочарование в Сталине было личной трагедией Хрущева. Однако оно не поколебало его веры в коммунистическую идею. Он был уверен, что возможности социализма безграничны, болел и страдал за народ, за невыполненные обещания, данные партией в 1917 году. Страх удерживал его от борьбы с тираном. Тем больше накапливалось в душе боли, раскаяния, чувства собственной вины, стремления к покаянию делом. В нем жил здравый смысл русского крестьянина — развенчание Сталина он начал сразу после его смерти, пока руль не ухватили «ученики и соратники великого вож-

дя». Я уже говорил, как возмутила его статья Симонова. В том же 1953 году он ликвидировал Берию, а в 1954-м — началась реабилитация. После XX съезда Хрущев освободил миллионы заключенных, вернул доброе имя невинно погибшим. Этого Россия никогда не забудет.

Его доклад читался во всех коллективах. Помню всеобщее потрясение. Понимал, какое это великое событие. Впервые за многие десятилетия мы услышали человеческие слова, вдохнули первый глоток свободы и стали другими людьми. Хрущев сбросил с наших плеч невыносимую ношу тирании — нам предстояло выпрямиться.

Разрушая культ Сталина, Хрущев боялся разрушить коммунистическую идею, опасался развала страны. Отсюда его искания, метания, непоследовательность. Да, главный враг — аппарат, но аппарат — скелет советской государственности, сломать его нельзя. Хрущев сам в нем вырос и нес в себе его черты, он пытался уменьшить роль аппарата, но действовал старым волевым способом, мыслил старыми категориями, не смел даже думать о возвращении к нэпу. И потому его попытки спасти Революцию от сталинской продажной бюрократии были обречены на неудачу. Истинные реформы общества несовместимы с полумерами. Полумеры ведут либо к реставрации (Хрущев — Брежнев), либо к изменению общественного строя (Горбачев — Ельцин).

Ему ставят в вину проработку Пастернака, Дудинцева. Да, он опасался, что разрушение государства может начать интеллигенция. Человек глубоко убежденный, но наивный и простодушный, он думал, что сумеет убедить в своей правоте и других. Очень импульсивный, был несдержан: в Нью-Йорке, в Организации Объединенных Наций, на потеху всему миру стучал ботинком по трибуне. Часто его монологи перед писателями, художниками переходили в крик. Но палачи не кричат, палачи молча отрубают головы. Сталин бы уничтожил этих людей, Брежнев изгнал бы их из страны или отправил в концлагерь. Хрущев никого не посадил. Да, на знаменитой выставке в Манеже он топал ногами, безобразно кричал на художников, в том числе и на скульптора Эрнста Неизвестного, но именно по проекту Неизвестного сооружен памятник Хрущеву на Новодевичьем кладбище. На приеме в

своей резиденции Хрущев оскорбил поэтессу Маргариту Алигер, но потом на съезде писателей я своими ушами слышал, как он извинился перед ней. И не будем забывать, что именно при Хрущеве были опубликованы Солженицын, Домбровский, тот же Дудинцев, были открыты Театр на Таганке и «Современник». По его личному распоряжению «Правда» напечатала стихотворение Евтушенко «Наследники Сталина»... Теперь ученые сидят у разбитого корыта нашей науки, не получают месяцами зарплату, вынуждены уезжать на заработки в другие страны. При Хрущеве Гагарин совершил первый полет в космос.

Непоколебимая вера Хрущева, его наивная убежденность приносили горькие плоды. Он передал Крым Украине, не думая о том, что Севастополь — опора российской мощи на Черном море, был убежден, что никогда Украина не отделится от России. Разве кто-нибудь захочет отделиться от «социализьма»?! В самом страшном сне не могло ему привидеться, что в 1991 году Советский Союз будет разрушен, что коммунисты станут президентами буржуазных государств, будут насаждать капитализм, поносить Революцию и советскую власть. Он не понимал, что перерождение совершилось уже при Сталине, партии, в которую он вступил в 1918 году, давно нет, а есть чиновники, готовые служить кому угодно. Человек авторитарный, он был окружен подхалимами, совершал крупные ошибки. История разберется с его ролью в событиях того времени — Венгрия, Новочеркасск и многое другое.

Но он не искал дешевой популярности, не давал пустых обещаний, не обманывал народ, искренне желая ему благосостояния. Хрущев отменил принудительный заем, при котором люди ежегодно и навсегда отдавали государству месячную зарплату. Но он отменил и выигрыши по облигациям — забаву и развлечение россиян, отобрал игрушку. И народ ему этого не простил. А что бы стоило оставить — ведь копейки! Миллионы людей Хрущев из коммуналок переселил в отдельные квартиры. Опять плохо! Что за дома?! Панельные пятиэтажки без лифта. Конечно, коммуналка, где шли бесконечные скандалы и драки, где на кастрюлю с супом навешивали замок, — не радость, зато в каких домах жили!

В каком районе! Столько лет терпели и чего дождались? Хрущоб! А увеличение пенсий, а паспорта, впервые при нем полученные колхозниками... Все забыли... Депортированные Сталиным народы — помнят ли они, что именно Хрущев вернул им родину? Помнят? Не знаю...

Хрущев делал то, что считал необходимым, не заботясь о своей репутации. Знал, что его прозвали «кукурузником», но считал эту культуру полезной и насаждал ее где нужно и не нужно. Он говорил, что думал, но уже мало с кем считался, аппарат начал опасаться его крайностей, своей нестабильности, боялся за свою судьбу и решил избавиться от Хрущева, понимая, что народ этому не воспрепятствует. Народ не воспрепятствовал и получил Брежнева.

Судьба Хрущева трагична, как и судьба большинства революционеров. Но он останется в истории России как честный, совестливый человек, пытавшийся разрушить зло, как образец гражданского мужества. Это был истинно русский характер, широкий и размашистый. Хрущев положил начало преобразованию России, оно пошло не по тому пути, которого он хотел. В этом его вины нет. Моему поколению, да и последующим, Хрущев дал надежду на то, что в конце концов мы будем свободно дышать, свободно мыслить, свободно творить.

21

19 января 1960 года меня реабилитировали. «Постановление Особого Совещания при коллегии ОГПУ от 9 января 1934 г. отменено... за отсутствием состава преступления. Заместитель Председателя Верховного суда РСФСР *В. Крюков*».

В ряду других реабилитаций моя не была большим событием. Мало кто знал, что я сидел в тюрьме, был в ссылке и минусе. Читателям стало об этом известно только через 43 года, когда вышли в свет «Дети Арбата». И после реабилитации я об этом не распространялся: вернулись проведшие в лагерях по десять и больше лет, больные, покалеченные, измученные... Что по сравнению с их страданиями значили мои три года ссылки?

В январе 1958 года на вопрос новогодней анкеты в «Литературной газете» я ответил: «В наступившем году продолжаю работу над романом “Год тридцать третий”», — так первоначально назывались «Дети Арбата».

Я задумал «Детей Арбата» как роман о юности своего поколения. Все мои книги этого цикла в определенном смысле автобиографичны. Но писать тридцатые годы без Сталина невозможно, это сталинская эпоха нашей истории.

Всю свою сознательную жизнь я много думал о Сталине. Думал много, но дневника не вел. Долгие годы даже в карманном блокноте я записывал только названия учреждений, но никогда — фамилии и телефоны своих знакомых: если бы меня посадили, то были бы обречены и мои адресаты. О каком же дневнике могла идти речь? Изъятый при обыске дневник служил вещественным доказательством, записанная в нем крамольная мысль или мысль, истолкованная как крамольная, могли повлечь за собой арест.

Все в стране, и прежде всего писатели, художники, актеры, ученые, институтские и школьные преподаватели, обязаны были возвеличивать Сталина. Это перешло в духовное затмение, идолопоклонство. Стихи в честь Сталина сложили даже Ахматова, Мандельштам, Пастернак. Мандельштам делал это, спасая себя; Ахматова — спасая сына. По свидетельству Корнея Чуковского, Пастернак восторгался Сталиным. «Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью» (оттого, что видели Сталина). А по свидетельству Эренбурга, Пастернак был убежден, что Сталин ничего не знает о беззакониях в стране. «Вот если бы кто-нибудь рассказал об этом Сталину...» Тот же Эренбург приводит слова Мейерхольда: «От Сталина скрывают...» Тоже верил в Сталина, а его вскоре арестовали, пытали.

Из тюрьмы Мейерхольд писал Молотову:

«Меня здесь били, больного шестидесятилетнего старика, клали на пол лицом вниз, резиновыми жгутами били по пяткам, по спине, по ногам... И когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-сине-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что казалось, что на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток... Этой резиной меня били по лицу, размахами с высоты... Я кричал и плакал от боли... Лежа на полу лицом вниз, я обнаруживал способность извиваться, корчиться и визжать, как собака, которую плетью бьет хозяин...»

Молотов передал это письмо Сталину. Вот и «узнал товарищ Сталин». Ну и что? А ничего. Расстреляли Мейерхольда, и дело с концом!

«Врагов народа» публично требовали расстрелять Бабель, Тынянов, Маршак, Платонов, Олеша, Зощенко, Гроссман и десятки других писателей. Я называю фамилии тех, кто в представлении интеллигенции были антисталинистами. Наверняка в душе они и были антисталинистами, но писать были обязаны другое. Это совершалось механически, даже не задерживаясь в памяти. Нарушить этот обряд было равносильно богохульству во времена инквизиции, святотатству, за которое возводили на костер.

В 1956 году в Союзе писателей на обсуждении романа

Дудинцева «Не хлебом единым» Константин Паустовский сказал, что он, Паустовский, в своих повестях, рассказах, статьях, выступлениях не только не восхвалял Сталина, но даже *ни разу* не упомянул его имени.

Я любил Паустовского. Мастер слова, честный человек, выступление его на обсуждении романа Дудинцева было блестящим. Но вот что писал он при жизни Сталина: «Мечта о новом высоком строе человеческой жизни и ее расцвете неразрывно связана с именем Сталина. Его прозрением, его волей, его умелой и дружеской рукой осуществляется наше прекрасное будущее в нашем прекрасном настоящем» («Знамя», № 10, 1952).

Это входило в ритуал, такой была форма существования в те времена, Паустовский мог даже забыть об этом, думая о Сталине совсем обратное.

Повторяю: в тех условиях дневник вести я не мог. И все же некоторые записи сохранились. Они были начаты в ссылке, под видом набросков о деятелях Великой французской революции и зашифрованы инициалами Сен-Жюста. Если я имел в виду его самого, то писал инициалы через дефис: С-Ж, если Сталина, то через точку: С.Ж. Так я делал и позже, вернувшись с войны, а после доклада Хрущева писал уже открытым текстом. Именно из-за этих записей вся Арбатская трилогия написана линиями: линия Сталина, Саши, Вари. Потом эти линии я монтировал, соединял. Работы это прибавляло, но, как мне кажется, помогало созданию образа, развитию его в сюжете. Многое осталось неиспользованным: несколько тетрадей. Будет время и возможность, обработаю и опубликую.

Записи отражали мое отношение к Сталину, его роли в истории страны, давали толчок к новым размышлениям. Но для романа этого оказалось недостаточно. Нужно было ввести Сталина в действие, в сюжет, показать его в поступках, в отношениях с людьми, требовалась фактура его жизни.

Я прочитал все сталинские публикации, но издание его собрания сочинений прекратилось на 14-м томе, как раз на нужном мне тридцать четвертом годе. К счастью, в ИМЭЛе* сохранилась верстка этого тома, мне удалось добраться до

* Институт Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК КПСС.

нее, пришлось сидеть там и переписывать. Много работал в Ленинской библиотеке, ездил в Грузию, в Гори, где Сталин родился, в Тбилиси, где он учился, побывал в Баиловской тюрьме в Баку, где он сидел в заключении.

Критические работы о Сталине выходили только за границей, мне они были недоступны, а будь даже доступны, вероятно, я не стал бы их читать, чтобы не проникнуться чужими представлениями, — я хотел создать собственную концепцию. Обвинения Нины Андреевой в том, что я повторяю каких-то авторов, беспочвенны, их имена я узнал из ее собственной статьи.

Я встречался со многими людьми, знавшими Сталина лично. Отсидели свои сроки в лагерях, отбыли ссылки, только что вернулись. Их рассказы неоценимы, каждый воссоздавал какую-то грань сталинского характера.

На заседании Политбюро при обсуждении работы Наркомата путей сообщения к члену коллегии Наркомата Рошалю подошел Сталин, участливо, даже ласково спросил: «Товарищ Рошаль, не обидитесь, если переведем вас на другую работу?» — а ночью Рошаля и других членов коллегии арестовали, мучили в тюрьме и отправили в лагеря. Встречался со Сталиным Каттель, бывший главный инженер Магнитостроя, а потом начальник строительства Комсомольска-на-Амуре, тоже прошедший лагерь и ссылку, по его рассказам я выстраивал в романе линию Марка Рязанова. Со слов зубного врача Сталина Максима Савельевича Липеца написаны сочинские сцены, Липец выведен под фамилией Липман. Разговорить его было трудно, он не разрешил ни магнитофона, ни записей, потом, вернувшись от него домой, мы с Таней восстановили на бумаге все им рассказанное. Уже после выхода романа в свет Липец дал интервью многим газетам, стал известен, даже попал в книгу «Кто есть кто». В разговоре с ним промелькнуло имя сына Сталина Якова Джугашвили, я почувствовал: Липец что-то знает. Но на мои настойчивые вопросы он не ответил: «Сейчас еще рано об этом говорить». Я всегда был убежден, что в гибели Якова Джугашвили Гитлер не нуждался, он не убивал именитых пленников, эта смерть нужна была только одному человеку — Сталину, опасался, что Яков станет орудием в руках

врага. Видимо, причастные к этой смерти люди были еще живы и Липец их побаивался. Будем надеяться, что когда-нибудь эта история откроется.

Много ценных сведений дала мне Шатуновская, старая большевичка, тоже отбывшая сроки и реабилитированная. Хрущев назначил ее руководителем комиссии по выяснению обстоятельств убийства Кирова. Комиссия пришла к заключению, что Кирова убили по прямому указанию Сталина. Шатуновская познакомила меня с материалами, на которые опиралась комиссия — вина Сталина была доказана. Однако Хрущев остерегался публиковать выводы комиссии, а при Брежневе создали новую комиссию, которая выводы Шатуновской опровергла. Вскорости материалы работы этой комиссии исчезли.

Повторяю, почти все, с кем я встречался, — репрессированные и реабилитированные. Их посадили в конце тридцатых годов. До этого они шли за Сталиным, были верны ему, боролись с его врагами, с троцкистами, никакой вины за собой не знали. Тем сложнее и мучительнее были размышления этих людей. Они хотели разобраться, — что же произошло? Некоторые из них поняли, что дело в сталинской системе, в сталинизме, но многие причину своих несчастий искали в характере Сталина, вспоминали встречи с ним, детали его поведения, выражение лица, манеру разговаривать, каждое произнесенное им слово и что, как им впоследствии казалось, за этим словом стояло, вспоминали походку, жесты, взгляд... Это мне и требовалось для создания портрета.

В результате у меня сложился образ Сталина. Мне казалось, я понимаю его логику, мотивацию поступков, ход мыслей, природу его извращенной морали, безнравственности, безжалостного отношения к людям, понимаю секрет его власти, причины его обожествления.

В одной из своих статей Каверин написал: «Вечер мы провели со Сталиным... Сталиным был Рыбаков». Я помню тот вечер на даче у Каверина. Мы обсуждали какое-то текущее политическое событие. Я пришел туда, оторвавшись от письменного стола, писал «Детей Арбата», был во власти романа, думал, как думали мои герои, и стал рассуждать на

тему, которая была предметом разговора так, как рассуждал бы Сталин. Все уставились на меня: хорошо помнили речи Сталина. И когда в романе я писал монологи Сталина, то рассуждал, как он.

Второго апреля 1965 года я принес в редакцию журнала «Новый мир» заявку на публикацию романа «Дети Арбата». Коротко изложил его содержание, перечислил основных действующих лиц. Тут же, 7 апреля, со мной подписали договор и выдали аванс. Срок сдачи романа — май 1966 года.

Сдал я роман месяцем раньше. В последних номерах журнала его анонсировали на 1967 год в ряду произведений других авторов (Быков, Некрасов, Белов, Залыгин, Абрамов, Бёлль, Уоррен). Анонс адресовался подписчикам, носил рекламный характер. Не всё обещанное опубликовали, не все рукописи были готовы. Не опубликовали и «Детей Арбата», но по другим причинам.

Девятого мая в своем докладе на праздновании 20-летия Победы новый лидер партии Брежнев высоко оценил роль Сталина, зал встретил это овацией в честь почившего вождя. Доклад предварительно обсуждался в руководстве партии, и многие требовали усилить позитивную характеристику Сталина, даже не произносить слов «культ личности», указать, что, разгромив оппозицию, осуществив индустриализацию и коллективизацию, Сталин обеспечил победу над фашизмом. Осторожный Брежнев ограничился тем, что отметил исключительную роль Сталина в победе над Германией. Но и этого было достаточно, чтобы вызвать бурные аплодисменты, развязать в стране реабилитацию Сталина и сталинизма, похоронить хрущевскую «оттепель». На XXIII съезде партии Брежнев заявил: «Ремесленники от искусства избирают своей специальностью очернение нашего строя, клевету на наш советский народ». Начались обличения «Нового мира» и «Юности» в безыдейности. В феврале 1966 года провели знаменитый процесс над Синявским и Даниэлем за публикацию их произведений за границей. И, конечно, опять «одобрение трудящихся», тех, кто «хотя не читал, но осуждает», в общем, все в давних, хорошо знакомых традициях.

Я понимал, что в этих условиях «Детей Арбата» не напечатают. И все же сдал рукопись в «Новый мир». Полностью

вернуться назад время уже не могло. После мощного удара Хрущева поднять страну опять на сталинскую дыбу стало невозможно. Ее можно было опустить в трясину, что с успехом делал Брежнев восемнадцать лет. Но не все хотели тонуть в болоте. «Новый мир» во главе с Твардовским продолжал бороться.

Многим авторам знакомо здание в Путинковском переулке возле Пушкинской площади, где помещается «Новый мир». На втором этаже работали Твардовский и его заместители — Лакшин и Кондратович.

Журнал держался на авторитете Твардовского, на уважении, которое питали к нему, как к первому поэту России, даже самые ограниченные руководители страны. Все наиболее яркое и значительное из прозы послесталинского периода было напечатано в «Новом мире». И для нас главной комнатой была та, где сидели Анна Самойловна Берзер и Инна Борисова. Именно здесь был сборный пункт прогрессивных московских литераторов, да и не только московских.

Анна Самойловна, мы называли ее просто Ася, отрывала взгляд от очередной рукописи, ее карие глаза светились приветливостью, она откидывалась на спинку стула, чтобы поболтать с тобой о твоих делах, об обстановке вокруг журнала. Дружбой с ней дорожили. Ее редактуру прошли самые громкие публикации того особенного, драматического периода в истории журнала. Эта скромная женщина отличалась поразительной стойкостью в отстаивании настоящих произведений, удивительным упорством в пробивании непробиваемого. На это уходили все ее силы, и не оставалось сил сделать что-то для себя. Да и не было умения. Умерла Ася в 1995 году. Жила на окраине Москвы, одинокая, больная, полуслепая, существуя на нищенскую пенсию. Такова, к сожалению, участь многих талантов во все времена и эпохи.

Но в 1967 году ни Ася, ни Лакшин с Кондратовичем ничего не могли сделать для меня. Все прочитали роман, всем он нравился, но понимали: цензура не пропустит. И Твардовскому роман не показывали — он читал только то, что шло в номер, или то, за что можно было бороться. В данном случае шансов нет.

И все же я хотел, чтобы Твардовский прочитал роман.

До этого с Твардовским я встречался три раза, хотя видел его на съездах, пленумах, заседаниях. Среди стандартно-серенъких руководителей Союза писателей он выделялся своей внешностью — высокий, красивый, породистый, сознающий свою значительность, смотрел поверх голов, никого не замечая, отстраненно. Рассказывали, что его отец — крестьянин Смоленской губернии, мать — тоже крестьянка, но из «однодворцев», то есть предки ее дворянского происхождения. И действительно, в Твардовском, в его облике, манере держаться, было нечто такое, что не позволяло с ним фамильярничать.

В пятидесятых годах я жил на Кутузовском проспекте. Неподалеку, в одном из переулков Большой Дорогомиловской улицы, жил поэт-песенник Алексей Фатьянов. Как-то он позвонил, попросил меня подписать несколько моих книг для библиотеки на его родине, в Вязниках, Владимирской области.

Я зашел. У него сидел Твардовский, на столе стояла наполовину опорожненная бутылка водки, оба были уже во хмелю, пели старинные русские песни на разные голоса, останавливались, поправляли друг друга. «Вот здесь бери еще ниже, вот так... — Твардовский объяснял, как надо петь. — А теперь давай вместе...» На меня Твардовский не обратил внимания, скользнул по лицу невидящими глазами и затянул длинную сложную музыкальную фразу. Я выпил с ними рюмку, подписал книги и ушел. Моего ухода Твардовский не заметил.

Второй раз столкнулись мы с ним на поминках писателя Казакевича.

Казакевич долго, тяжело, мучительно умирал. У него был рак, после операции он лежал у себя дома в Лаврушинском, и мы, его друзья, дежурили по очереди ночами у его постели.

Как-то он заворочался, проснулся, я подошел, и он говорит:

— Знаете, Толя, мне приснился сон... Идет секретариат Союза писателей, обсуждают мой некролог и заспорили, какой эпитет поставить перед моим именем... Великий — не тянет... Знаменитый... Выдающийся... Видный... Крупный... Известный...

— И что решили? — засмеялся я.

— Не помню, проснулся.

— Бросьте об этом думать. Военный человек, разведчик, что вы в самом деле! Некролог будут обсуждать через пятьдесят лет.

Спустя два дня Казакевич умер.

Похоронили мы его, сидели на поминках. Каждый что-то вспоминал о нем, сложный был человек, но колоритный. Я рассказал про его сон.

И вдруг Твардовский, глядя на меня помутневшими глазами, заявляет:

— Неправда! Ничего он вам не говорил. Просто вы знаете про обсуждение некролога на секретариате.

Воцарилось молчание. Я сказал:

— Я, Александр Трифонович, никогда не лгу. К тому же порядочные люди не выдумывают сказок, хороня своих друзей. И наконец, я ни разу не был на ваших секретариатах, не знаю и знать не хочу, что вы там обсуждаете.

Вмешался кто-то из друзей, скандал погасили.

В третий раз встретились мы с ним в 1964 году в редакции «Нового мира». Я сидел у Аси Берзер, мы работали над рукописью «Лета в Сосняках». Первоначально роман назывался «Лиля». Однако Твардовский возразил: «Чересчур легкомысленно» — и потребовал сократить историю жизни Лили на «московских тротуарах», а это было главным в романе. Я огорчался, Ася меня успокаивала: ничего страшного, многое из того, что уберется, перенесем в конец, вещь от этого не пострадает, важно опубликовать.

И вдруг входит Твардовский, хмуро посмотрел на нас:

— Работаете?

— Корежим потихоньку, — ответил я.

— Корежите?.. Тема серьезная, а вы примешиваете к ней беллетристику.

— Что плохого в беллетристике?

— Беллетристика угождает дурному вкусу. Боборыкин был беллетрист.

— Беллетристика — от французского «belle lettre» — красивое письмо. Это у нас ему придали уничижительный смысл.

— Анатолий Наумович! Не будем спорить! Если вы считаете, что вас здесь «корежат», то, пожалуйста, можете отнести свой роман в другой журнал. У нас портфель достаточный.

— Я принял поправки. Видите, работаем...

— Вот и работайте...

Повернулся и вышел.

Такие столкновения с Твардовским были у меня в прошлом. И все же «Лето в Сосняках» он напечатал, даже поторопился напечатать пораньше. Роман планировался на 1965 год, но в октябре 1964-го Хрущева сняли, Твардовский понял, куда все повернется, и перенес публикацию на декабрь 1964-го. Антисталинский пафос романа ему нравился. В сущности, Твардовский был единственным смелым редактором в стране. Ходил к Хрущеву, пробил «Один день Ивана Денисовича», печатает то, чего не осмеливаются печатать другие. Больше идти не к кому. Твардовский — крупная фигура в государстве, не появится ли у него возможность сказать о «Детях Арбата» в высших инстанциях, вдруг как-то изменится конъюнктура в пользу моей книги?.. Но для этого прежде всего он должен ее прочесть.

В апреле 1968 года я ему написал:

«Уважаемый Александр Трифонович! Прочитайте, пожалуйста, мой роман. Он в журнале больше года. Почти все члены редколлегии и работники редакции читали, говорят — нравится, даже малую толику денег отвалили. Я высоко ценю Ваше суждение, знать мне его интересно и важно. Независимо от ближайших перспектив, пишу дальше. С уважением, *А. Рыбаков*».

Через несколько дней, как было принято в те годы, получаю из редакции журнала поздравительную открытку к Первомайскому празднику. На ней наискосок рукой Твардовского написано:

«Дорогой А.Н. Сегодня, 26.4, забрал Вашу рукопись на прочтение. *А. Твардовский*».

Позвонил он в начале мая:

— Здравствуйте, Анатолий Наумович, рад, что застал вас дома. Я по поводу вашего романа. Я-то знал, что он у нас в редакции, но товарищи сказали, что в набор не идет,

поэтому не читал. Потом получил вашу записку и взял. Но тут — праздники, и вот позавчера начал читать и прочел одним махом, не отрываясь. Серьезная, знаете ли, постройка... Я — крестьянский поэт и думал, что поэзия — в деревне, а вы показали поэзию города... Москва, Арбат, улицы, эти мальчики и девочки, арбатские и дорогомиловские, первая юношеская любовь, тюрьма, все это прекрасно, такого удовольствия, такой радости от чтения я давно не получал... Роман, конечно, подпадает под «табу», но не я это «табу» установил. А когда «табу» будет снято, наш журнал почтет за честь опубликовать его на своих страницах. Не унывайте! Пишите дальше, вы — человек мужественный, мы вас поддержим, деньги для вас найдем. Надо бы поговорить подробнее, но я улетаю в Италию. Через десять дней вернусь и буду просить вас о встрече, хочется высказать вам все, что вызвало во мне чтение вашего романа, хочется поделиться с вами... Много там делать нечего и незачем. Вы увидите на полях некоторые незначительные и необидные мои поправки. Кое-где вы впадаете в беллетристику, но это беллетристика высокого класса, беллетристика большого писателя, и это не страшно. Все эти замечания — так, между прочим. Вы поставили перед собой грандиозную задачу и блестяще ее выполнили. Хочется многое сказать, но я сейчас под впечатлением вещи, взволнован, говорить трудно. Приеду и поговорим. И название прекрасное — «Дети Арбата». У талантливой вещи всегда талантливое название.

22

Итак, Твардовский прочитал. «Дети Арбата», как у нас принято говорить, вышли на «финишную прямую». До финиша, вероятно, еще далеко, но роман зажил своей жизнью.

Следующий наш разговор с Твардовским состоялся 24 мая в его кабинете в редакции «Нового мира».

— Каждый писатель, — сказал Твардовский, — мечтает о своей главной книге, но не всякий, даже очень талантливый, ее создает, потому что не находит того, что должно послужить для нее материалом. Вы нашли свой золотой клад. Этот клад — ваша собственная жизнь. И то, что вы, пренебрегая своей славой известного беллетриста, своим материальным положением, пишете *такую* книгу, без надежды на скорое ее опубликование, пишете всю правду, подтверждает, что вы настоящий писатель. Я уже имел случай говорить товарищам из секретариата Союза писателей о вашем романе. Я им сказал, что это первый в советской литературе роман о Москве. Вы прекрасно показали ту эпоху, показали общество во всех его разрезах — от сына портного до дочери наркома. И от этого невозможно оторваться. Я прочитал его за одни сутки. Вы достигли в нем поразительной силы и убедительности изображения. Мне очень горько, что я ничего не могу пообещать вам конкретно. Журнал в очень тяжелом положении, его медленно и тихо удушают. Я уже говорил им — так дальше невозможно, так дальше журнал существовать не может. Мы имеем, что печатать, но нам не дают, хотят, чтобы журнал угас сам по себе. Я им много хорошего говорил про ваш роман, я его большой поклонник и пропагандист, но как только я упомянул, что там есть арест, они сразу замолчали и больше к этому не возвращались. И ставить сейчас вопрос о вашем романе бесполезно.

— Я это понимаю и не рассчитываю на скорое опубликование.

— Ну, нет. Публиковаться надо. И потом материально: я не Крез, Анатолий Наумович, но я с удовольствием дам вам свои деньги, лично свои, чтобы вы могли спокойно работать и закончить следующую книгу.

— Спасибо. Деньги у меня есть, кроме того, в будущем году, вероятно, выйдет моя картина и я буду совсем богатый.

— Во всяком случае, если сложится так, что появится нужда в деньгах, я всегда рад вам помочь. И прошу вас обязательно мне об этом сказать. И еще: не унывайте! То, что вы написали такое, говорит о вашем мужестве. Я очень рад и счастлив за вас и радуюсь вашему успеху. И я был рад в прошлый раз вам позвонить. Как вы понимаете, я звоню не всем...

— Спасибо. Меня ваш звонок очень тронул, для меня это — большая честь. Сейчас, когда роман не идет, это единственная для меня награда, тем она ценнее.

— Ничего. Все впереди... Для того чтобы товар появился в магазине, его надо прежде всего произвести на фабрике. Ваш товар готов и ждет своего часа. Кстати, сколько вам лет?

— Я тысяча девятьсот одиннадцатого года.

— Да?! Я думал, вам меньше, и даже удивлялся тому, как вы прекрасно знаете время, в котором, по моим предположениям, вы были ребенком. Я думал, что это время моей юности.

— Мы — ровесники.

— Не совсем, я — старше, я — десятого года. Когда нам с вами будет по сто два года, мы будем вспоминать, как волновались по поводу вашего романа и окажется, что зря волновались.

После Твардовского я зашел к Лакшину. Был там еще Кондратович. Оказывается, в редакцию приезжали Марков и Воронков. Разговор шел о портфеле журнала: «Твардовский особенно остановился на вашем романе, расхваливал его так, как никого еще не хвалил. Воронков сказал, прекрасно, если роман будет похож на «Кортик» и «Бронзовую птицу», в которых тоже много поэзии времени и поколения».

— Что же препятствует его опубликованию? — спросил Марков.

— Там есть арест, — ответил Твардовский...

Марков и Воронков сникли так, как сникает воздушный шар, когда из него выпускают воздух.

Десятого июня я снова был в журнале. Твардовский меня увидел, позвал к себе в кабинет.

— Главное в вашем романе — Москва, — сказал Твардовский, — вы себя в ней чувствуете как лесник в знакомом лесу. Если он собьется на боковую тропинку, то все равно выйдет на главную, ни компаса, ни карты ему не нужно. А вот когда писатель прибегает к карте и компасу, тогда плохо. Пример тому — Фадеев. Он не только не знал металлургию, Магнитогорска, но и не любил техники в литературе, заводов и всего такого. И вот решился писать о том, чего не знал и не любил. И сорвался. У вас совсем другое. Вы настолько знаете и чувствуете Москву, все получается у вас так естественно, что вы не придаете этому значения, даже пренебрегаете очень многим и важным, делаете это как бы попутно. Я сам не коренной москвич и не думал, что буду жить в Москве, да вот журнал... Вопрос стоит только так. Дадут делать журнал — останусь. Не дадут — не останусь.

— Жалко, если вы уйдете. Назначат другого человека, который не сможет или не захочет использовать благоприятную ситуацию, когда та наступит.

— Нет, оставаться на положении Маркова или Кожевникова я не могу. Я иногда думаю: когда-то ведь должна заговорить совесть даже у таких людей. О чем они думают ночью, во время болезни, перед угрозой смерти? Думают ли они, каково будет их детям, детям родителей с такой репутацией?

— Ну, на их совесть, Александр Трифонович, уповать не стоит.

— Ведь врут на каждом шагу. «Литгазета» написала, будто бы Солженицын был осужден за дело, а потом помилован, а это неправда. Он был командиром артиллерийского взвода на фронте, а написали — зенитной батареи, а она могла стоять где-нибудь под Пермью. Вот я и говорю: нет совести у них, элементарной порядочности нет. Ладно... Опять сбиваюсь в сторону... Скажите, на что живете?

— Работаю для кино.

— Не знаю, не знаю... Я говорил Бакланову, давайте ваш

сценарий, опубликуем, а он смеется: это не для журнала... Как же так? Если автор боится опубликовать сценарий, значит, это не литература. Вот кто-то задумал инсценировать для телевидения «Страну Муравию», я им так ответил, что они и думать об этом перестали. Но все это ерунда. Главное — речь Брежнева на съезде учителей мне кажется обнадеживающей и многообещающей... Как вы думаете, что молчите?

— Там, наверху, я ни разу в жизни не бывал, вам видней...

— Я надеюсь, я надеюсь.

Не оправдались надежды Александра Трифоновича. Реакция усиливалась. Нападки на «Новый мир» ужесточались. В начале февраля 1970 года секретариат Союза писателей СССР вынес решение об изменениях в руководстве журнала «Новый мир», означавших, в сущности, отстранение Твардовского.

В субботу, 6 февраля 1970 года, днем ко мне на дачу пришли Каверин, Трифонов и Можаев. Им стало известно, что решение секретариата должно быть опубликовано в ближайшем номере «Литературной газеты», и эту акцию надо предотвратить, написав письмо Брежневу. У Можаева есть приятель, хорошо знакомый с дочерью Брежнева — Галиной. Галина берется передать такое письмо отцу. Газета выходит в среду, печатается во вторник, значит, письмо Брежневу должно быть передано не позже завтрашнего дня, то есть в воскресенье, чтобы в понедельник Брежнев мог задержать публикацию. Следовательно, на сбор подписей мы имеем только один день — сегодняшний, субботу. В Переделкине подписи соберу я, в Доме творчества — Можаев, на Пахре — Трифонов.

Я усомнился в успехе этого мероприятия. Надежен ли знакомый Можаева? Передаст ли письмо Галина? Как отреагирует Брежнев?

Можаев сказал, что знакомый его надежен, Галина обязательно письмо передаст и другого пути у нас нет. Если мы в понедельник сдадим письмо в экспедицию ЦК, то неизвестно, когда дойдет оно до Брежнева и дойдет ли вообще, а газета с решением секретариата тем временем выйдет, и все будет кончено.

Трифонов с ним согласился — другого выхода нет.

Наивный интеллигент Каверин добавил:

— Мне кажется, такое неофициальное, личное, доверительное обращение подвигнет товарища Брежнева на благоприятное решение.

Написали мы письмо, я отпечатал его под копирку, копия у меня сохранилась, привожу текст:

«Дорогой и глубокоуважаемый Леонид Ильич!

Встревоженные положением, создавшимся в нашей литературе, мы считаем своим долгом обратиться к Вам.

Против А. Т. Твардовского и руководимого им журнала «Новый мир» в последнее время ведется кампания, преследующая цель отстранить Твардовского от руководства журналом. Уже приняты решения об изменении редколлегии «Нового мира», по существу направленные к уходу Твардовского из журнала.

А. Т. Твардовского можно смело назвать национальным поэтом России и народным поэтом Советского Союза. Значение его творчества для нашей литературы неоценимо. У нас нет поэта, равного ему по таланту и значению. Руководимый им журнал является эталоном высокой художественности, чрезвычайно важной для коммунистического воспитания народа. Журнал проводит линию XX—XXIII съездов партии и с научной глубиной анализирует сложные проблемы современного общественного развития. Журнал собрал на своих страницах множество талантливейших современных советских писателей. Авторитет, которым он пользуется как в нашей стране, так и среди прогрессивной интеллигенции всего мира, делает его явлением совершенно исключительным. Не считаться с этим фактом было бы большой ошибкой с далеко идущими отрицательными последствиями.

Мы совершенно убеждены, что для блага всей советской культуры необходимо, чтобы «Новый мир» продолжал свою работу под руководством А. Т. Твардовского и в том составе редколлегии, который он считает полезным для журнала.

Алигер, Антонов, Бек, Вознесенский, Е. Воробьев, Евтушенко, Исаковский, Каверин, Мальцев, Можаев, Нагибин, Рыбаков, Тендряков, Трифонов.

6—8. 02. 1970 г.».

Больше подписей мы собрать не успели. Из тех, к кому

обратились, никто не отказался, кроме Сергея Залыгина, нынешнего главного редактора «Нового мира». Он жил тогда в Переделкине, в Доме творчества, сказал Можаеву: «Дожидаюсь ордера на квартиру, жена больна, ты должен меня понять».

Как рассказывал Можаев, получив письмо, Брежнев поморщился:

— Что за «коллективки» такие? Пусть придут в ЦК, поговорим.

«Коллективками» назывались коллективные заявления, в армии они были запрещены, полагалось писать только индивидуальные рапорты. Видимо, вспомнил Леонид Ильич свое «боевое прошлое».

Нам передали, что в понедельник писательскую делегацию (не более пяти человек) по поручению ЦК примет товарищ Подгорный. О часе приема будет сообщено в редакцию «Нового мира».

Это известие мгновенно разлетелось по Москве, в понедельник к девяти часам утра в «Новом мире» собрались его авторы. О сотрудниках и говорить нечего — все тут были. Твардовский сидел в кабинете в темном костюме, при галстуке, серьезный, сосредоточенный, сознающий значение момента для судьбы журнала, да и всей советской литературы.

Наметили пятерку тех, кто отправится к Подгорному. Кроме себя, помню Можаева, Тендрякова, Трифонова. Пятого забыл.

Дожидаемся звонка из ЦК. Никто не уходит. Принесли бутерброды, вскипятили чай, перекусили. В общем, как на боевой вахте.

Прождали до полуночи. Никто не позвонил.

Через день вышла «Литературная газета» с решением секретариата Союза писателей. Твардовский ушел с поста главного редактора журнала. Героический период истории «Нового мира» кончился.

Может быть, не передали нашего письма Брежневу? Можаев клялся, что передали. И я ему верю — передали. Но Брежнев ничего не пожелал изменить.

Не помню точно даты, но в том же 1970 году, в мае или июне, ко мне на дачу пришел Твардовский. К кому он приез-

жал в Переделкино, не знаю, но был в подпитии, от губы к подбородку тянулась засохшая струйка яичного желтка, закусывали, видно, яичницей, мрачный, смотрел исподлобья.

Сел на скамейку, обвел веранду тяжелым взглядом:

— Ну, чего сейчас пишете?

— Печатаю в «Юности» повесть «Неизвестный солдат».

Он махнул рукой:

— Это ладно... С романом что делаете?

— Заканчиваю описание ссылки.

Он пошарил глазами по столу:

— Рюмка найдется?

— Конечно. Но вы уже приняли, Александр Трифонович.

— Я свою норму знаю. Покажите, где руки можно помыть.

Из ванной вышел с чистым лицом, смыл яичный желток.

Выпили мы по рюмке, больше он пить не стал.

Сидел, молчал, потом заговорил:

— Я знаю, вы на меня обижены за то, что я беллетристом вас назвал.

— Что вы, я уже забыл об этом.

— Обиделись, — он мелко закивал головой, — обиделись, я видел. А почему я так сказал? Я совсем другое имел в виду. Та ваша вещь...

— «Лето в Сосняках».

— Вот именно. Замах там был, а удара не получилось. Почему? Уже мы Солженицына напечатали. После «Ивана Денисовича» писать по-прежнему было нельзя. То есть писать все можно, не всем же быть Солженицыными. Но по той вещи я почувствовал, что вы больше знаете, но не выговариваете. Солженицын рубанул с маху, там простой русский мужик в лагере вкалывает, а у вас девушка по московским тротуарам разгуливает. Вот это я хотел, чтобы вы убрали.

Он говорил с паузами, думал, потом снова начинал:

— «Дети Арбата»! Какие там сцены! Ведь вас в порнографии будут обвинять, а я ни слова против не сказал. Потому что «Дети Арбата» — это высокий класс литературы. И женщин вы умеете писать, другие не умеют, а вы умеете... И, видите, я не возразил против таких сцен, там они на уровне романа. — Лицо его вдруг прояснилось, обрело свою значительность. — «Дети Арбата» — они уже не подвластны, не под-

вержены времени. С ними уже ничего не сделают, они свое возьмут. Конечно, Солженицын активнее вас, он деятель, такой он человек и таким его надо принимать. А мы с вами другие. Может, поколение такое или закалка не та... — Он посмотрел на меня: — Впрочем, и вы бывший ссыльный...

— Да, случилось.

Он опустил голову.

— Моя мать тоже была в ссылке. Сильная женщина, раскулачивали, а она не поддавалась, вот ее и отправили. Одну... Отца в то время в деревне не было. Много потом рассказывала, не знаю — что правда, что прибавила... Гнали их по ранней весне, дошли до барака, а там мертвые люди, кто на полу лежит, кто на нарах, а кто и вовсе мертвый сидит за столом. Как сидел за столом, так и помер. Вот туда и доставили мою мать... — Голос его дрогнул... Он посмотрел на бутылку, но не налил. — А отец, тот был в бегах. Где-нибудь поработает, он хороший был кузнец, и едет к матери, везет мешок муки. Его за проволоку пустят, уже знали его, он с матерью поживет, покормит ее и опять в бега, на заработки, и опять приезжает с мешком. А потом погнали их из-за проволоки, идут неизвестно куда. Едет человек на бричке: «Ты кто такой?» — «Кузнец...» — «Кузнец? Друг, ты мне нужен!» Оказался председателем колхоза, где требовался кузнец. Забрал отца с матерью, и они уже до освобождения оставались в том колхозе... Вот так и жили люди.

Он всхлипнул, встал, прошел в ванную...

История его родителей была обычной для миллионов крестьян того времени. Хотя... Пропускали «за проволоку», «выпускали». Может, так и было, а возможно, сложилось в представлении Твардовского. Но его отец с матерью страдали, как страдал весь народ, как страдает и никогда не преодолеет своего страдания сам Твардовский.

Он вернулся, сел за стол, налил рюмку, выпил, пожевал кусочек хлеба.

— Да, вот так и жили... А я учился в Смоленске, потом в Москве, в ИФЛИ (Институт Философии, Литературы, Истории — *А. Р.*), стихи писал. — Он усмехнулся. — Мои родители вон где были, а я стихи про колхозы сочинял... И не знал, что будет со мной. Я еще почему не мог оторваться от «Детей

Арбата»... Помните дом на углу Арбата и Смоленской, там магазин «Гастроном»?

— Помню, конечно.

— Построили коридорную систему с общей столовой, по-коммунистически, новый быт внедряли. Но для себя архитектор соорудил обыкновенную отдельную квартиру. Вот в этом доме я часто ночевал у Игоря Саца. Много у кого приходилось ночевать... Боялся... Отец мой к матери не побоялся поехать... Вот вам «Отцы и дети»! Напишите. «Отцы и дети». Впрочем, Тургенев уже написал, вы свое пишите, другого вам не надо. — Он встал. — Ладно! Мне сказали, у вас машина есть.

— Есть.

— Отвезите меня домой, на дачу.

— Пожалуйста. Но уже поздно. Вы можете у меня переночевать, а домой позвоните.

Он выпрямился, лицо его неожиданно обрело обычное горделивое, отстраненное выражение.

— Вам трудно меня довезти?

— Да Бог с вами, — засмеялся я, — сейчас заведу машину.

Я отвез его, всю дорогу он дремал, очнулся в поселке, показал, где остановиться.

— Спасибо. Если что сказал не так, не сердитесь.

Не дожидаясь ответа, открыл дверцу, вышел, скрылся за калиткой.

Через полтора года, в декабре 1971-го, Твардовский умер. Был ему всего 61 год. Лежал в гробу на сцене большого зала Центрального Дома литераторов, окруженный теми, кто его затравил. Теперь они демонстрировали свою фальшивую скорбь.

Вместе с Твардовским ушла особенная эпоха русской литературы. Он был одним из самых ярких ее мучеников. Истинно народный поэт, отдал родине весь свой талант, но родина погубила его мать, отца и его самого.

23

Повесть «Неизвестный солдат», упомянутая мною в последнем разговоре с Твардовским, завершала трилогию о Кроше — подростке Сергее Крашенинникове. Трилогия публиковалась в журнале «Юность». «Приключения Кроша» — в 1956 году, «Каникулы Кроша» — в 1966 году, «Неизвестный солдат» — в 1970 году.

В своих более ранних вещах («Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел») я рассказывал о детях, выраставших на идеалах революции. Чистые, бескорыстные, они, однако, признавали только «пролетарскую» мораль, воспитывались на ленинской формуле: «Нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата», жертвой чего сами и пали при Сталине. Крош и его сверстники родились накануне войны. Росли в хрущевское и послехрущевское время, формировались в иных понятиях. Как всякие подростки, они утверждали себя, искали другие нравственные ориентиры и нашли их в ценностях общечеловеческих.

Сейчас, когда я пишу эти строки, Крошу и его товарищам уже под шестьдесят, скоро на пенсию. Все они, бесспорно, приветствовали начальные преобразования горбачевского периода и участвовали в них, а сейчас сидят без зарплаты, пожинают плоды «реформ», разваливших страну. Но их участие в современном криминальном бизнесе исключено: дети Великой Отечественной войны, они выросли людьми нравственными.

Вернемся ко времени моего сотрудничества с журналом «Юность».

В 1956 году его возглавлял Валентин Катаев — мэтр советской литературы. Родом из Одессы, говорил с одесским акцентом, один дед — священник, другой — царский гене-

рал. Тем не менее при советской власти Катаев был вполне благополучен. Автор популярных пьес, официального романа «Время, вперед!» о строительстве Магнитки в начале тридцатых годов, широко известной повести «Белеет парус одинокий». За повесть «Сын полка» получил Сталинскую премию.

Под конец жизни Сталин изменил к нему отношение, что, впрочем, не отразилось на положении Катаева, но после смерти Сталина создало ему репутацию «пострадавшего за правду». В чем была истинная причина высочайшего недовольства — не знаю. Мне известны два факта катаевской биографии, связанных со Сталиным.

По сценарию Александра Авдеенко поставили кинофильм «Закон жизни». Действие его происходит в Донбассе. Сталину фильм не понравился. Мгновенно началась проработка автора. Как рассказывал мне сам Александр Остапович, происходило это в Центральном комитете партии.

За столом президиума сидели Маленков, Андреев, Жданов. Сбоку у стены — Авдеенко и постановщики фильма Столпер и Иванов. Присутствовали члены руководства Союза писателей СССР, выступали с осуждением Авдеенко, наступила очередь Катаева. Он поднялся на трибуну:

— Товарищи! Если эту кинематографическую поделку ее авторы пытаются нам представить произведением искусства, то я не нахожу слов, чтобы...

И вдруг откуда-то сбоку появляется товарищ Сталин.

Катаев умолк. Все замерли.

Сталин молча прошелся по просцениуму, потом заговорил о значении Донбасса в жизни страны.

Говорил полчаса, как всегда не спеша и очень-очень тихо, никто не смел шелохнуться. Закончив, Сталин молча прошелся туда-обратно и удалился.

— Товарищи! — снова начал Катаев. — Если эту кинематографическую поделку ее авторы пытаются нам представить как произведение искусства, то я не нахожу слов, чтобы...

И вдруг опять выходит товарищ Сталин.

Катаев умолкает. Все замирают.

Сталин заговорил о роли рабочего класса вообще и его передового отряда — шахтеров в частности в развитии советской индустрии на данном этапе.

Говорил опять полчаса, так же не спеша и тихо. Катаев возвышался на трибуне, все сидели не шевелясь. Сталин кончил говорить и ушел.

Переминаясь с ноги на ногу, Катаев снова начал:

— Товарищи! Если эту кинематографическую поделку ее авторы пытаются нам представить как произведение искусства, то я не нахожу слов, чтобы...

И в третий раз выходит товарищ Сталин. Катаев умолкает. Все замирают.

Сталин заговорил о воспитании советской молодежи и о роли в этом советского кино в частности.

По-прежнему говорил не спеша, тихо, едва слышно. Закончив, направился к двери, обронив Катаеву:

— Извините. Можете продолжать.

Простояв полтора часа на трибуне, Катаев едва держался на ногах, сумел только воскликнуть:

— Товарищ Сталин! Мне незачем продолжать. Вы за меня все сказали!

Сталин остановился, метнул на Катаева желтый тигриный взгляд, постоял секунду и скрылся.

Жданов объявил обсуждение законченным, решение ЦК будет сообщено дополнительно.

— Всем ехать в Союз! — приказал Фадеев.

В Союзе заперлись в кабинете, и Фадеев дал трепку Катаеву.

— Ты где сейчас был? На Дерибасовской, на Молдаванке? С кем ты разговаривал? Перед кем ты стоял? Ты стоял перед товарищем Сталиным! И ему, товарищу Сталину, ты посмел такое выговорить: «Товарищ Сталин, вы за меня все сказали!» А?! Великий Сталин, вождь народов, говорит за тебя. А кто ты такой?! «Товарищ Сталин, после *вас* говорить уже нечего, вы все сказали!» Вот как ты должен был ответить! В каком виде ты представил руководство Союза писателей?!

Эта ли история послужила причиной охлаждения Сталина к Катаеву? Допускаю.

После войны Катаев опубликовал роман «За власть Советов» — об Отечественной войне. Действующие лица — персонажи из повести «Белеет парус одинокий». Тогда они были

детьми, а тут пожилые люди, озорник Гаврик теперь секретарь райкома партии, руководитель партизанского подполья. В пору публикации романа «борьба с космополитизмом» набирала обороты, на гребне кампании вознеслись посредственные писатели, один из них — Бубеннов, юдофоб, алкоголик, его роман «Белая береза» объявили крупнейшим произведением о войне. О Бубеннове говорили так: «Белая береза, белая головка, белая горячка, черная сотня». Группа эта охаивала Эренбурга, Гроссмана, В. Некрасова, вообще всех «не наших», к ним причислили и Катаева — интеллигентный, умеет писать, одесский акцент — личность сомнительная. Написали разгромную статью о романе «За власть Советов», Бубеннов ее подписал и направил в газету «Правда». Там заколебались — все же Катаев, лауреат — тянули. Тогда Бубеннов послал статью Сталину, известно — «пьяному море по колено». Сталин, конечно, ее не прочитает, но в секретариат к нему статья попадет, оттуда запросят «Правду», глядишь, это и подтолкнет.

Сталин прочитал статью и позвонил Бубеннову ночью. Счастье Бубеннова — болел гриппом и был трезв.

— Я прочитал вашу статью, — сказал Сталин, — мне кажется, статья правильная, дельная статья. Впечатляет место, где вы пишете о так называемом Гаврике. Правильно пишете. Гаврик по-русски — это мелкий жулик, мелкий мошенник. Встает вопрос — случайно ли такое имя, Гаврик, товарищ Катаев дал партийному руководителю? Не может быть такой случайности. Мне говорили, что Катаев — мастер литературы, может ли мастер литературы не знать, что такое означает на русском языке слово «гаврик»? Не может не знать. Я думаю, товарищ Бубеннов, что нам удастся уговорить работников «Правды» напечатать вашу статью. А вы, товарищ Бубеннов, звоните мне, когда у вас появится такая необходимость.

И положил трубку. Утром Бубеннов открыл «Правду» и увидел свою статью. Стал с этого дня влиятельнейшей фигурой в литературе — получил право свободно звонить по телефону самому Сталину. Перед Бубенновым заискивали. На моих глазах известнейший поэт, лауреат, подобострастно подавал в гардеробе шубу пьяному Бубеннову. Как-то вресто-

ране ЦДЛ в кругу приближенных сидел Бубеннов, рядом стоял писатель Анатолий Ференс. Бубеннов отгонял его от стола: «Никаких жидов!» Собутыльники уверяли Бубеннова, что Ференс вовсе не Ференс, а Ференчук, украинец, как Корнейчук. Но Бубеннов и слышать не хотел: «Никаких Ференсов, никаких жидов!» При мне в коридоре Союза Фадеев сказал Симонову: «Бубеннов лося отстрелил по лицензии. Еду к нему на пир. Подонок, а куда денешься?!»

Сталину почту докладывали выборочно: письма тех или о тех, кем Сталин интересовался. К числу этих лиц, видимо, принадлежал и Катаев, возможно, с того злосчастного обсуждения Авдеенко, потому и передали бубенновскую статью.

Статья была разгромная, грубая и несправедливая. Из-за нее Катаев и попал в «пострадавшие за правду». После смерти Сталина его обласкали, наградили, назначили главным редактором журнала «Юность».

Работать с ним было приятно. Понимал. Любил детали. На полях моей рукописи «Приключения Кроша» против слов Кроша: «Я танцую вальс в обе стороны, поворачиваясь и левым, и правым плечом» — поставил восклицательный знак: понравилось, вспомнил, наверно, свои гимназические годы.

Стилист был блестящий, этого у него не отнимешь, но политически — активный конформист. Мы иногда гуляли с ним по Переделкину, беседовали, я поражался его страху перед властью. Как-то я высказал весьма невинное, но свое суждение о каком-то литературном событии, он остановился, с испугом посмотрел на меня: «Что вы говорите? Как можно? Ведь об этом есть решение ЦК!» Солженицына, конечно, осуждал, но мне говорил: «Дали бы ему Ленинскую премию за «Ивана Денисовича», служил бы верой и правдой, никаких бы хлопот с ним не имели». Такие у него были критерии. Читая его «Святой колодец» и «Траву забвения», я думал: вот наградил Бог человека даром слова, хорошим глазом и слухом, оставив пустым сердце.

Журналом «Юность», предназначенным для молодежи, Катаев руководил в период «оттепели», это и определило направление журнала. Заслуга Катаева в том, что он не препятствовал времени, наоборот, обладая отличным литератур-

ным вкусом, печатал одаренных молодых прозаиков и поэтов: Евтушенко, Вознесенского, Аксенова, Кузнецова и многих других. Журнал сыграл свою роль в рывке, который сделала литература в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов.

В «Юности» тех, да и более поздних времен царила особая атмосфера: ее авторы были веселы, молоды, талантливы. Туда приятно было приходить. Но в жизни журнала я участвовал мало: по сравнению с другими чувствовал себя стариком. И все же кое с кем у меня сложились дружеские отношения.

На полке у меня стоит томик Ницше, подаренный Женей Евтушенко ко дню моего рождения с надписью: «Дорогому Анатолию Наумовичу с благодарностью за то, что когда-то поверил в меня, еще мальчишку».

Помню, как он пришел ко мне, принес стихотворения, опубликованные в какой-то спортивной газете, и стихи, которые еще никому не показывал. Я ему тогда сказал: «Будешь серьезно работать, выйдешь в первые поэты». Что-то значительное увиделось мне в этом мальчике. Он действительно стал всемирно известным поэтом. Что бы там ни говорили наши снобы, он написал «Бабий Яр» и «Наследники Сталина», он дал из Коктебеля телеграмму, протестующую против вторжения советских войск в Чехословакию, он звонил Андропову, возмущаясь высылкой Солженицына, я знаю многих писателей, актеров, художников, которым Евтушенко помогал. Когда надо чего-то добиться, плутовское выражение сходит с его лица, он становится серьезным, говорит: «Встану на колени». Рассказывает: «Был в ЦК, Анатолий Наумович, сказал им: встану перед вами на колени — отпустите Горбаневскую!» Многие о его помощи тут же забывали, он сетовал на людскую неблагодарность, по-детски надувая губы, и кидался опять за кого-то хлопотать.

Прибегает поздним вечером: «Анатолий Наумович, понимаете, есть гениальный режиссер — Аскольдов. Двадцать лет назад он снял потрясающий фильм — «Комиссар». Ленту положили на полку, Аскольдова исключили из партии, выгнали с работы, довели до инфаркта. Завтра в десять утра в Политехническом нам покажут этот фильм. Будете вы с Та-

ней, я и Владимир Васильевич Карпов. Втроем мы этот фильм пробьем! Аскольдов болен, у него температура тридцать восемь и восемь, но сказал, если Рыбаков приедет, я приду. Анатолий Наумович, я встану перед вами на колени — поедем завтра в Политехнический!» Поехали, посмотрели, я позвонил помощнику Горбачева — Анатолию Черняеву, общими усилиями пробили: фильм появился на экранах.

Как истинно талантливый человек, Евтушенко щедр в своих литературных оценках, никому не завидует, восхищается написанным другими.

Я посмеиваюсь над его стремлением утвердиться во всех жанрах искусства. «Ты, — говорю, — не попробовал себя еще в балете и вокале!» Его проза, фильмы, актерская работа далеки от совершенства, он часто грешит вкусом, выразимся так, подчас суетен, занялся политикой, не имея к тому особых данных, хватает и рисовки, и саморекламы. Впрочем, это можно сказать о многих из нашей братии, ходили в цилиндрах, желтых кофтах, босиком, в рваных портках.

Повести о Кроше, которые я публиковал в журнале «Юность», написаны от первого лица. Так писать трудно: рассказчик должен быть участником событий или хотя бы свидетелем. Зато, если найдена интонация рассказчика, то она, отражая его характер, ведет, тащит сюжет, убеждает читателя, он верит тому, что герой сообщает о событиях, происходивших без его участия.

Первая повесть навеяна воспоминаниями о собственной практике на автобазе, вторая — поездкой в Японию, знакомством с японской миниатюрной скульптурой — нэцкэ, третья — «Неизвестный солдат» — короткой записью в моем фронтовом блокноте о солдате, забросавшем гранатами немецкий штаб. В повести этот солдат был одним из военных шоферов, погибших в войну. На его могилу наткнулся дорожно-строительный отряд, Крош пытается установить имя неизвестного солдата, ищет его родных, преодолевает недоверие, сопротивление, насмешки, но в конце концов добивается своего. Заканчивается повесть так:

«Антонина Васильевна опустилась на колени и поцеловала землю, в которой, в этом ли месте, в другом ли, похоронен ее сын. Потом Зоя подняла ее.

И когда первая машина поравнялась с ними, она дала длинный, длинный гудок. И вторая машина дала гудок. И третья... И я тоже дал гудок.

И так, подавая гудки, наша колонна проследовала мимо солдатской могилы, мимо солдатской матери, солдатской вдовы и солдатской внучки».

Повесть была опубликована в 1970 году, снятый по ней фильм показан в 1971-м, а премьера трехсерийного телевизионного фильма состоялась 8 мая 1985 года.

Через месяц мы с Таней и нашим водителем Николаем ехали на машине из Москвы в Чернигов. Проехали Брянск, покатили по хорошему асфальтированному шоссе и вдруг услышали непрерывные и многоголосые автомобильные гудки... Я подумал: впереди авария...

Но это была не авария. Возле дороги, на постаменте стояла старая военная полуторка ГАЗ-АА, а рядом — могила погибшего в войну военного шофера. И все проезжающие машины подавали гудки в память этого шофера и других шоферов, в память погибших на той войне.

— Это после вашей книги, после вашей картины гудят, — сказал Николай.

Я получал много всяких премий и в литературе, и в кино. Но более высокой награды в моей жизни не было и не будет.

24

Перед войной в Рязани мой товарищ Роберт Купчик (я упоминал о нем: мы женились на подругах) рассказал мне историю своих родителей. В прошлом веке его дедушка уехал из Симферополя в Швейцарию, окончил там университет, стал преуспевающим врачом в Цюрихе, женился, старшие его сыновья тоже стали врачами, а когда младшему подошло время поступать в университет, отец решил свозить его в Россию, показать сыну родину предков. Было это в 1909 году.

В Симферополе молодой швейцарец влюбился в юную красавицу еврейку, дочь сапожника, женился на ней и увез в Цюрих. Однако ей там не понравилось, она вернулась в Россию, с ней вернулся и муж, отец Роберта, и остался жить в Симферополе, работал сапожником, как и его тесть. В тридцатых годах его, «подозрительного иностранца», естественно, посадили.

Эта история меня поразила. Для предвоенного поколения слово «Швейцария» звучало как Марс или Луна. Другой мир. И ради любви человек оставил родину, богатых родителей, карьеру.

После войны я встретил Роберта. Отца его в сороковом году освободили, сохранились швейцарские документы, по матери он оказался немцем, а Сталин дружил тогда с Гитлером. Но в сорок втором году отца и мать Роберта вместе с другими симферопольскими евреями немцы расстреляли и трупы сбросили в общую могилу по дороге на Судак. Это он мне и рассказал.

Я тогда уже был автором многих книг и оценил литературные возможности такого сюжета, давно стремился написать роман о любви. К тому же и сам был в то время влюблен в свою будущую жену.

Мы встретились с Таней в 1950 году, ей был 21 год, мне — 39. Я бы никогда не отпустил ее от себя, нас развели обстоятельства того времени. Она — дочь «врага народа». Отца, заместителя Микояна, расстреляли в 1938 году, мать отправили в лагерь, оба брата погибли на фронте. Мог ли я с моим прошлым, со своей 58-й статьей, быть защитой этой девочке? Все это опять нависло надо мной, именно тогда Сталин сказал про меня: «Неискренний человек». Я не имел права ни на какие серьезные отношения. Таня слушала меня, опустив голову. Не верила, что я люблю ее.

Через несколько лет мы случайно столкнулись в Переделкине. Она шла, держа за руку очаровательную двухлетнюю дочку, такая же красивая, веселая, кивнула мне и тут же свернула на боковую тропинку. Муж ее был известный поэт, иногда мне попадались его стихи, ей посвященные, — в общем, выглядела она вполне счастливой. И у меня все складывалось неплохо: реабилитирован, популярный писатель. Но было ясно: Таня меня избегает. У каждого из нас своя жизнь, все остальное как будто ушло в прошлое.

И все же нам суждено было встретиться вновь. Мы увиделись через двадцать лет в Крыму, в Коктебеле, оказались в Доме творчества в одно и то же время. Я шел по аллее, Таня — навстречу, боковых тропинок там нет, свернуть некуда, ей пришлось остановиться, мы перекинулись парой фраз. Через день опять где-то пересеклись наши пути, и еще через день, и еще... Таня улетала в Москву раньше меня, оставались считанные дни, теперь нас пугала даже эта разлука. Мы покидали пляж, заплывали далеко в море, я смотрел на милое, дорогое Танино лицо, и больше ничего не существовало на свете...

Мы прожили вместе девятнадцать лет — счастливейшие годы моей жизни, рядом верный, родной человек, первый мой критик и редактор. Я люблю обговаривать с ней то, о чем буду писать завтра. Мысль моя бежит вперед, называется это у нас «занимать территорию». Но... смешная подробность — мы никогда не обсуждаем Танины поправки. Оба слишком эмоциональны, тут же поссоримся.

Свои замечания она пишет на полях рукописи или строчит мне письмо-рецензию. Я читаю, прихожу в негодование. Потом перечитываю, обдумываю, успокаиваюсь и соглашаюсь — у Тани безошибочный вкус. Отношу исправленное в комнату, где она сидит за компьютером, шучу: «Чего не сделаешь ради спокойствия в семье...»

Но иногда, когда Таня особенно наседает, хочется взять реванш и я читаю ей что-либо подобающее моменту, например высказывание братьев Гонкур:

«Ловля блох оглупляет самых одаренных, шлифовка фразы через лупу отвлекает от всего сильного, большого, горячего, что дает жизнь книге...»

Оба смеемся.

Обдумывая в 75-м году роман «Тяжелый песок», я сказал Тане: «Теперь я знаю, что такое любовь, и сумею это написать».

И еще одно привлекло меня к истории, рассказанной Купчиком...

Основы советского государственного антисемитизма заложил Сталин. Антисемитом он стал еще в юности, в столкновениях с другими подпольщиками и ссыльными революционерами, более эрудированными и образованными, часто евреями, столь же нетерпимыми в спорах, как нетерпим был он сам. Усилила это чувство зависть к Троцкому во время гражданской войны, а после нее — борьба за власть с Зиновьевым и Каменевым. Много евреев было в большевистской партии, которую Сталин уничтожил в конце тридцатых годов.

Истребление Гитлером шести миллионов соплеменников обострило национальное самосознание евреев, создание государства Израиль и его героическая борьба за существование вызвали чувство национальной гордости. Скорбь о погибших и гордость за живых — Сталин понимал, какая это взрывчатая смесь. Советский Союз голосовал за создание Израиля, надеясь сделать его своим форпостом на Ближнем Востоке. Замысел не удался. Израиль ориентировался на Соединенные Штаты. Сталину расклад стал ясен: главный враг США, где в экономике и политике достаточно евреев, их союзник — еврейское государство

Израиль. С кем советские евреи? Конечно, с Израилем и США.

Акции против евреев следовали одна за другой: критики и писатели — космополиты и антипатриоты, Еврейский антифашистский комитет — шпионы и диверсанты, евреи-врачи — убийцы в белых халатах. Разнузданная антисемитская кампания в печати нагнетала «гнев народный». Спасением евреев от этого справедливого гнева должна была стать их депортация на Дальний Восток.

Сталин умер, не успев завершить дело Гитлера. Освободили врачей, реабилитировали безвинно казненных. Однако государственный антисемитизм в брежневские времена сохранился, приняв обличье борьбы с сионизмом. Евреи рассматривались как потенциальные эмигранты, готовые переселиться в Израиль. Анекдот того времени: заполняя анкету, еврей в графе «национальность» пишет: «Да!» Ограничили прием евреев в высшие учебные заведения, преградили пути в государственный, партийный и военный аппараты. Выходили многочисленные книги и статьи всяких евсеевых, бегунов и прочих черносотенцев того времени, обвинявших сионистов в антикоммунизме и контрреволюции, в отличие от черносотенцев нынешних, предъявляющих сионизму счет за пропаганду коммунизма и свершение Октябрьской революции. Даже народный художник Белоруссии Савицкий изобразил у ямы, куда сбрасывали трупы убитых славян, двух палачей: эсэсовца и еврея.

И нигде ни упоминания о страшной катастрофе европейского еврейства, даже в местах массовых захоронений убитых евреев на памятниках писалось только: жертвы немецко-фашистских захватчиков. Гонения на евреев, пожелавших выехать в Израиль, знаменитые «отказники», преследование за изучение иврита — дополнительные меты брежневского времени.

Такова была обстановка семидесятых годов.

Я вырос в Москве, в русифицированной семье, не знал еврейского языка, жил, работал, скитался по России, никакого антисемитизма по отношению к себе не испытывал. Я воевал за Россию, в России родился, в России и умру. Но я еврей. Мне было отвратительно то,

что творится в моей стране, на заре революции провозгласившей всемирное братство народов. Героям нового романа я дал библейские имена: Иаков и Рахиль. «И служил Иаков за Рахиль семь лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее».

В Симферополе, где жили родители моего рязанского друга, все оказалось чужим. Не мой город, не пробуждает воспоминаний, не дает толчка воображению. Я решил перенести действие романа на родину своих предков, родину дедушки и бабушки, в семью Рыбаковых, в город Сновск, впоследствии Щорс. Единственным оставшимся в живых человеком из этой семьи была младшая сестра моей мамы, тетя Аня, жившая в Москве на Преображенской улице.

Несмотря на свои семьдесят с лишним лет, тетя Аня сохранила светлый, ясный ум, поразительную память и неиссякаемый юмор.

— Почему мы — Рыбаковы? Откуда взялась эта фамилия? Этот вопрос возник только в Москве. Да, да, только в Москве. Приходим мы на Востряковское кладбище, в контору, спрашиваем, где могила Давида Рыбакова (ее брат, мой дядя), и вдруг из очереди какой-то мужчина говорит: «Смотрите, они уже забирают наши фамилии». А? Как это тебе нравится? Мы берем их фамилии! Только в Москве так могут сказать. А там, в Сновске, Рыбаковы всегда были Рыбаковы. Все это знали. И в Сновске знали, и вокруг Сновска. Откуда взялась такая фамилия? Кто знает, откуда берутся фамилии? Никто не знает! Рыбаковы — это Рыбаковы, Кузнецовы — это Кузнецовы, Сапожниковы — это Сапожниковы. Мой дедушка, значит, твой прадедушка, жил где-то в деревне, чем-то там занимался, пили водку, а где водка, там драка, где драка — там убийство. Кто-то кого-то убил, не знаю, кто убил, не думаю, чтобы это был мой дедушка, но на всякий случай он оттуда удрал в Сновск. Вот от него и пошли сновские Рыбаковы. И прозвали его «дралэ», оттого что он удрал из той деревни в Сновск. Откуда взялся Сновск? Я тебе скажу. Строили Роменскую железную дорогу, строили мост через реку Снов, от этой речки и поселок на-

звали Сновск. И твой дедушка там работал — таскал шпалы. Ты помнишь, какие кулаки были у твоего дедушки? О твоем дедушке можно писать романы. Когда ликвидировали нэп, опечатали дедушкину лавку. Товар, деньги — все осталось в лавке. И другие лавки опечатали. Все смолчали. А дедушка твой не смолчал... — Она покосилась на магнитофон: — При нем можно говорить?

— Конечно. Это только для меня.

— Что делает твой дедушка? Он берет Исаака, моего мужа, Толю — своего старшего сына и ночью идет с ними в магазин. Исаак и Толя боятся милиции, но дедушки боятся еще больше. Сзади за магазином был... Как это называется? Чтобы спускаться в погреб, в подвал?

— Люк?

— Вот именно, люк! Через этот люк твой дедушка спускается в подвал, из подвала поднимается в магазин, за ним Исаак и Толя. И что ты думаешь? Забирают деньги, самый ценный товар — несколько ящиков, вытаскивают через люк и у кого-то прячут. Кто бы мог решиться на такое? Только твой дедушка.

За месяц тетя Аня наговорила восемь кассет. Память, повторяю, удивительная, речь образная, ее интонацию я передал рассказчику, «Тяжелый песок» написан от первого лица. Я узнал историю и нашей, и других семей, сюжет мой обрастал событиями, судьбами, легендами — в эту среду я поместил Рахиль и Якова. Новелла о любви превращалась в семейную хронику.

В семидесятых годах на студии «Беларусьфильм» снимались мои телевизионные фильмы «Кортик», «Бронзовая птица», «Последнее лето детства». Каждый фильм по три серии.

Съемки производились в Белоруссии, я ездил в Минск, в другие города, туда, где при немцах были гетто, где истреблялись евреи, позже мы с Таней побывали в Вильнюсе, в знаменитых Понарах, где уничтожены десятки тысяч евреев. Передо мной вставала страшная картина еврейской катастрофы. Я прочитал все у нас изданное на эту тему, но, в сущности, кроме стенограмм Нюрнбергского процесса, ничего не было. Сарра Бабенышева, лите-

ратурный критик, моя приятельница, жившая в Переделкине, отважная женщина, связанная с диссидентами, снабжала меня номерами подпольного журнала «Евреи в СССР», где были нужные мне материалы.

Бесчеловечная программа истребления народов была Гитлером давно задумана и тщательно разработана:

«В недалеком будущем мы оккупируем территории с весьма высоким процентом славянского населения, от которого нам не удастся так скоро отделаться... Мы обязаны истреблять население, это входит в нашу миссию охраны германского населения... Нам придется развить технику истребления населения... я имею в виду уничтожение целых расовых единиц... Если я посылаю цвет германской нации в пекло войны, без малейшей жалости проливая драгоценную немецкую кровь, то, без сомнения, я имею право уничтожить миллионы людей низшей расы... Одна из основных задач во все времена будет заключаться в предотвращении развития славянских рас. Естественные инстинкты всех живых существ подсказывают им не только побеждать своих врагов, но и уничтожать их».

Уничтожение целых народов, и прежде всего славян, — такова генеральная программа Гитлера. Истребление шести миллионов евреев — всего лишь лаборатория, где немцы набивали руку, накапливали опыт.

Пусть подумают об этом те, кто поддается пропаганде нынешних фашиствующих молодчиков, величающих Гитлера Адольфом Алоизовичем.

Поехал я в Щорс, остановился в Доме колхозника, дали мне единственную комнату с телефоном — писатель из Москвы!

Небольшой полурусский-полуукраинский городок, те же два базара — старый и новый, я их помнил с детства, столовая возле станции, где задешево и вкусно можно пообедать наваристым борщом и бефстрогановом, пожарная каланча, вместительный дедушкин дом на Большой Алексеевской, теперь в нем горсовет, знакомые улочки и переулки, но живут здесь новые люди, от трехтысячного еврейского населения осталось двести человек. Представился

местному начальству, договорился с секретарем райкома поехать вместе по партизанским местам.

Вечером пришли ко мне несколько стариков евреев, знавших моего дедушку.

— Авраам Рыбаков, — почтительно сказал один старик, — кто его не знал? Все знали. Нет такого человека, который бы не знал Авраама Рыбакова.

Явились они с просьбой. Ехал комбайнер мимо кладбища, задел забор, тот обвалился, хотели поставить обратно, оказалось, столбы гнилые, надо менять, денег нет... Какие евреи здесь остались? Старики, дети... Кто помоложе, работает в депо, на лесопильне, на кожевенном заводе, сколько их? Раз-два и обчелся... Обратились к властям — не помогают. Кому нужно еврейское кладбище?

Я обещал побывать там, посмотреть. Назвал день, час, решил завезти туда секретаря райкома, когда мы поедем по партизанским местам.

Одного из стариков, бывшего местного парикмахера Бернарда Семеновича, я помнил по своим приездам в Сновск в детстве. Такой был элегантный, представительный господин, его парикмахерская служила в свое время подобием клуба местной интеллигенции. И теперь еще бодренький, чистенький, седой, благообразный, знал и помнил всех здесь живших, погибших, уехавших, приехавших. Во время войны был в эвакуации, возвратился сразу после освобождения города. Вместе с другими стариками ходили по дворам, пустырям, дорогам, лесам и полям, собирали в мешки останки убитых. Трупы истлели, но некоторых Бернард Семенович узнал по волосам. Останки эти они захоронили в братской могиле на кладбище, хотя никакого еврейского кладбища тогда уже не было, надгробные плиты растащили, а само кладбище по приказу немецкой комендатуры перепахали. Кладбище восстановили, евреи стали снова хоронить своих покойников, но вот незадача — забор обвалился.

Несколько дней Бернард Семенович был при мне, рассказывал о судьбе каждого жителя. После войны вернулись фронтовики, эвакуированные, расспрашивали местных

жителей о родных, близких, собирали крупицы сведений, зерна правды, обнаружились люди, чудом спасшиеся от расстрела, выползшие из могил, ушедшие в партизаны. Их рассказы Бернард Семенович запомнил и пересказал мне, водил к тем, кто остался жив, кто был свидетелем того, что произошло, водил к женщинам-полукровкам, которых не успели расстрелять, выясняя, какой в них процент еврейской крови.

Постепенно у меня создалась картина того, что происходило в Щорсе, я хорошо помнил своих дедушку и бабушку, дядей, ясно представлял себе Рахиль и Якова. И мог уже точно сказать, как бы каждый из них действовал в этих обстоятельствах, что бы делал и как бы себя вел. Все, что произошло с этими людьми, произошло со мной. Над городом опустилась ночь, я бродил в этом мраке по тем же улицам. И тени замученных брели рядом со мной от дома к дому.

В назначенное утро мы с секретарем райкома выехали в леса. Я попросил его по дороге заехать на кладбище. Там нас уже ждало еврейское население города, старики, пожилые, молодые, были и дети, кто родился тут после войны. Кто-то знал моих дедушку и бабушку, большинство не знало. Но здесь, в братской могиле, лежали их бабушки и дедушки, отцы и матери, братья и сестры. Безоружных, беззащитных, беспомощных, немцы расстреливали их из автоматов.

Пустынное кладбище с обвалившимся забором, почти без могильных плит, без памятников. Где покоятся здесь мои предки, мой дедушка, моя бабушка? Только молодые березки шумят листвой над безымянными могилами.

На братской могиле был установлен большой надгробный камень из черного гранита. На нем высечена надпись: «Вечная память жертвам немецко-фашистских захватчиков» — на русском языке. Под ней надпись на еврейском.

Я подошел, положил цветы, встал на колени и поцеловал землю, в которой лежал мой растерзанный народ... Стоявшие кругом вытирали слезы.

Показал секретарю райкома на забор, он велел шоферу

вернуться в райком, отдал нужные распоряжения, и мы уехали в лес.

Возвращались к концу дня той же дорогой. На кладбище стоял новый забор. Умеют у нас работать, когда захотят.

Вечером старики пришли благодарить за помощь.

— Скажите, — спросил я, — как вы перевели на еврейский язык эти слова: «Вечная память жертвам немецко-фашистских захватчиков»?

Бернард Семенович улыбнулся:

— Как перевели? Там написано совсем другое.

— Что именно?

— Там написано из Библии: «Веникойси, домом лой никойси...»

— Что это означает?

— Это означает: «Все прощается, пролившим невинную кровь не простится никогда».

Вернувшись в Москву, я сказал Тане:

— У меня есть заключительные слова романа.

25

Роман, названный мной «Рахиль», я сдал в «Новый мир». Твардовского уже не было, ушел и его преемник Косолапов — партийный газетный администратор, человек порядочный, в свое время опубликовал в «Литературной газете» стихотворение Евтушенко «Бабий Яр». Теперь журнал возглавлял поэт Наровчатов, неглупый, образованный, учился в ИФЛИ. В прошлом крепко выпивал, но бросил. Партийное начальство таких любит. К роману отнесется настороженно, печатать будет, только получив указание «сверху».

А куда еще идти? «Новый мир» напечатал два моих романа, анонсировал, хотя и безрезультатно, «Детей Арбата», отделом прозы руководит Диана Тевекелян, по отзывам моего переделкинского соседа драматурга Александра Крона, — человек прогрессивный, в 1962 году активно участвовала в разоблачении Н. В. Лесючевского, директора издательства «Советский писатель», в тридцатые годы писавшего тайные доносы на поэтов Бориса Корнилова и Николая Заболоцкого.

Отдал ей рукопись и стал дожидаться ответа.

Давал читать роман своим друзьям.

Вася Аксенов прочитал, приехал ко мне в Переделкино, стал у окна и, глядя не на меня, а на улицу, сказал сдержанно:

— У нас этого не напечатают, а напечатают — замолчат. На Западе... Другое дело. Там оценят.

В его сдержанности, в том, как стоял у окна, как говорил, не глядя на меня, я уловил намек на возможную помощь. Видимо, есть связи с западными литературными кругами, есть возможность передать туда мою рукопись, о

чем в осторожной форме он и дает понять. Мои догадки подтвердились, когда вышел «Метрополь».

— На Западе такой литературы достаточно, — сказал я, — надо здесь пробивать стену.

— Смотри...

Понравился роман и Семену Израилевичу Липкину. Его мнение я ценил высоко. Прекрасный поэт, ставший и классиком поэтического перевода, человек безупречной репутации. Участники аксеновского альманаха «Метрополь» заявили, что если хоть один из его авторов подвергнется каким-либо репрессиям, то все они в знак протеста выйдут из Союза писателей. Но когда за участие в «Метрополе» начались неприятности у Виктора Ерофеева и Евгения Попова, то лишь двое — Липкин и его жена, поэтесса Инна Лиснянская — остались верны данному слову (не считая Аксенова, он уехал в Америку).

Сложнее было отношение к «Тяжелому песку» у Юры Трифонова. Мы дружили, и я, старше его намного и прошедший через многое, понимал, каково ему было в 13 лет стать сыном «врага народа», потерять отца (расстрелян), мать (отправлена в лагерь). Он скрыл эти обстоятельства, поступая в Литературный институт, из-за чего потом разгорелось целое дело. Однако семинар прозы вел Константин Федин, конформист, приспособленец, но в молодости сам неплохо писал и в литературе разбирался. Дарование Трифонова Федин оценил, повесть «Студенты» выдвинул на Сталинскую премию. Получил ее Юра в 1951 году. Это было официальное признание, но навряд ли оно сделало его счастливым. Я думаю, что Трифонов острее многих из нас страдал от невозможности показать, что такое он есть на самом деле. Он дождался своего часа. В конце шестидесятых появилось несколько его рассказов, о которых сразу заговорили. Потом вышли «Обмен», «Долгое прощание», «Другая жизнь», «Дом на набережной», «Старик». Его книги резко повысили уровень советской прозы, он нашел свое слово, свою форму. «Правые» кусали Трифонова, а интеллигенция раскупала его книги мгновенно, ломилась в Театр на Таганке на спектакли «Обмен» и «Дом на набережной». В серии «Пламенные революционеры», выходящей в «По-

литиздате», он напечатал роман «Нетерпение» о террористах-народовольцах, высоко оцененный в ФРГ, где свирепствовал в то время террор «красных бригад», его похвалил сам Бёлль.

Вечерами Трифонов сидел в ресторане ЦДЛ, показывал друзьям хвалебные рецензии из Германии. Улыбался. Благодушествовал. Его признал мир. По-детски наивная дань долго ущемляемому самолюбию. Прочитав «Тяжелый песок», Юра со своей снисходительной усмешечкой проговорил:

— Толя, не обольщайся! Многие расхваливают твой роман, но это еще не вершина литературы.

А о «Детях Арбата», возвращая мне рукопись, вообще ничего не сказал, единственно, заметил:

— Я давал ее Саше Гладкову (автору пьесы «Гусарская баллада», много лет отсидевшему — *А. Р.*), он удивлен, как хорошо ты помнишь то время.

Я не обижался на Трифонова. Я любил и понимал его. Он трудно и долго шел к собственному успеху и был неравнодушен к чужому. Его дарование набирало силу. Но страдания, обостряя талант писателя, часто укорачивают его жизнь. В 1981 году, пятидесяти шести лет от роду, Трифонов умер.

20 июня 1977 года я получил письмо из «Нового мира»: «В подтверждение нашей беседы сообщаю, что, к сожалению, мы вынуждены возвратить Ваш роман «Рахиль», так как он не ложится в планы нашего журнала. *Д. Тевекелян*».

Этому письму действительно предшествовала «беседа», вернее, монолог Тевекелян о невозможности в данное время печатать роман. Монолог был довольн агрессивным, получалось, я сам виноват: написал «непроходимую» вещь.

Отнес роман в «Дружбу народов», вроде бы их тема. Заведующая отделом прозы Инна Сергеева оказалась категоричнее Тевекелян: «Мы этого печатать не будем. Тут — тридцать седьмой год. И война показана односторонне — в ней пострадали ведь не только евреи, но и другие национальности».

Что делать, куда идти? И у меня возникла мысль о журнале «Октябрь», где я когда-то печатал роман «Водители».

После смерти Панферова журнал возглавил Всеволод Кочетов, сталинист, журнал при нем стал оплотом реакционных сил. Интеллигенция презирала и журнал, и его редактора. В начале семидесятых годов Кочетов умер, главным редактором назначили Анатолия Ананьева, писателя фронтового поколения, о нем говорили неплохо. Он подобрал новую редколлегию, старался привлечь в журнал прогрессивных авторов. Но все его попытки изменить репутацию журнала были тщетными — «Октябрь» оставался синонимом реакционности. И я рассчитал, что Ананьеву нужна вещь, которая привлечет внимание.

Я не был знаком с Ананьевым, но знал члена редколлегии журнала Григория Бакланова, тоже писателя военного поколения, и попросил его передать мою рукопись Ананьеву. Бакланов прочитал роман.

— Знаешь, Толя, боюсь, не получится. Я уж не говорю о тридцать седьмом. Но евреи... Ананьев вряд ли станет рисковать.

— Я прошу об одном — передай рукопись Ананьеву и скажи: «Рыбаков просит прочитать».

— Ананьев сейчас в отпуске.

— Тем лучше. Положи ему на стол.

Он взял рукопись, отвез в журнал, положил на стол Ананьеву. Тот вернулся из отпуска, нашел на столе мой роман, взял, прочитал, позвонил мне, пригласил в редакцию и объявил, что согласен печатать, если я приму поправки. Что за поправки? Прочитают другие товарищи в редакции и дадут заключение.

Не буду отнимать у читателя время рассказом о перипетиях романа в журнале. Приведу лишь несколько пунктов из длиннейшего (на трех страницах) заключения:

«Редакционное заключение по роману А.Рыбакова «Рахиль».

Во всех эпизодах романа Великой Отечественной войне будет придан характер общенародного, общенационального бедствия, а нацизму — как идеологии, направленной против всего человечества, а не только против евреев.

Из романа будут полностью исключены имена Сталина, Молотова, Достоевского и связанные с ними рассуждения.

Полностью исключаются история ареста и гибели Льва Рахленко и вообще все, что имеет отношение к политическим процессам 37—38 гг.

Призыв Рахили должен быть обращен не только к мужчинам-евреям, а ко всем людям.

Название «Рахиль» заменить на другое.

Город Цюрих заменить на любой другой германоязычный город Швейцарии.

9.3.78 г. Зав. отделом прозы *Н. Крючкова*».

Все остальные пункты того же типа: убрать, снять, заменить, не «евреи», а вообще «люди» и так далее и тому подобное. Заключение писал заместитель главного редактора Владимир Жуков. Не понимал: сколько ни исключай из романа слово «еврей», роман о евреях, и никуда от этого не денешься.

Название романа я заменил на «Тяжелый песок», взял из Библии (книга Иова): «Если бы была взвешена горесть моя, и вместе страдания мои на весы положили, то ныне было бы оно песка морского тяжелее: оттого слова мои неистовы».

Труднее было с политической линией, с процессами тридцатых годов, характеристиками Сталина, Молотова. Думал: соглашаться, не соглашаться? Как по живому резать. Лев Рахленко в романе расстрелян, как «враг народа» — пришлось его бросить под поезд. Антисемитские листовки с текстом из Достоевского, которые разбрасывали немцы на фронте, я заменил текстами Кнута Гамсуна. Но все-таки что-то удастся сказать. Ведь даже саму цифру уничтоженных евреев — шесть миллионов — скрывали, впервые у нас она была названа в моем романе.

Из-за купюр и поправок роман, конечно, обеднел, но главный его пафос все-таки сохранился.

У «Октября» было одно преимущество, весьма существенное. Если журнал «Новый мир» собирался печатать роман в трех номерах, то цензор требовал представить ему весь роман и, только прочитав его целиком, визировал первый кусок. В надежном «Октябре» цензор читал очередной номер,

не требуя всего произведения. Так получилось и со мной. Прочитал цензор первую часть, вроде ничего крамольного — предреволюционный еврейский городок на Украине, — завизировал. А когда прочитал второй кусок, потом третий, хватился, но уже было поздно, никакие поправки я не принимал, а прервать печатание никто не решился. Это означало бы развязать очередной литературный скандал. В 1995 году в моем собрании сочинений я в «Тяжелом песке» восстановил все выброшенное.

Самое смешное произошло, когда потребовали Цюрих заменить на другой город, потому что в то время вышла книга Солженицына «Ленин в Цюрихе». Боялись ассоциаций. Даже родиться нельзя было в Цюрихе! Я заменил Цюрих на Базель.

Позже, когда роман выходил уже отдельным изданием, меня пригласили в ЦК КПСС и такой же бесцветный чиновник, как некогда принимавший меня здесь Маслин, прочитал по бумажке замечания по роману. Добавил почтительно:

— Пометки Михаила Андреевича.

Я не сразу сообразил, кто такой Михаил Андреевич, потом догадался — Суслов, главный идеолог партии, а вот не поленился, прочитал. Впрочем, «Тяжелый песок» читали тогда все, в библиотеках очередь.

Суслов учился в Институте красной профессуры. Серый, незаметный студент, известен был лишь тем, что у себя дома завел полную картотеку ленинских высказываний по экономическим вопросам. Его крошечная комната в коммунальной квартире была уставлена коробками с карточками, цитатами, алфавитами, каждое слово Ленина по экономическим вопросам учтено и зафиксировано, такой был аккуратный, педантичный архивист, сидел дома и вел картотеку, нелюдимый, малообщительный, ни во что не лез, потому и сохранился.

Как-то Сталину срочно потребовалось для доклада суждение Ленина по одному узкому экономическому вопросу. Расторопный секретарь Сталина, Мехлис, вспомнил о Суслове, своем однокашнике в ИКП. Кинулся к нему, тот мгновенно нашел требуемое. Сталин, хорошо знавший теорети-

ческий «потолок» Мехлиса, спросил, как ему удалось так быстро найти цитату. Мехлис рассказал о Суслове. С этого и началось возвышение Михаила Андреевича, ставшего в конце концов членом Политбюро. Такая версия о карьере Суслова была известна тогда в Москве.

Замечания его были мелочные, никакого значения для романа не имели, ничего не меняли. Я не стал возражать. Только подумал: «Чем же они занимаются, наши руководители? В стране нет дел посерьезнее? И почему они считают себя вправе вмешиваться в писательский текст?»

Интереснее было предъявленное мне чиновником письмо некоего профессора, утверждавшего, что «Тяжелый песок» — роман сионистский. «Не случайно, — писал профессор, — главный герой романа родился в Базеле, где происходил сионистский конгресс и некий Герцль выдвинул идею создания еврейского государства в Палестине».

Я положил перед чиновником «Редакционное заключение» журнала: был Цюрих, предложено заменить на Базель. На что прикажете менять в третий раз? И можно ли менять, когда роман уже прочитали тысячи людей?

Чиновник все-таки понял нелепость ситуации и развел руками.

26

«Тяжелый песок» имел успех. Читатели — евреи, русские, украинцы, белорусы — прислали множество писем, писали люди, уцелевшие в лагерях уничтожения, в гетто, в плену, дети, потерявшие родителей, родители, потерявшие детей... Судьбы страшные... «Вы писали обо мне, о моей семье, о моем городе...» И письма молодых: «Прочитав Ваш роман, я осознал себя евреем».

На Западе публикация «Тяжелого песка» рассматривалась как «поворот Кремля в еврейском вопросе». Это, конечно, не так. Просто я оценил обстановку в журнале «Октябрь», и выход романа совпал с некоторым ослаблением запрета евреям на выезд из СССР после Хельсинкских соглашений.

Советская печать роман замолчала. Хотя отдельные критики выражали мне свое одобрение. Вот как это происходило.

Останавливает меня в Союзе писателей один известный критик:

— Я плакал, и жена моя плакала, и мать жены в Минске плакала, а моя мать в Киеве просто рыдала, говорила, что вы описали ее родной город Сарны, знаете, есть такой город на Украине.

— Вот и прекрасно, напишите о романе.

— Неудобно. Скажут, еврей хвалит роман о евреях.

— Я тоже еврей, а написал, не постеснялся.

— Напечатают ли... Сомневаюсь.

— Я тоже не был уверен, что напечатают, а писал.

— Надо будет подумать... Но роман отличный. Я плакал, жена моя плакала, ее мама в Минске плакала, а моя мама в Киеве просто рыдала, все вспоминала Сарны.

Ничего он, конечно, не написал. Нынче ходит в больших забияках, осуждает покойных писателей за конформизм.

Как-то подошел ко мне в ЦДЛ Вася Аксенов.

— Есть такой корреспондент агентства «Рейтер» — Боб Эванс. Знаешь его?

— Нет.

— Хороший парень. Хочет с тобой познакомиться. Можно ему дать твой телефон?

— Пожалуйста.

Боб Эванс действительно оказался хорошим парнем и талантливым журналистом; горячий поклонник «Тяжелого песка», он много сделал для его популяризации в Англии.

Всем иностранным корреспондентам, которые звонили мне в те дни, я задавал один и тот же вопрос: «Вы читали "Тяжелый песок"?» Давал интервью только тем, кто роман прочитал. Так ко мне попал и Крейг Уитни из «Нью-Йорк таймс», человек одаренный. И только корреспонденту датского радио и телевидения Самуэлю Рахлину я задал еще один вопрос: не родственник ли он знаменитого нашего дирижера, народного артиста СССР Натана Рахлина, упомянутого мной в «Тяжелом песке»? Накануне я получил от него по поводу романа очень милое письмо. «Я родился, провел детство в этом обаятельном, дивном городке, хорошо помню обширную семью Рыбаковых».

Оказалось, да, дальний родственник. Отец Самуэля жил в Каунасе, бизнесмен, в 1935 году по делам поехал в Данию, в Копенгагене встретил девушку, женился, привез в Каунас. В сороковом году Литва вошла в состав СССР, Рахлиных, как «социально чуждых», выслали в Якутск, как это ни парадоксально, сохранив им тем самым жизнь — во время войны немцы уничтожили литовских евреев. Однако немцам не удалось уничтожить датских евреев, ночами, на лодках датчане вывезли их в нейтральную Швецию. В числе спасенных были и родители матери Самуэля — Рахили.

В сорок шестом году Рахиль узнала из газет, что в Москве открылось датское посольство, написала письмо

послу, рассказала свою историю. Яков Иванович Климов, директор селекционной станции, где работал отец Самуэля, поехал в Москву и сумел передать письмо в посольство. В 1946 году! При Сталине! Рисковал жизнью, а вот не побоялся! Посол разыскал в Копенгагене родных Рахили, началась переписка, ходатайства о выезде, длилось это десять лет, пока в 1956 году в Москву не приехал премьер-министр Дании Хансен и лично попросил Хрущева отпустить Рахлиных. В том же году они уехали в Данию. Самуэль родился в Якутске, там же учился в школе, рос как русский мальчик, владел русским языком. По окончании университета в Копенгагене, а потом и Колумбийского в Нью-Йорке приехал в Москву корреспондентом датского радио и телевидения, проработал семь лет, снял много замечательных фильмов, в том числе о похоронах Владимира Высоцкого.

Сэм и его жена Аннет часто приезжали к нам в Переделкино, так же как Боб Эванс с Евгенией и Крейг Уитни с Хайди. Молодые, веселые, красивые, приятно их было видеть у себя. Мы стали друзьями. Редко бывает, но эти три корреспондента понимали Россию, возможно, потому, что любили ее и знали язык. Таня покупала телячью ногу на рынке, пекла картошку в духовке, все рассаживались на террасе вокруг деревянного стола, поглядывая в окна: возле крыльца, в снегу играли дети наших друзей.

Кстати, в Копенгагене отец и мать Самуэля написали и опубликовали книгу «Шестнадцать лет в Сибири». Она стала бестселлером и выдержала больше десяти изданий.

«Тяжелый песок» перевели во многих странах. Договоры заключало наше агентство ВААП. Самая крупная сделка — с англо-американским издательством «Пингвин». Англичане быстро перевели, издали книгу и пригласили меня с Таней в Лондон на презентацию 2 июня 1981 года.

Поездка не состоялась.

3 июня лондонская газета «Ивнинг стандард» сообщила:

«Русский писатель Анатолий Рыбаков по непонятным причинам отменил в последний момент свой визит в Анг-

лию, цель которого состояла в популяризации его новой книги «Тяжелый песок». Советское литературное агентство вчера вечером направило телекс издательству, уведомив, что визит не состоится... «Мы не знаем, почему он не приехал и приедет ли он позже», — заявил озадаченный представитель издательства».

Причина отмены поездки станет ясной из моего письма секретарю ЦК КПСС М.В.Зимянину:

«Уважаемый Михаил Васильевич!

По случаю выхода в Англии и США романа «Тяжелый песок» я и моя жена были приглашены в Лондон. Однако накануне вылета мне позвонили из ВААПа и сообщили, что я должен ехать один, без жены...

Приехать без нее? Чем бы я это объяснил? Тем, что меня пустили, а мою жену нет? Так позорить себя и свою страну я, естественно, не пожелал и ехать один отказался.

Роман «Тяжелый песок» выходит во многих странах мира. Вероятно, меня опять будут приглашать и, возможно, опять с женой: западные издатели считают, что это придает мероприятиям по представлению книги больший вес и респектабельность. Можно с этим не соглашаться, но не считаться с этим нельзя.

Во всяком случае, я бы не хотел впредь попадать в подобные ситуации. Мне уже за семьдесят, мои отказы приехать приобретают ненужный резонанс, такое развитие событий во всех отношениях нежелательно.

Анатолий Рыбаков».

Ответа я не получил. Однако после письма меня стали выпускать за границу с Таней.

Как же это государство издевалось над нами! Причем без всякого смысла, во вред себе. Писатель получал ничтожную часть гонорара, остальное забирали ВААП (комиссионные — 25%!) и государство (налог на валюту). Я в Лондоне не был, распродалось меньше книг, в проигрыше осталась страна. Из-за того, что какому-то чиновнику захотелось покуражиться, мол, ничего, и один поедет! Не помрет! Им и в голову не могло прийти, что кто-то посмеет ослушаться. Когда я сказал, что без жены

не поеду, мне стали звонить каждый час, уговаривали, грозили — никуда и никогда меня больше не выпустят. Я ответил: «Я не позволю так унижать мою жену. Ее достоинство мне дороже и важнее всех ваших запретов и отказов».

После этого нельзя было без улыбки читать статью датской газеты «Юланд-постен», вышедшую в дни презентации «Тяжелого песка» в Копенгагене и озаглавленную: «Советский писатель в атаке своего обаяния»:

«Может быть, случайность, что Рыбаков, в отличие от многих других советских писателей, смог отправиться в подобное турне? И может ли быть случайностью то, что его жена Т. Рыбакова поехала с ним? Многочисленные случаи совершенно противоположного характера заставляют нас поневоле быть подозрительными, так как мы привыкли, что никакая советская инициатива не носит случайного характера, мы насторожились».

Вот так мы и жили. На родине в нас подозревали дезертиров — мол, удерем; за границей — уж не шпионы ли?..

«Тяжелый песок» издан в 26 странах. Хорошо продавался. Пресса большая. Приведу лишь заголовки некоторых статей, напечатанных в газетах разных стран: «Роман переворачивает душу», «Долгое молчание разбито», «Дыхание истории», «Еврейская семейная сага», «Высокая песня любви», «Семейная хроника, продолжающая старую русскую традицию», «Сильный одинокий плач», «Беспрецедентное изображение страданий и героизма евреев», «Советским людям нравится еврейская сага».

Наиболее полный анализ романа дан в статьях писателя, лауреата Нобелевской премии мира, Эли Визела, опубликованных во французских и американских газетах.

В СССР роман «Тяжелый песок» издали только на русском языке. Больше нигде не разрешили.

Не будем ворошить прошлое. Обратимся к нынешним временам...

Всего лишь пятьдесят лет назад окончилась самая страшная в истории человечества война. Советский Союз потерял в ней 27 миллионов жизней. В стране нет семьи,

не получившей «похоронки» о гибели сына, мужа, брата, отца. Еще живы миллионы участников войны — ветераны, инвалиды, люди, перенесшие ужасы оккупации, лишения, голод и холод военного лихолетья, не все еще найдены и не все тела погибших солдат захоронены, еще тянется трупный запах из печей уничтожения, а по улицам российских городов уже маршируют наши собственные фашисты, в сапогах, черных рубашках, с портупеями через плечо, восхваляя Гитлера, прославляя изменников и предателей. Свастика раскинула свои паучьи щупальца на стенах домов, с трибун, с газетных полос несутся антисемитские, погромные призывы. Их вдохновители — писатели, имеющие репутацию чуть ли не совести народа.

Прошло более полувека со времени уничтожения Гитлером шести миллионов евреев — вечная, незаживающая рана в сердце еврейского народа. Память о невинно погибших свято бережет государство Израиль.

Мы с Таней дважды были в Израиле. Первый раз по приглашению одного из руководителей государства Израиль — Шимона Переса, второй — при вручении мне диплома почетного доктора философии Тель-Авивского университета.

Шимон Перес пригласил нас на сейдер — традиционный пасхальный ужин. Обыкновенная квартира в многоэтажном доме, на лестничной площадке сидит солдат — охрана. Дружная семья, дети, внуки, зятья, невестки, сын летчик с приветливым, мужественным лицом. Во главе стола — хозяин, Шимон Перес. На столе традиционная пасхальная еда, перед каждым книга — агада, у нас с Таней на русском языке, каждый по очереди читает свой кусок... В памяти всплывает дедушкин дом, такой же сейдер, во главе стола — дедушка, рядом с ним — я, самый младший, задаю традиционные вопросы, и дедушка нараспев мне отвечает. Этот обряд евреи соблюдают уже тысячи лет, где бы они ни были, где бы ни жили.

Мы объехали весь Израиль. Я бывал во многих странах, но потрясение испытал только здесь. Палестина — колыбель человеческой духовности. Здесь, на камнях

Иерусалима, в песках Синая, зародились главные мировые религии. «Пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит». Эти камни, пески, небо, звезды — все это вечное, непостижимое поднимает человека к высотам мысли, заставляет искать истину.

В эту страну еврейский народ вернулся после двух тысяч лет изгнания.

История знает великие, большие и малые переселения народов. Это были переселения со своей территории на чужую. Евреи переселились на свою. Повторяю, я — русский писатель, родился в России и умру в России, но я был счастлив, увидев еврейский народ на его земле. Я, старый солдат, прошедший войну от Москвы до Берлина, не мог без волнения смотреть на израильских юношей и девушек в военной форме с автоматами в руках. Гонения, унижения, местечковая забитость, колючая проволока гетто не смогли убить в этом народе человеческое и национальное достоинство.

Тель-Авивскому университету я подарил свой архив «Тяжелого песка», в том числе много тысяч читательских писем.

27

Успех «Тяжелого песка» окрылил редакцию журнала. На обложке «Октября» появился анонс: «В будущем, 1979 году опубликуем роман А. Рыбакова “Дети Арбата”».

Анонсировали, не читая. А прочитав, дали задний ход.

— Впечатление сильное, — сказал Ананьев, — очень бы хотелось роман напечатать. Имел бы громадный успех, но цензура не пропустит. Значит, надо обращаться в ЦК. Я могу обратиться к Беляеву, в крайнем случае к Шауро, это мой потолок. Выше обращаться не имею права. Но ни Беляев, ни Шауро этого на себя не возьмут.

— Но они сами могут обратиться выше.

— Никогда! Обратиться выше — значит оценить роман положительно, а вдруг наверху к нему отнесутся отрицательно? Значит, у них прокол. Да им просто скажут: вы на это дело поставлены, вы и решайте. А печатать такой роман они в жизни не посмеют... Ты сам, лично, должен действовать. Ты — свободный художник, ты — известный писатель и можешь обратиться к кому угодно, даже к товарищу Брежневу. Он твой роман вряд ли прочитает, но референты прочитают. И хорошо бы найти к ним ходы.

— Я не знаю «ходов». Нравится роман — набирай. Цензура отклонит — будем бороться.

— Это негодный путь. Как только цензура его зарубит, трудности увеличатся неимоверно. Надо сразу пробиваться наверх. Сейчас, после «Тяжелого песка», твои акции очень высоки, с тобой не могут не считаться, пожалуйста, ссылайся на меня, пиши и говори всюду, что, если будет разрешение, я немедленно печатаю. Я готов за твой роман жизнь положить. Но мои возможности ограниченны. Пробивай роман наверху. Подумай, Толя!

— Подумаю.

Я считал нужным напоминать читателям о том, что «Дети Арбата» существуют с 1958 года, и повторял это постоянно. В 70-м — в газете «Труд», в 71-м — в «Московском комсомольце», в 72-м — в «Гудке», в 74-м — в «Литературной газете», «Литературной России» и «Вечерней Москве», в 75-м — в «Московской правде» и «Заре Востока», в 79-м — в «Вечерней Москве» и «Пензенской правде», в 80-м — в «Литературной газете», в 81-м — опять в «Вечерней Москве» и в «Московском литераторе». Упоминал в каждом своем выступлении по радио и на телевидении, на встречах с читателями читал отрывки из романа.

В 81-м году сделал еще одну попытку публикации. Журнал «Дружба народов» напечатал Юрия Трифонова, Василя Быкова, еще несколько серьезных авторов. Главного редактора Баруздина я знал давно, вместе ходили когда-то в детских писателях, и я дал ему прочитать роман.

Вот его ответ (в сокращенном виде):

«Сразу же поздравляю, это не «Кроши» и даже не «Тяжелый песок», это намного выше и серьезнее. Есть все, пропущенное нами, твоими современниками, картины эпохи тридцатых годов. Все поразительно точно, достоверно и *весомо.* Есть образ Арбата старого, с его переулками и закоулками, дворами и домами. Все это уходит ныне, а ты, умница, сохранил в своей памяти и нарисовал. Это прекрасно.

Женские образы вообще все удались, естественны и хороши. Вплоть до искусственного выкидыша. И все в этих образах точно — и психологически, и по времени действия, и по одежде, и по внешнему облику.

И еще одно — чисто личное, не удивляйся. Я — первый из советских мальчишек напечатал в газете в 1937 году свое первое стихотворение: «Мне сегодня одиннадцать лет./Я очень жалею, что не могу выбирать в Верховный Совет./ Я отдал бы свой голос тогда/ За Сталина — любимого вождя...»

Что меня категорически не устраивает?

Сталин. Он написан тобой заведомо предвзято.

Саша Панкратов. Его необоснованному заключению, тюрьме, отправке в лагерь ты посвящаешь львиную долю страниц. После «Одного дня Ивана Денисовича», произведения во всех отношениях сомнительного и не появившегося в нашей печати, если бы не Н. С. Хрущев, и то многое на эту тему дано позитивнее...

А поскольку это только первая книга романа, не впадай, ради бога, в такую же крайность в книге второй. А вообще — подумай!

16 марта 1981 г. Переделкино.

С. Баруздин».

Это написано почти через тридцать лет после смерти Сталина. Вот какова была магия этого имени. Такую стену предстояло пробить «Детям Арбата».

Ужесточалось время, я опасался за судьбу романа. В начале восьмидесятых нашим московским друзьям удалось переправить «Детей Арбата» в Хельсинки — их сыну, женатому на финке. Врач, хороший парень, спокойный, усердный мой читатель, ничего без моего ведома с рукописью делать не будет. Я не собирался печатать роман за границей, не терял надежды опубликовать дома, но запрятать его подальше надо.

За восемнадцать лет правления Брежнев опять загнал страну в сталинский хлев. Его собственная ограниченность соответствовала ограниченности правящей номенклатуры. По Маяковскому: «близнецы-братья». Сталин, обновляя аппарат, уничтожал один его слой за другим. Хрущев реорганизациями и перемещениями тасовал кадры. При Сталине было страшно, при Хрущеве — неспокойно. Брежнев жил сам и давал жить другим.

На войне политработников типа Брежнева мы видели на передовой в перерывах между боями: выдавали партбилеты, произносили казенные слова и смывались в свои тепленькие политотделы, писали отчеты и инструкции, готовились к юбилейным датам, принимали приезжающих артистов, хватали ордена. Ни за что не отвечали, поддерживали один другого, не склочничали, обнимались, целовались.

Эти повадки Брежнев сохранил и на «гражданке». Рослый, красивый, с густыми черными бровями — «чернобровый бровеносец», он, еще будучи Председателем Президиума Верховного Совета, по-нынешнему — Президентом, говаривал на приемах в Кремле: «За что меня тут держат? Танцую хорошо, потому и не прогоняют». Откровенничал с приятелями: «Люблю жизнь». Став Генеральным секретарем ЦК, руководителем страны и партии, уже *после* войны превратился в маршала, четырежды Героя Советского Союза, получил орден Победы, которым награждается только полководец, выигравший решающее сражение, стал лауреатом Ленинской премии мира, лауреатом Ленинской премии по литературе за написанные не им книги, навесил на себя бесчисленное количество советских и заграничных орденов. Представ в таком виде перед оторопевшими однополчанами, ветеранами 18-й армии, помнившими его всего лишь полковником, заметил иронически-шутливо: «Дослужился», мол, ничего не поделаешь, дают — бери, идет в руки — почему не взять, и вы, ребята, берите, не теряйтесь.

И «ребята» вокруг него не терялись, брали, хапали, набивали руку в малом воровстве, чтобы потом открыто и безнаказанно разворовать все государство.

С «литературной деятельностью» Брежнева связан такой эпизод.

На публикацию «Тяжелого песка» поступили заявки от крупнейших французских издательств. Однако ВААП за мизерную плату заключил контракт с никому не известным издательством «Пигмалион». Увидев книгу, я пришел в ярость: безграмотный перевод, бесчисленные купюры, выпущены целые главы. Будучи во Франции, я разговаривал с владельцем «Пигмалиона», поразился его самоуверенности и расторг договор. Оказалось, что ВААП отдал мой роман в «Пигмалион» за то, что тот издал очередное сочинение Брежнева. Наша «Международная книга» скупила тираж, а всему миру объявили, что во Франции книга Брежнева мгновенно разошлась. С таким же «успехом» разошлась она и в других странах.

Тогда я ездил во Францию на какую-то конференцию

в составе делегации ВААПа. Делегатов на таможне не досматривают, и я вывез в Париж еще один экземпляр «Детей Арбата» и отдал на хранение моей большой приятельнице — дочке русского эмигранта. Таким образом, за границей хранились два экземпляра романа, руки наших кагэбэшников до них не дотянутся.

Моя приятельница работала в фирме, производящей полиграфическое оборудование. Как переводчица, приехала со своим шефом в Москву и сказала мне следующее. Близкий друг их семьи, русский, живет в Нью-Йорке, связан с журналом «Тайм». Часто бывает в Париже и, прочитав у нее мой роман, предложил ознакомить с ним руководство «Тайма». Если появится возможность печатания, то реклама «Тайма» обеспечит роману успех. Такой шаг ей представляется полезным и совершенно безопасным. «Тайм» — солидный журнал, без моего ведома ничего предпринимать не будет.

За несколько дней до ее отъезда я дал согласие. Пусть и в «Тайме» знают, что такой роман есть.

Возвращаюсь к Брежневу.

Человек низкой культуры, но ровный, спокойный, «свой парень», не забывая себя, не забывал и «своих», раздавал ордена, дачи, любил и поощрял застолья, принимал подарки и другим разрешал, на взятки смотрел сквозь пальцы, главное — «стабильность и порядок». Все в стране серело, приходило в упадок, глядя на пьющее начальство, народ еще больше наваливался на водку, но, в отличие от начальства, пил без закуски.

Свергнув Хрущева, каждый из верховных руководителей сам претендовал на его место, однако, боясь друг друга, сошлись на Брежневе — самом слабом и посредственном, не принимали его всерьез, фигура временная. Его полная некомпетентность была благом — они могли делать за его спиной, что пожелают, могли спокойно готовиться к будущей схватке за власть. Забыли, что он выпорхнул из того же, что и они, гнезда — из аппарата, подковерные аппаратные игры знал не хуже, а может быть, и лучше, по той простой причине, что ничего другого вообще не знал. Они ошиблись так же, как четверть

века спустя ошиблись некоторые наши «демократы», приняв Ельцина за «простачка с кулаками»: протаранит для них стену коммунистического бастиона и сойдет со сцены. Пока соратники Брежнева, потирая руки, соображали, что к чему и как быть дальше, он потихоньку, полегоньку, но довольно быстро сам их устранил и расставил на ключевые позиции преданных людей из Днепропетровска и Молдавии, возвышением своим обязанных только ему. Благодаря их преданности, Брежнев и продержался до самой своей смерти, хотя уже в 1974 году обнаружилась его неизлечимая болезнь (склероз сосудов мозга). Он потерял способность не только мыслить, но и, выступая на телевидении, внятно читать написанные ему тексты. Перед страной предстал маразматик, который бессвязно бормотал ему самому непонятные слова, давая повод для сочинения бесчисленных анекдотов. Но свое окружение он устраивал.

Подражая Сталину, Брежнев пытался ознаменовать свое правление грандиозными стройками — БАМ (Байкало-Амурская магистраль), дорогостоящими, бессмысленными проектами поворота сибирских рек, мелиорации и гидроэнергетики, ликвидации малых деревень — все это нанесло непоправимый ущерб экономике и экологии. Ввел танки в Прагу, задушив первую попытку придать социализму человеческое лицо. Затеял преступную и бездарную афганскую авантюру, немыслимые средства вкладывал в военную промышленность, тратил миллионы на поддержку антинародных диктаторских режимов в Азии и Африке, обескровил народное хозяйство. Не заметил и, по тупости своей и своего окружения, не мог заметить происходящей в мире технической революции и обрек страну на отставание от мировой цивилизации.

Из руководителей того времени я встречался только с Алексеем Николаевичем Косыгиным, Председателем Совета Министров СССР, чем-то он выделялся в правящей верхушке. Окончил Текстильный институт, работал директором текстильной фабрики, министр текстильной, потом легкой промышленности, во время войны организовал эвакуацию предприятий на Восток, молчаливый, знающий

дело технократ, не лез на трибуны, держался в тени, особняком, был отдален и отделен от окружающей его камарильи. Единственный человек в правительстве, похожий на интеллигента.

Несколько лет осенью я ездил в Кисловодск, встречал там Косыгина. Как и другие отдыхающие, он совершал пешие прогулки по дорожкам терренкура до «Храма воздуха», а иногда и до «Красного солнышка». Гулявшие по терренкуру незнакомые люди здоровались с ним: «Здравствуйте, Алексей Николаевич, добрый день!» И он их приветствовал. Мне это нравилось. В его демократичности не было рисовки.

Познакомились мы в Чехословакии, в Карловых Варах, лечились в одном санатории «Ричмонд», иногда ходили вместе к источнику пить карловарскую воду, он был молчалив, а я посмеивался над номенклатурными обитателями «Ричмонда». Один заместитель министра, не помню точно его фамилии, вроде бы Шеленков или Шуленков, — толстенький, седовласый, благообразный: жилет, белоснежная рубашка, галстук, черные пальто, шляпа и зонтик — как-то явился в гостиную санатория с «потрясающей новостью»: оказывается, до 1918 года Чехословакия «подчинялась» Австрии. Вычитал в путеводителе, не знал, бедняга, что до 1918 года Чехия и Словакия входили в состав Австро-Венгрии. Я на этом поплясал, порезвился, Косыгин только усмехнулся: знал уровень своих министров.

Я обратил его внимание на красиво оформленные витрины магазинов.

— А у нас в витринах пирамиды консервных банок. Толкуем о реформах, а где они?

Он шел молча, потом хмуро проговорил:

— Какие реформы? «Работать надо лучше, вот и все реформы!»

Цитировал чьи-то слова.

— Леонид Ильич так считает?

— Многие так считают, — уклончиво ответил он.

Я видел перед собой человека, потерявшего надежду.

* * *

Послехрущевская геронтократия вымерла в первом пятилетии восьмидесятых годов: Косыгин — в 80-м, Суслов и Брежнев — в 82-м, Пельше — в 83-м, Андропов и Устинов — в 84-м, Черненко — в 85-м. С ними ушел в прошлое брежневский период нашей истории. Его потери в экономике, политике, морали были не меньше, чем в сталинскую эпоху. Впрочем, не будем их сравнивать. Одна эпоха вытекала из другой и завершилась тем, что предыдущая подготовила — крахом Советского государства.

Годы брежневского правления называют «спокойными». Это было спокойствие обреченных. Не было трагедий и ужасов сталинского террора, но неумолимо надвигались распад и хаос. Маразм лидера распространился на общество, искалечил целые поколения, они стали легкой добычей нынешних хищников и мародеров.

28

Образованные люди нужны были Сталину для создания индустриальной державы. Но интеллигенция стремится мыслить самостоятельно, это опасно для государства, основанного на единомыслии. Сталинская философия: интеллигенцию надо или уничтожить, или купить. А еще лучше — одних уничтожить, других купить.

Брежнев тотальный террор заменил выборочным, неугодных сажал в психушки, высылал из страны, создал разветвленную контролирующую бюрократическую систему. В Москве было три Союза писателей — СССР, РСФСР и Московская писательская организация. Все со своими председателями, секретарями, заместителями, помощниками, консультантами, референтами, делопроизводителями. Сверху — кураторы, инструкторы, инспекторы, уполномоченные, цензоры, ЦК КПСС, горком, райком, Министерство культуры, Главлит. Все это войско должно было присматривать за писателями, чтобы не вольничали, не умствовали, не критиканствовали, а воспевали бы, восхваляли и прославляли. Литературное и надлитературное чиновничество было частью правящего класса, столь же подозрительное, кастово-высокомерное.

Председатель Московской писательской организации Сергей Михалков, один из соавторов гимна СССР, отразил философию этой касты в басне «Трудный хлеб»:

Трудился добрый конь в упряжке при подводе,
Он на конюшню привозил овес,
А вывозил навоз...
Он знал, что рысакам и чистокровкам
То, что положено по штату, то дано.
И конь завидовал их стойлам, их подковкам,

Подстриженным хвостам, холеным гривкам, но...
Ни разу он не видел ипподрома...
Так гражданин иной судить-рядить берется
О тех, кто на виду, и как кому живется.

Кабинет Михалкова со всеми телефонами занимал оргсекретарь Ильин, Михалков появлялся на полчаса в день, не снимая пальто, клал руку на трубку вертушки. Любил помогать людям, спрашивал:

— Кому звонить?

Ильин:

— Промыслову. (Председателю Моссовета — *А. Р.*)

Михалков *(набирает номер)*:

— Владимир Федорович? Михалков приветствует. Здравствуйте. *(Прикрывает трубку ладонью.)* Что просить?

Ильин:

— Квартиру... Коротун...

Михалков *(в трубку)*:

— Я насчет квартиры товарищу Коротуну... Сколько можно, Владимир Федорович, просим, просим, пишем, пишем... Что? *(Прикрывает ладонью трубку.)* Когда обращались?

Ильин:

— Два года назад... Персональный пенсионер.

Михалков *(в трубку)*:

— Два года пишем... Ну, как можно? Старый член партии, персональный пенсионер, а ведь работает, прекрасный писатель... Крепкий мужик... А как же, я его знаю лично, наш золотой фонд... Спасибо, Владимир Федорович, спасибо. Что? *(Прикрывает ладонью трубку.)* Как имя-отчество?

Ильин:

— Галина Васильевна.

Михалков *(в трубку)*:

— Галина Васильевна... Нет, нет, вы не ослышались. Повторяю: Галина Васильевна...

Ильин:

— Коротун.

Михалков:

— Галина Васильевна Коротун, взяли на заметочку, Владимир Федорович? Спасибо, дорогой, доброго здоровья.

И ничего, сходили такие «опечатки», свои ведь люди, чего там!

Еще в пятидесятых годах, зимой, жил я месяц в Малеевке, за столом со мной сидел некто Поликарпов, человек приветливый, общительный. После обеда мы с ним обычно прогуливались. Как-то он показал на один корпус: «При мне строили».

Оказалось, тот самый Поликарпов, который был «политическим комиссаром», фактическим хозяином в Союзе писателей, оргсекретарем. Мало кто в то время не знал знаменитой сталинской фразы, брошенной Поликарпову, когда тот стал жаловаться на писателей: «Других писателей у меня для товарища Поликарпова нет, а другого Поликарпова мы писателям найдем». На следующий день Поликарпов очутился в Педагогическом институте заместителем ректора по хозяйственной части. В Малеевке, как я заметил, писатели его сторонились, слишком крупная фигура еще недавно. Со мной Поликарпов был прост, приветлив, мы общались.

После смерти Сталина Поликарпова, опять же «как пострадавшего за правду», возвратили на ответственную партийную работу, а оттуда, по требованию Шолохова, назначили на прежнюю руководящую должность в Союз писателей.

Лет через пять отправился я к нему с какой-то просьбой. В приемной сидело несколько человек, ждали Поликарпова. Наконец он появился, проходя к себе, бросил хмурый взгляд на ожидавших, видно, осточертели все эти посетители-просители, увидел вдруг меня, узнал, заулыбался, остановился:

— Ко мне?

— К вам.

— Заходи.

— Я в очереди.

Приветливое выражение мгновенно сошло с его лица, отвернулся, прошел к себе.

Поликарпов разговаривал со мной сухо, казенно, неприязненно, в просьбе моей отказал, был оскорблен тем, что я пренебрег его вниманием, не захотел воспользоваться привилегией, которую он мне предоставил, — пройти к нему, минуя других посетителей. Значит, не *их* человек, чужой.

Еще ближе я узнал нравы Союза, когда три года возглав-

лял приемную комиссию Московской писательской организации. Было это в конце шестидесятых, вспоминаю то время с удовольствием: приняли тогда в Союз (с боями!) много талантливых людей. Вот несколько пришедших мне на память имен — это к сведению современных пустозвонов, которые утверждают, что «советской литературы» как таковой вообще не существовало: В. Шукшин, В. Маканин, И. Грекова, М. Рощин, Гр. Горин, Вл. Корнилов, Э. Радзинский, А. Гребнев, Г. Шпаликов, Л. Разгон, Л. Аннинский, Ю. Буртин, Ст. Лесневский, П. Палиевский, В. Кожинов, Е. Солонович, В. Орлов. А ведь я назвал малую долю тех, кого приняли за три года... Кстати сказать, за время моей работы в комиссии мы отказали в приеме 130 литераторам. Через некоторое время я почти всех их нашел в списке членов Союза.

Как председатель приемной комиссии, я входил в состав секретариата Московской писательской организации. В марте 71-го года меня в секретариат не ввели и от руководства комиссией отстранили — я отказался одобрить исключение Солженицына из Союза писателей. Замечу кстати, что я ни разу — ни устно, ни письменно — в подобного рода акциях не участвовал, ни под одним «осуждающим» или «одобряющим» письмом моей подписи нет. Последний случай с «Метрополем» в 1979 году. Позвонили из Союза, попросили «просто прочитать». Я ответил:

— Среди авторов «Метрополя» много моих друзей, и если я захочу его «просто прочитать», то возьму у них, а не у вас. Вам требуется осуждение альманаха, от меня вы этого не дождетесь.

Впоследствии я просмотрел «Метрополь». Да, там есть слабые вещи, есть и обычная, например для Виктора Ерофеева, пошлятина, но там выступили такие писатели, как Аксенов, Ахмадулина, Битов, Вознесенский, Липкин, Лиснянская. И дело не в том, кто и что там опубликовал, а в том, что «Метрополь» был первым отчаянным прорывом в бесцензурную печать, мужественной попыткой сбросить с литературы оковы государственно-партийного контроля, разорвать щупальца чудовищного, но уже начавшего издыхать спрута, утверждением права писать свободно. Недаром так перепугалось на-

чальство, не случайно устроило вселенскую проработку, привлекло к этому десятки литераторов. Пусть публично осудят отщепенцев! И многие осудили. Думаю, руководство Союза не рассчитывало, что я буду в их числе, достаточно хорошо меня знало. И я их хорошо знал, видел их игры со мной, держат «на карандаше». Верченко, секретарь Союза, сказал: «Что-то много к тебе иностранцев ездит на дачу». Я ответил: «“Тяжелый песок” издают во всем мире, вот иностранцы и ездят». Как-то позвонил мне из американского посольства советник по культуре, пригласил на спектакль приехавшего в Москву театра двух актеров. Тем же вечером звонит мой однополчанин по 4-му гвардейскому стрелковому корпусу Костя Данилин: «Толя, что у тебя за связи с американским посольством?» В армии Костя был особистом, после войны служил в той же системе, однако не побоялся, предупредил. Хороший парень, я вывел его в «Тяжелом песке» под фамилией Данилов.

В опубликованных ныне архивах КГБ обнаружился доклад в ЦК партии о том, что рукопись романа «Дети Арбата» «представляет большой интерес для центров идеологической диверсии». Естественно, это отражалось на отношении ко мне в Союзе писателей, ущемляли даже по мелочам.

25 января 1983 года в Доме литераторов устроили вечер памяти писателя Александра Бека. Приурочили к его восьмидесятилетию. Казалось бы, такой вечер должен был вести я — председатель комиссии по литературному наследию Бека. Не допустили. Поручили вести другому.

Я принял это спокойно. Но лишить себя трибуны не позволил — Бек был моим другом. Пришел и выступил. Я сказал:

— «Волоколамское шоссе» Бек писал в сорок втором году, в самый разгар войны, опубликовал в сорок третьем. Эту великую книгу написал не писатель с майорскими погонами, а рядовой солдат из ополченцев. Мы, люди, прошедшие войну, знаем, что это такое. Сколько километров на попутных машинах, а то и пешим порядком должен был отмахать, сколько бумажек и мандатов предъявлял на контрольно-пропускных пунктах рядовой, в неуклюже сидящей на нем шинели, не умеющий стоять по стойке «смирно», да еще однофамилец гитлеровского фельдмаршала Бека и по отчеству «Альфредович». Рядовой Бек все это преодолел и первый написал

книгу о Победе, потому что то сражение было нашей первой победой, написал в разгар боев, не ожидал и не получил никакой награды. За всю свою жизнь Бек не был награжден ни одним орденом, ни за войну, ни за литературу.

Роман «Жизнь Бережкова» был закончен в 1949 году, а опубликован только через семь лет, во времена «оттепели». Роман «Новое назначение» Бек вручил «Новому миру» в 1964 году, роман трижды набирался, трижды менял название, ежегодно анонсировался, десятки раз обсуждался писательской общественностью, эта титаническая борьба продолжалась восемь лет и закончилась смертью автора в 1972 году. Что страшного в том романе? Спор Сталина с Орджоникидзе? Они не люди, они не спорили? Когда кончатся табу на такие простые, элементарные вещи? Ведь без них мы не можем писать историю своей страны, своего народа! Сталин — это тридцать лет нашей жизни, как же мы можем не касаться его в литературе!

Роман Бека «Новое назначение» должен быть опубликован. Двадцать лет лежит он под спудом. Это позор для всех нас, позор для нашей литературы. Вместе с опубликованием романа Бека надо решительно пересмотреть давно отвергнутые жизнью запреты и ограничения. Без этого литература не может развиваться.

Бек был человеком необычным, простодушным, искренним, доверчивым, ребячливым, для многих странным, непонятным, даже неприемлемым. Автор всемирно известного «Волоколамского шоссе», он не умел даже казаться маститым. Общительный, доступный, веселый, наивный, он хотел казаться лукавым — никого он не обманывал, только самого себя. Бек поразительно не умел устраивать свои дела, не умел находить время для своих реплик и шуток. Зато, как никто другой, он умел находить время для своих книг.

Первый очерк Бек опубликовал в 1919 году в красноармейской дивизионной газете, ему было тогда шестнадцать лет. Он вошел в литературу шестнадцатилетним, шестнадцатилетним остался на всю жизнь. И таким умер.

В том же 83-м году состоялся мой первый разговор в ЦК о «Детях Арбата».

Еще не опубликованный, роман занимал определенное ме-

сто в общественном сознании. М. С. Горбачев в своих мемуарах заметил о моей рукописи: «Она стала общественным явлением еще до того, как вышла в свет». Не зря я упоминал о «Детях Арбата» в течение двадцати лет в каждом своем устном и печатном выступлении, давал читать рукопись в редакции журналов, писателям, просто своим знакомым и, может быть, главное: после успеха «Тяжелого песка» я побывал во многих странах и на вопрос о том, что пишу, отвечал: «У меня готов роман "Дети Арбата"». Мои издатели стали обращаться в ВААП с просьбой прислать им рукопись.

Корреспондент «Нью-Йорк таймс» Герберт Мигданг прямо спросил: «Если ваш роман не печатают в СССР, почему вы не издаете его на Западе?» Я ответил: «Роман должен быть издан прежде всего у меня на родине, там он сыграет свою роль, а на Западе это будет обычный эмигрантский роман». Да, я хранил рукопись на Западе, но понимал: «Детей Арбата» надо издать прежде всего у себя, в СССР, только так я смогу участвовать в преобразовании страны.

В ЦК КПСС отделом культуры заведовал некий Шауро, крупный партийный функционер, как говорили, хорошо играл на балалайке, потому, наверное, и поставили руководить культурой во всесоюзном масштабе. Сектором литературы ведал Альберт Андреевич Беляев, в прошлом комсомольский работник, а до того матрос торгового флота, знал английский язык, в общем, ходил в «филологах». Человек лет сорока с холодными голубыми глазами. Встречая меня в Союзе писателей, всегда просил прийти в ЦК — «просто так, побеседовать». Я из вежливости обещал, но не ходил. Последнее время его приглашения становились настойчивее, я понимал, что это связано с «Детьми Арбата», ситуация с ними подходила к своей критической точке, мне надо было выяснить *их* позицию. Я посетил Беляева в его кабинете в ЦК КПСС на Старой площади.

— Рад вас видеть, Анатолий Наумович, — приветствовал меня Беляев, — на последнем съезде писателей мы стояли вместе с товарищем Шауро, я вас пригласил прийти к нам, а вы ответили: «Я не знаю дорогу в ЦК». Этот ответ нас удивил.

— У меня никаких особых дел не было, отнимать у вас зря время не хотелось.

— Почему же зря? Мы всегда рады общению с писателями, они часто к нам приходят, рассказывают о своих планах, нуждах, мы стараемся по мере сил помочь.

— Какие у меня нужды? Условия для работы есть, издают, читатель меня знает.

— Я имел случай в одной из своих статей упомянуть ваш «Тяжелый песок».

— Спасибо, тем более что его замалчивают. В «Роман-газете» не издали, на телевидении много говорили об экранизации, даже товарищ Лапин прислал мне лестное письмо, однако не экранизировали и, как я понимаю, не экранизируют.

— Лапин — человек слова.

— Посмотрим, посмотрим.

— Над чем сейчас работаете, если не секрет?

— Это не секрет хотя бы потому, что вы об этом не случайно спрашиваете.

Он засмеялся:

— Угадали.

— Я написал роман «Дети Арбата», работал над ним восемнадцать лет.

— О чем это?

— Действие романа происходит в 1934 году, в нем много действующих лиц из разных слоев общества. Среди главных — Сталин.

— Я буду с вами откровенен и скажу прямо: о Сталине мы будем публиковать художественные произведения тогда, когда из жизни уйдет все наше поколение.

— Непонятно, какое же поколение? Поколение современников Сталина или нынешнее поколение, вообще не жившее при Сталине?

— Анатолий Наумович, вы хорошо понимаете, о чем я говорю. Мы хотим сплочения нашего советского общества, не хотим разделять его на сталинистов и антисталинистов. А ваш роман, как я догадываюсь, антисталинский.

— Безусловно.

— Такой роман вызовет антагонизм в нашем обществе. А мы этого не хотим. Вы, по-видимому, думаете, что народ против Сталина, вы ошибаетесь, это не так. Мы получаем письма от фронтовиков: «Я сражался за Сталинград, а где он?»

Это старики... А молодые? Вы видели в кабинах молодых шоферов портреты Сталина? Как они воспримут ваш роман?

— Вы привели неудачные примеры. Еще ребенком я видел на первых страницах центральных газет лозунги: «Отстоим красный Петроград от Юденича!» Что же, на этом основании обратно переименовывать Ленинград в Петроград?

— Ну, когда это было...

— Теперь о молодых шоферах. Вешая в кабинах портреты Сталина, они выражают не симпатию к нему, а антипатию к нынешнему положению вещей. Не обольщайтесь на этот счет. Недовольных много, в том числе и среди молодежи, как им выразить свое недовольство? Повесить в кабине портрет Николая Второго или Гитлера? Опасно. А Сталина безопасно, наоборот, еще кое-кто на это смотрит с умилением: молодцы, ребята, не забывают нашего Отца и Учителя. А молодые ничего о нем не знают, сталинские портреты для них — легальная форма протеста. О его, Сталина, истинном месте в нашей истории пора уже сказать вполне определенно, ясно. Тридцать лет прошло. Без такой ясности нам трудно двигаться вперед.

— У вас такое мнение, у нас другое. Я помню, вот так же здесь сидел Константин Михайлович Симонов, мы убеждали изменить в его книге версию 41-го года, он отказывался, писал Брежневу, и что же? Книга лежала три года, и ему пришлось сделать так, как мы ему советовали. То, что вы пишете, непроходимо.

— Откуда вы знаете? Вы же не читали роман.

— Из вашего рассказа все понятно, Анатолий Наумович. Мы с подобными рукописями сталкиваемся не впервые. И между прочим, по рекомендации того же Симонова создали в ИМЭЛе специальное хранилище таких рукописей. Пусть полежат до поры до времени, может, понадобятся будущим историкам.

— Смею вас заверить, Альберт Андреевич, что на это кладбище мой роман не попадет.

— Дело ваше, но хочу предупредить, будьте со своей рукописью осторожны, могут найтись сволочи, которые отправят вашу рукопись за границу и здорово подведут вас.

Намек? Знает, что храню рукопись в Хельсинки и Париже? Нет, не может знать. Обычное предупреждение, запугивает.

— Чем они могут меня подвести?

— Опубликуют.

— Без моего разрешения или разрешения ВААПа никто не может опубликовать. Советский Союз подписал Бернскую конвенцию об авторских правах.

— И все равно, лучше держите рукопись при себе.

— Как это при себе? Я ее давал читать в «Новый мир», в «Октябрь», в «Дружбу народов», роман широко анонсировался, никакого секрета из того, что он у меня есть, я не делал, не делаю и не буду делать, а вы откровенно советуете мне писать «в стол» или отправить роман на кладбище в ИМЭЛ. Скажу вам, когда я сюда шел, во мне шевелилась надежда, что вы заинтересуетесь романом. А вы, якобы не читая роман, уже отвергли и запрещаете его.

Итак, о «Детях Арбата» они знают, а может, и читали. Роман их беспокоит. И предупредили: если будет опубликован за границей, за это отвечу я. Для этого так настойчиво зазывал меня к себе Беляев.

Но каковы у них мозги, если уверены, что о Сталине еще при жизни многих поколений нельзя будет сказать правду.

29

Своим знакомым я продолжал давать читать «Детей Арбата». С условием — держать неделю, не больше. Предупреждение Беляева не остановило. Наоборот. Чем известнее будет роман, тем больше им придется с этим считаться.

Дал я роман и Самуэлю Рахлину (корреспонденту датского телевидения). Он написал много статей о «Тяжелом песке», снял обо мне фильм, показанный в скандинавских странах, намеревался писать книгу о моем творчестве, разумеется, должен прочитать и «Детей Арбата».

В первых числах января, в субботу или в воскресенье, не помню точно, у нас были Ира и Саша — Танина дочь с мужем. Пили чай, смеялись над чем-то. Глянули в окно — у ворот остановилась машина. Рахлины приехали! Обычно перед приездом звонили, на этот раз появились без звонка и сразу, не сняв пальто, предложили мне и Тане прогуляться. «Мы их долго не задержим», — сказал Сэм Ире.

Погода хорошая: январский мороз, солнечно, безветренно, мы пошли к березовой роще, и тут Сэм говорит:

— Очень неприятная история. Рукопись «Детей Арбата» арестована на таможне у мужа шведской дипломатки.

Так, начинается! Спрашиваю:

— Как у него очутилась рукопись?

— Мы соседи по дому (жил Сэм на Самотеке в доме УПДК — Управления по обслуживанию дипломатического корпуса), он большой поклонник «Тяжелого песка» и, увидев у меня «Детей Арбата», попросил почитать. Я дал. Рукопись лежала у него на столе, горничная из УПДК обратила на нее внимание, они все там из КГБ, и, конеч-

но, доложила куда следует, а на другой день он уехал в Стокгольм на рождественские каникулы и взял рукопись с собой, чтобы ее дочитать, поскольку я его торопил. Вез открыто, в прозрачном пластиковом пакете, и вот случилась такая беда, на таможне отобрали.

— Когда это произошло?

— Дней десять назад.

— Почему же только сейчас ты мне об этом говоришь?

— Он вчера прилетел, явился ко мне вечером и все рассказал. Было уже поздно ехать в Переделкино, а сегодня с утра мы с Аннет прямо к вам.

Некоторое время мы шли молча. Потом я сказал:

— Что ты предлагаешь делать?

— Это мы с ним обсудили и пришли к одному решению. Я хочу согласовать его с вами.

— Давай, говори!

— Требовать возврата рукописи бесполезно, она конфискована, такие вещи они редко возвращают. Но его могут вызвать для объяснения. И мы решили... Не знаю, как вы к этому отнесетесь?

— Говори, говори!

— Он скажет так, как это было на самом деле: я ему дал «Детей Арбата» на короткий срок, он не успел дочитать, поэтому и взял с собой в Стокгольм. Если вызовут меня, я подтвержу, да, это я дал ему рукопись.

— А у тебя спросят: где ты взял?

— В том-то и дело. Поэтому мы и приехали к вам. Я должен говорить только правду: рукопись я получил у вас. Но без вашего разрешения дал своему соседу. Поступил легкомысленно, а он еще легкомысленнее. Мне крайне неудобно перед вами, я вас подвел, но поймите, Анатолий Наумович, если меня вызовут, я ничего другого сказать не могу.

— И не надо, — ответил я Самуэлю, — куда бы ни вызывали, где бы ни спрашивали, будем говорить так, как оно было в действительности.

Рахлины сели в машину и вернулись в Москву.

Я был расстроен, нелепая история... И так просто этого не оставят. А предпринимать что-либо действительно

бесполезно. Надо ждать. Меня, конечно, не тронут: «Тяжелый песок» знают во всем мире, да и на родине я достаточно известен. Но при нашем беззаконии могут устроить обыск, изъять оставшиеся экземпляры рукописи, черновики. Это мы понимали. Тане было девять лет, когда ночью пришли арестовывать ее мать, так что она знала, что такое обыск. И я знал: мне было двадцать два года, когда пришли за мной.

У нас было два экземпляра рукописи. Один Саша заберет, сегодня же вечером переснимет на пленку и отдаст рукопись на сохранение своему близкому другу Толе Сивцову. Забегая вперед, скажу, что рукопись Толя Сивцов держал у себя до 1987 года, до выхода романа, который я ему и подарил с надписью: «Нашему ангелу-хранителю». Второй, последний экземпляр, довольно слепой, мы с Таней садимся немедленно перепечатывать под копирку, может быть, успеем сделать еще несколько экземпляров.

Саша и Ира уехали. Мы с Таней собрали всю имевшуюся в доме запрещенную литературу: Солженицын, Авторханов, Конквист, Гинзбург, еще кое-что. Все это я утром сжег во дворе, а Таня уже сидела на террасе за машинкой. Рукопись разделили пополам, каждый печатал свою половину. Вставали затемно, ложились за полночь. Успели. Появилось у нас еще четыре экземпляра. С одного Танин двоюродный брат Володя Гараев сделал фотокопию, хорошую (Сашина оказалась трудно читаемой). Ее взяли на сохранение наши друзья — Федя и Лариса Ляссы, она работала с Таней в одной редакции, он заведовал лабораторией в госпитале Бурденко, доктор наук, к тому же был из «хорошей репрессированной семьи»: мать, врача из Кремлевской больницы, в 52-м году арестовали в числе прочих «убийц в белых халатах». Пленку Ляссы держали в коробке из-под монпансье. Раз в неделю, без всяких звонков (телефон прослушивается) приезжали к нам на своем стареньком «Запорожце» проведать: «Живы-здоровы?» — «Живы-здоровы». — «Что они могут с вами сделать, Анатолий Наумович? Исключат из Союза, отнимут дачу? Переедете к нам, у нас по Казанской дороге климат лучше и финская банька есть. Откажут в поликлини-

ке Литфонда? Я вам назову десяток врачей, которые почтут за честь вас лечить. Главное — берегите нервы».

Я смеялся, рассказал про нашего шофера — Юрия Ивановича, славного человека, всегда говорившего: «Главное — спокойство». Однажды стояли мы под светофором, сзади налетел грузовик, разбил машину, Юрий Иванович вылезает из нее, говорит: «Главное — спокойство».

Кроме Рахлиных, Иры и Саши, Ляссов и Таниных двоюродных сестры и брата Киры и Володи Гараевых, никто не знал об аресте рукописи — я не хотел, чтобы это распространилось по Москве. Молчал.

И *там* молчали. Симптоматично — не знают, как поступить. Устроить новый литературный скандал? Опять крик, шум... Думают... Во всяком случае, съемки «Неизвестного солдата» не запретили, фильм должен быть готов к 40-летию Победы. Ездим на телевидение, смотрим актерские пробы.

Кончив перепечатку, мы с Таней возобновили наши послеобеденные прогулки. Встретили Липкина и Лиснянскую. После истории с «Метрополем» и выходом из Союза писателей их лишили всего. Семену Израилевичу, ветерану войны, отказали даже в поликлинике. Лидия Корнеевна Чуковская предложила им пожить на ее даче в Переделкине. Вышли как-то погулять, стоявшая неподалеку машина рванулась прямо на них, они едва успели броситься в снег, в кювет. Приехали в Москву за лекарством, толстое стекло на письменном столе Семена Израилевича разбито, в другой раз нашли сорванные с петель кухонные полки, на полу черепки от посуды — давали понять, что житья им в Москве не будет, пусть убираются.

Забежал Евтушенко:

— Анатолий Наумович, я все время думаю о вашем романе. Даже свой сценарий забросил (сценарий о состарившемся Д'Артаньяне, Евтушенко же и будет его играть). Сделаем так: я напишу отзыв, это очень важно, поверьте мне. Когда у меня не хотели издавать «Ягодные места», мне помогли только отзывы. *Они* с этим считаются. И я советую вам: возьмите отзывы еще у нескольких писателей и с этими отзывами отправьте роман в ЦК.

Хороший парень Евтух! Только не знает, что роман арестован.

— Ладно, — отвечаю, — это идея.

— Вы с Распутиным и Астафьевым знакомы? Хотите, я им пошлю ваш роман?

— Нет-нет, только без этих.

— Но почему?

— Это уж мое дело почему. Ладно, спасибо за совет.

В конце марта наконец раздался звонок из Союза писателей: 4 апреля меня приглашают на закрытое заседание секретариата.

Привожу сделанную мной запись этого заседания.

Кабинет Маркова.

Присутствуют: Верченко, Карпов, Боровик, Рыбаков.

Секретарю приказано никого в кабинет не впускать, по телефону ни с кем не соединять.

В е р ч е н к о. Анатолий Наумович, мне, Карпову и Боровику секретариат поручил поговорить с вами по поводу вашего романа «Дети Арбата». Все мы этот роман прочитали от начала и до конца. Но прежде всего я хочу, чтобы вы осознали наше к вам отношение. Мы не мыслим советской литературы без писателя Рыбакова, без его книг, на которых воспитывались многие поколения читателей, и мы не мыслим также писателя Рыбакова вне советской литературы. Вы хорошо знаете, как мы все вас любим, ценим и уважаем. Только сегодня я просмотрел ваше личное дело, вашей биографией может гордиться каждый советский человек. Это прекрасная и героическая биография. Тем печальнее и непонятнее выглядит история с романом «Дети Арбата». Рукопись задержана на таможне аэропорта «Шереметьево» у некоего датского подданного при попытке нелегально провезти ее через границу. Сам по себе этот факт экстраординарный и бросает на вас тень. Чтение романа показывает, что этот роман не может быть опубликован в Советском Союзе, в нем дается одностороннее, а следовательно, искаженное изображение нашей истории, конкретно истории тридцатых годов и деятельности в этот период товарища Сталина. Что вы можете сказать нам по этому поводу?

Р ы б а к о в. Может быть, мне лучше послушать товарищей Карпова и Боровика и потом уже ответить на все вопросы?

В е р ч е н к о. Ну что же, давайте так.

К а р п о в. Первую часть романа я читал года полтора-два назад. Анатолий Наумович нам давал его в редакцию, его читали я, заведующая прозой Тевекелян, никакого секрета из этого романа Рыбаков не делал. Однако мы этот роман не взяли, так как он был не закончен и судить о нем было трудно. Теперь же я прочитал вторую и третью части, правда, не в рукописи, а в ксерокопии...

Р ы б а к о в. Вот как? Откуда взялась ксерокопия?

В е р ч е н к о. Это не имеет значения. Продолжайте, Владимир Васильевич.

Р ы б а к о в. Нет, это имеет значение. Если вы сняли с него ксерокопии, то роман выходит из-под моего контроля. Что я и фиксирую.

К а р п о в. Я в общем согласен с товарищем Верченко: тридцатые годы показаны односторонне. Есть Сталин, его противозаконные действия, однако недостаточно показана и другая сторона тридцатых годов: индустриализация, энтузиазм народа и так далее. И конечно, в таком виде роман печатать сложно. Однако Толя мне говорил, Толя, мы с тобой друзья, поэтому я тебя так называю... Так вот: Толя мне рассказал, что он пишет продолжение романа, пишет Отечественную войну, участником которой был сам. В этом новом романе или новом томе романа, не знаю, как уж назвать, действуют многие персонажи из «Детей Арбата», и возможно, что в условиях войны они будут действовать и выглядеть совсем по-другому, будут патриотами, будут доблестно выполнять свой долг перед родиной. Таким образом обе стороны сбалансируются. И тогда можно будет искать пути к его опубликованию.

Р ы б а к о в. Новый роман я буду писать несколько лет, когда закончу — не знаю. Поэтому нам надо говорить о том, что есть. А у нас есть пока роман «Дети Арбата».

Б о р о в и к. Я не во всем согласен с товарищем Карповым. В частности, с его утверждением, будто в романе многое не показано. В романе показано все. Это не просто роман. Это — эпопея, охватывающая все наше общество сверху донизу. Вопрос не в том, чего там нет, повторяю, там есть все, а вопрос в том, как это изображено. А изображено это, бесспорно, талантливо, но, извините меня, Анатолий Наумович, за такое банальное слово, тенденциозно. Одна из ваших героинь, Варя, кажется, говорит, что Москва пропахла тухлой капустой и гниющей картошкой. Тут проглядывает аллегория — все прогнило.

Р ы б а к о в. Нет, это не аллегория. Речь идет конкретно о доме, где жила Варя и в котором, между прочим, тогда жил и я. Это было голодное время, и для обеспечения населения Москвы на зиму овощами приказали во все подвалы заложить картофель и капусту, так как овощехранилищ не хватало. Так что это примета времени, которой имеет право пользоваться каждый художник. Дальше. Товарищ Карпов сказал правду: роман не является ни секретным, ни подпольным. Он читался в редакциях многих журналов и многократно анонсировался как этими журналами, так и другими органами печати начиная с 1966 года. Это советский роман и предназначался он для советского читателя. Мой роман «Тяжелый песок» издан в двадцати шести странах мира. Там о нем существует обширная пресса, среди людей, занимающихся моим творчеством, есть человек по имени Самуэль Рахлин, корреспондент датского радио и телевидения в Москве. В июне этого года Самуэль Рахлин заканчивает срок своей службы в Москве и по возвращении в Данию намерен писать обо мне книгу. Собирал нужный ему материал и попросил меня, пока он здесь, дать ему «Детей Арбата». Я дал — с условием вернуть роман в январе. Дальнейшие события, как мне рассказывал Рахлин, развертывались так. Он дал почитать роман соседу по дому на Самотеке, шведу, или, как вы сказали, датчанину, на несколько дней. И тот, получив недельный отпуск, решил дочитать рукопись в Стокгольме, положил роман в авоську и отправился на

аэродром, где у него из этой авоськи роман и забрали. Если бы я хотел переслать роман на Запад, то, наверное, нашел бы более надежный способ, чем авоська человека, которого и в глаза не видел. Таким образом, все происшедшее на таможне случайность. Здесь должна быть полная и безусловная ясность.

Карпов. В общем-то, конечно, таким способом рукописи за границу не передаются, их провозят дипломаты, которые не подвергаются таможенному досмотру. Как я понимаю, все это обычно происходит на приемах в посольствах, передают из рук в руки, потом провозят.

Верченко. И все же, Анатолий Наумович, вы должны были обеспечить сохранность рукописи, исключить всякую возможность передачи ее за границу. Тем более, вас об этом в свое время предупреждал Альберт Андреевич Беляев, верно ведь?

Рыбаков. Да, говорил: «Могут найтись сволочи, которые перешлют вашу рукопись за границу и здорово подведут вас». И я вам отвечу то же, что ответил Беляеву: Советский Союз является участником Бернской конвенции об авторских правах, и никто без моего согласия не может опубликовать мое произведение. Я не понимаю, почему вас так беспокоит эта история: где бы ни находилась рукопись — здесь или там, я ее единственный хозяин.

Боровик. У них достаточно способов опубликовать то, что они хотят.

Рыбаков. Повторяю: без моего ведома, без моего согласия роман никто не может опубликовать. Рахлину это хорошо известно, он — журналист.

Боровик. Журналистами бывают разные люди, Анатолий Наумович.

Рыбаков. Плохого же вы мнения о своих коллегах по профессии. Рахлина я знаю уже несколько лет, дружу с ним, он порядочный человек. Теперь о романе по существу. В свое время его хотел печатать Александр Трифонович Твардовский. Вот его мнение. *(Я зачитал высказывания Твардовского.)* Так оценил роман Твардовский, а он понимал в литературе.

К а р п о в. Да, уж он-то понимал.

В е р ч е н к о. То, что вы мастер литературы, Анатолий Наумович, мы все знаем. Но этот роман не может быть опубликован. Ни в коем случае, я сказал вам об этом в начале нашего разговора.

Р ы б а к о в. Чего же тогда, собственно, вы от меня хотите?

В е р ч е н к о. Мы не хотим, чтобы роман попал за границу.

Р ы б а к о в. За это я вам ручаться не могу, я не контролирую все границы. Но одно могу сказать твердо: я надеюсь, что мой роман опубликуют у меня на родине. И я уверен, что только так это и будет.

В е р ч е н к о. И еще одна просьба, Анатолий Наумович, весь сегодняшний разговор должен остаться между нами. Иначе пойдут ненужные слухи, сплетни, которые только могут вам повредить: есть у нас перестраховщики — начнут задерживать ваши издания и так далее... Зачем вам лишние неприятности?..

30

О заседании секретариата я никому не рассказывал, но слухи о нем тут же распространились по Москве, отчего интерес к роману только повысился. Теперь, давая его читать, я, как советовал Евтушенко, ставил условие: отзыв — обязательно.

Начались съемки «Неизвестного солдата», и мы с Таней поехали в Можайск.

Работа в кино оживляет монотонную жизнь прозаика. По моим сценариям снято много кино- и телефильмов. Все это — экранизация моих книг. Не знаю, как сейчас, но в те времена сценарист в кинематографе был фигурой малозначительной, все решали редакторы, главные редакторы, режиссеры, сценарные коллегии, художественные советы, руководители студий, не говоря уже о государственном, партийном, цензурном контроле. Конечно, и в литературе писателя душили, но в журнал или в издательство он приносил готовую рукопись, ее принимали или отвергали, требовали купюр или поправок, но вместо тебя ее не переписывали. В кино сценарий — отправная точка, от него лишь отталкивались, на экране писатель узнавал, что это его сценарий, только по титрам, названия и то меняли.

По этому поводу между мной и кинорежиссером Михаилом Роммом состоялась дискуссия, я выступил в «Литературной газете», он — в «Советской культуре».

В апреле 1956 года в газете «Советская культура» появилась статья Г. Смаля «Редактор сценарного отдела», в которой Смаль жаловался:

«Редактор является... контролирующей инстанцией, решающей, принять или отклонить сценарий. Писатели не посвящают редакторов в свою творческую «кухню», отдают

на их суд уже готовые, законченные произведения. Редактор же должен быть советчиком и другом сценариста на протяжении всего пути создания произведения, начиная от первого разговора о замысле будущего фильма и кончая сдачей сценария в производство... Должен принимать участие в сборе и подготовке материалов по сценарию... Должен получать творческие командировки».

Сейчас это вызывает улыбку, а тогда излагалось всерьез. Я воспользовался высказываниями Г. Смаля и опубликовал в «Литературной газете» статью о положении писателя в кино, высмеивал попытки навязать писателям еще больший диктат.

На защиту Г. Смаля встал Михаил Ромм, напечатав в «Советской культуре» статью «Анатолий Рыбаков пугает»: «Рыбаков — враг сближения литературы и кинематографа», «Вред нашему общему делу». Такие вот словечки...

Ромм наряду с хорошими картинами создал, к сожалению, и лживые фильмы: «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году». Снимал их в 37-м и 39-м годах, во времена массовых репрессий. Статью, защищающую удушение писателей, он написал в 1956 году, после XX съезда партии, после доклада Хрущева. Вот как глубоко сидел страх и каково было положение в кинематографе.

Я ответил Ромму на эту статью. Но по-прежнему предпочитал экранизировать собственные уже опубликованные и апробированные повести и романы. И тогда, в июне 84-го года, мы ездили с Таней в Можайск смотреть отснятый материал по повести «Неизвестный солдат». Материал был хороший, понравился и мне, и Тане, и нашему шоферу Николаю. Условия работы тяжелые, в Можайске есть нечего, магазины пустые, группа недовольна. Режиссер Аронов нервничал, курил сигарету за сигаретой. Человек талантливый, долго не везло в кино, «Каникулы Кроша» — первая настоящая удача, и «Неизвестный солдат», видимо, получится.

Уехали мы из Можайска, а дня через два звонит директор картины Асхат Муртазин, кричит: «Аронов умер! Во время съемки!» Молодым умирает уже третий режиссер, снимавший мои фильмы. Оганесян, ставивший «Приклю-

чения Кроша», Калинин — «Кортик» и «Бронзовую птицу». И вот Аронов. Никому из них не было и пятидесяти. Такая работа...

Для завершения съемок «Неизвестного солдата» мне предложили на телевидении режиссера Вадима Зобина. Поехал я в Останкино, посмотрел какую-то его картину, не понравилось, я от Зобина отказался. Однако на меня наседали: группа простаивает, деньги идут, картина должна быть закончена к сорокалетию Победы. Напирали на меня и Евгения Самойловна Ласкина и ее сын Алеша Симонов, очень близкие Тане люди, уверяли, что Зобин — человек талантливый. В конце концов я уступил. Зобин снял хороший фильм, успех у «Неизвестного солдата» был большой. Снял Зобин и следующий мой фильм — четырехсерийную ленту «Университет, половина четвертого», собирались мы с ним экранизировать «Тяжелый песок», ничего не получилось — наше кино рухнуло.

31 июля неожиданно позвонил Василий Романович Ситников, заместитель председателя ВААПа и попросил разрешения приехать на дачу.

— Приезжайте, буду рад.

Ситников — ключевая фигура ВААПа, ведал литературой, театром, искусством. В изданной на Западе книге «КГБ» он упоминается как генерал по дезинформации. Говорили, что его партийно-кагэбистская карьера оборвалась из-за приверженности к мирному сосуществованию с Западом. Верно ли это, не знаю. Но то, что в прошлом он играл в крупные политические игры, было ясно. После избрания Андропова генсеком Ситников оживился, говорил мне: «Теперь придут другие люди», давая понять, что в числе «других» будет и он. Создавалось впечатление, что они с Андроповым давние единомышленники. Надежды Ситникова не оправдались, так в ВААПе и остался. Интриги в высших эшелонах власти мне были неинтересны, важно другое: с Ситниковым можно работать. Вел он себя либерально, проталкивал на внешний рынок произведения прогрессивные, впрочем, других не брали, знал литературу, все читал, смотрел спектакли, свободно владел немец-

ким языком и даже переводил пьесы. Высокий, грузноватый, с красивым открытым русским лицом, профессиональный руководитель, умный, образованный, с хорошо отработанными манерами, с писателями держался просто, дружелюбно, разговаривал откровенно, не чиновник, конечно, личность.

О причине его неожиданного приезда догадаться было нетрудно. Надеется получить рукопись «Детей Арбата», видимо, что-то варится на их кухне.

— Анатолий Наумович, — сказал Ситников, усаживаясь в кресло, — западные издатели меня атакуют, требуют ваш роман «Дети Арбата». Где он?

— Западные издатели... А у нас, здесь, вы ничего не слыхали об этом романе, Василий Романович?

— Слышал краем уха... Роман будто о Сталине... Так, нет?

— Не только о Сталине, но и о Сталине тоже.

— Ну вот... И будто бы его хотели вывезти за кордон... В общем, как обычно, слухи... Лучше дайте почитать, мне, лично.

— Пожалуйста.

Я дал ему рукопись, он положил ее в портфель, выпил чашку чая и уехал.

Через несколько дней позвонил и попросил, когда я буду в городе, заехать к нему.

Заехал, и он мне сказал:

— Я заболел вашим романом, его надо публиковать, будем за это бороться. Я хочу только согласовать с вами две вещи. Первое — вы должны пойти на какие-то уступки, ну, знаете, там у вас кулацких детей бросают в снег, уж чересчур жестоко это выглядит. Второе. Главное — поставить наш копирайт, чтобы никто, кроме нас, не мог торговать романом за рубежом. Для этого, естественно, придется быстро издать его на русском языке. Издадим небольшим тиражом, часть его реализуем через «Международную книгу», ну, и некоторое количество здесь, в стране. Роман обретет официальный статус, потом будете его доиздавать и переиздавать. Согласны вы с такими условиями?

— Согласен.

— Значит, я могу доложить в высших инстанциях, что у нас с вами полная договоренность?

— Можете.

— Теперь наберитесь терпения и ждите.

— Скоро будет двадцать лет, как жду.

— Тем более, потерпите еще пару недель.

Наиболее доверительные отношения в ВААПе у меня сложились с Эллой Петровной Левиной — умной, деловой, энергичной, в прошлом заведующей литературной частью Театра на Таганке. Первая в ВААПе прочитала «Тяжелый песок», участвовала в его рекламе, я давал ей читать и «Детей Арбата». Ситников ее ценил, был с нею откровенен, она знала о моих с ним переговорах, сказала, что Ситников действует через своего воронежского земляка Стукалина — заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС — фигуру крупную, и «если наш генерал (так она называла Ситникова) взялся за это дело, то доведет его до конца».

Элла оказалась права. В начале сентября позвонил Ситников:

— Вопрос решен положительно. Все, как мы договорились. Роман издадут, а мы начинаем его продавать.

— Кто же его будет издавать?

— Издательство вам позвонит. Приготовьте экземпляр, с поправками, о которых мы договорились, чтобы печатали без задержки... Видите, Анатолий Наумович, «заяц шутить не любит».

В Союзе писателей Верченко сообщил мне хмуро:

— Есть распоряжение печатать твой роман, мы это указание передали в «Октябрь» Ананьеву.

— Но ведь разговор как будто шел об издательстве?

— Почему? Обычный порядок — сначала журнал, потом издательство.

На следующий день я был у Ананьева, отвез ему новый вариант рукописи. Он действительно получил указание печатать роман, будет читать.

Встретились мы с ним только 19 ноября. Восторги были те же, что и при чтении первого варианта, но, к сожалению, и выводы те же.

— Знаешь, Толя, — сказал Ананьев, — напечатают твой роман сейчас, не напечатают — не имеет значения: он уже существует и будет существовать. Все фигуры выписаны великолепно и прежде всего — Сталин. Но в Сталине как раз и заключается главная трудность. У нас есть категорическое указание: произведение, в котором упоминаются Ленин, Сталин, другие исторические деятели, даже враг — Троцкий, должно пройти проверку ИМЭЛа. А ИМЭЛ зарубит роман, ты знаешь, какие там люди сидят. В лучшем случае потребуют выбросить Сталина, а без Сталина роман не существует. Я на это не пойду, не позволю, чтобы моими руками зарубили такой роман. А без заключения ИМЭЛа Главлит даже не будет его рассматривать. Вот какой получается заколдованный круг. Из этого круга можно выйти, только если будет решение ЦК о его напечатании. Роман политический, это политическая акция, и от меня ничего не зависит, я имею только телефонный звонок Верченко: «Поработай с автором в пределах разумного». Я ему ответил: «Роман можно печатать только в таком виде или не печатать».

Итак, все возвращается на круги своя.

Поехал к Ситникову, рассказал о встрече с Ананьевым. На сей раз Ситников не был так оживлен, как при последнем нашем телефонном разговоре, где он упомянул про зайца, не любящего шутить.

— Да, — сказал Ситников, — я ощущаю саботирование. ЦК не дает письменных указаний, только по телефону, и указание было ясное — публиковать. Речь шла об отдельном издании, но кто-то, на ходу, перевел дело на журнал.

— Чтобы легче было угробить.

— Допускаю, сопротивление роману нарастает, его придется преодолевать.

— Боюсь, ничего у вас не получится, Василий Романович.

— Почему?

— Далеко зашел процесс, все уже необратимо, упустили момент.

— Какой момент, что вы имеете в виду?

— Момент, когда можно было разделаться со Сталиным.

Он внимательно посмотрел на меня, хорошо понимал, о чем я говорю, но ответил так:

— Между прочим, Анатолий Наумович, из вашего романа вытекает, что «думать» надо было еще шестьдесят лет назад.

— Да, вы правы. Хотя и позже были возможности, при Хрущеве, например, их не использовали. А сейчас... Сейчас перспективы весьма сомнительные.

— Будем надеяться на лучшее. Терпите, придут новые люди, молодые, все изменится.

Я обвел взглядом его кабинет.

Он поймал мой взгляд, усмехнулся...

— Анатолий Наумович, здесь со мной вы можете говорить о чем хотите. Я полностью доверяю вам, надеюсь, вы доверяете мне.

— Так вот, Василий Романович... Будем смотреть на вещи трезво: что такое Черненко? Мягко говоря, фигура временная. Но, глядя на него, каждый секретарь обкома думает: «Господи, если *такой* может управлять государством, то почему не смогу я? Да я еще лучше смогу, я единолично справлялся с областью, с краем, почему же со страной не управлюсь?!» Политики они никакие, а командовать привыкли. Так что каковы они будут, эти новые, молодые, мы не знаем.

— Поживем — увидим. За откровенность спасибо.

Вечером мне позвонил Ананьев и попросил завтра днем быть в редакции.

Приезжаю. Ананьев объявляет:

— Верченко в отпуске, его замещает Сартаков (маловыразительная личность, которого писатели с насмешкой называли «Сартаков-Щедрин»). Вчера он мне звонит: «Срочно пришлите редакционное заключение, что роман Рыбакова печатать нельзя. Этого требует ЦК». Понимаешь, хотят спрятаться за мою спину. Я такое заключение дать отказался. Он говорит: «Дело ваше, но завтра пришлите ответ на мой запрос». Я всю ночь думал, что ему ответить, и вот утром сочинил такую бумагу... На, читай...

Я прочитал:

«Роман «Дети Арбата» получен не из Союза писателей, а от автора. Роман написан большим мастером литературы. Однако печатание его сложно, так как трактовка образа Сталина не совпадает с существующими точками зрения на эту фигуру. Кроме того, судьбы героев не завершены, автор продолжает свое повествование, поэтому высказывать сейчас какое-либо суждение о романе преждевременно. Роман автору возвращен».

— Ну как? Может быть, что-нибудь тебя не устраивает?

— Отсылай в таком виде. Но ты пишешь, что роман мне возвращен.

Он вынул из ящика стола рукопись:

— Бери. Иначе я буду вынужден сдать ее в ИМЭЛ.

— Нет, уж лучше пусть полежит у меня.

Новый год мы встречали с Таней вдвоем.

Ушедший год начался с ареста рукописи на таможне, затем роман обсуждался на закрытом секретариате Союза писателей, читался в ЦК партии, побывал в ВААПе, направлялся для публикации в «Октябрь» и в итоге вернулся опять ко мне, в ящик письменного стола.

Что ожидает его в наступающем 85-м году?

За удачу «Детей Арбата» мы с Таней и выпили.

31

24 февраля 1985 года состоялись очередные выборы в Верховный Совет. Девяносто девять процентов явки избирателей, покорное единодушие, фальшивое всенародное ликование и прочие атрибуты сталинско-брежневской показухи.

Трагикомическим было появление на экране телевизора руководителя страны Черненко. В палату больницы принесли урну, и Черненко, едва держась на ногах, с бессмысленным выражением лица опустил в нее бюллетень. Взамен речи, которую он физически не мог произнести, Черненко, сделав невероятное усилие, вытянул руку вперед. Передачу тут же оборвали. Секретарь Московского горкома партии Гришин суетился возле Черненко, демонстрируя всему миру, что именно он находится рядом с «вождем» в последние часы его жизни и, следовательно, является законным преемником.

Через две недели, 10 марта, Черненко умер, пробыв на своем посту всего лишь год. 11 марта Генеральным секретарем партии стал Михаил Сергеевич Горбачев. Многие вздохнули с облегчением: не Гришин все же! К тому же молод: Горбачеву было тогда 54 года.

В 1917 году, во время революции, Ленину было 47 лет; Троцкому и Сталину по 38, Рыкову — 36, Зиновьеву и Каменеву по 34, Свердлову и Фрунзе по 32, Кирову — 31, Бухарину и Сокольникову по 29, Пятакову — 27. Это — большевики. В том же возрасте были и лидеры других политических партий (кадеты, меньшевики, эсеры, националисты): Рябушинскому — 46, Мартову, Чернову и Скоропадскому по 44, Савинкову — 38, Винниченко — 37, Керенскому, Церетели и Гегечкори по 36, Спиридоновой — 33, Терещенко — 29.

Таким образом, молодость Горбачева — условна (моложе

лишь окружавших его старцев). Почти все перечисленные мною деятели прошли тюрьмы, ссылки, изгнание. Горбачев — благополучный, преуспевающий партийный аппаратчик, принадлежащий к правящей и привилегированной верхушке власти.

Как я уже рассказывал, я ездил иногда лечиться в Кисловодск, обычно в санаторий Академии наук. Однажды Литфонд раздобыл мне путевку в «Красные камни» — санаторий для партийных и советских работников. Члены Политбюро обитали на дачах при санатории, лишь Косыгин жил в общем корпусе.

В кисловодском горсовете работал мой однополчанин по 4-му гвардейскому стрелковому корпусу. Заходил иногда ко мне. Однажды спустились мы с ним в холл, смотрю, сидит Косыгин, перед ним среднего роста, «средней упитанности» человек, привыкший, сразу видно, к мягкому обкомовскому креслу, обкомовской столовой, обкомовскому пайку. И светло-серый костюм на нем добротный, несколько провинциального покроя, именно такой, какие шьют в обкомовских ателье. Человек этот обернулся, мелькнуло приятное лицо, с живыми, «все секущими» глазами, родимым пятном, спускающимся с головы на лоб. Мы оказались ему незнакомы, следовательно, неинтересны, и он опять почтительно склонился к Косыгину.

На улице мой приятель сказал про него:

— Горбачев, секретарь нашего крайкома, большой говорун, замордовал всех своими речами, видишь, Косыгину мозги запудривает? Как кто из начальства приезжает, он тут как тут, обхаживает.

— Трудно ему, — насмешливо посочувствовал я, — кроме Кисловодска есть еще Железноводск, Пятигорск, Ессентуки.

— Всюду поспевает, выбивает кой-чего для края, вот и числимся в передовых. Ездит с ними в Домбай, в Терскол, шашлыки жарят на вольном воздухе, песни поют, магнитофон запускают, Высоцкого слушают. У нашего Мишки знакомства на самых верхах, далеко пойдет.

— Если милиционер не остановит.

Такой распространенной в те времена шуткой закончил я наш разговор о Горбачеве. Интереса к своей персоне он во

мне тогда не вызвал. Теперь этот человек стал руководителем страны. Многие возлагали на него надежды.

Надежды возлагали в свое время и на Андропова. Да, конечно, верой и правдой служил Брежневу, не препятствовал реанимации Сталина, известна его роль в Венгрии, в преследовании диссидентов. Однако стихи пишет, вроде бы английский немного знает. Что осталось от тех надежд? Воспоминания о том, как отлавливали в магазинах и парикмахерских людей, пришедших туда в рабочее время.

И все же перемены неизбежны, дальше так жить нельзя. Страна в тупике. Это понимали все.

Как и многие люди моей профессии, я доверял своему первому впечатлению о Горбачеве, оно было никаким.

Поначалу действия Горбачева вроде бы оправдывали всеобщие ожидания. В его речах не упоминался «развитой социализм», говорилось о выходе на мировой уровень развития, о сокращении вооружений, переменах, новых проблемах, об углублении демократии и самоуправлении. В руководящих эшелонах появились новые люди, оживились контакты с Западом.

Насторожила нелепая антиалкогольная кампания. Безусловно, народ спивался. Причины коренились в условиях существования. Люди были лишены возможности достойно жить материально и духовно. Вот и пили: бутылка — вся доступная радость, вся дозволенная свобода. Однако вместо устранения причин пошли обычным путем запретов. Закрывали магазины, винно-водочные заводы, вырубали виноградники. Повсеместно начали гнать самогон (исчез сахар), травились «заменителями», проклинали очереди и «минерального секретаря».

В мемуарах Горбачев признает свою вину: «...всецело передоверил выполнение принятого постановления». Типичное объяснение партократа, умеющего все сваливать на других, уходить от ответственности.

И все же неустойчиво, зыбко, но общество приходило в движение. Я решил активнее пробивать «Детей Арбата». Пришла пора создать общественное мнение, при благоприятных обстоятельствах на него можно будет опереться. Писателям давал роман я сам, актерам и режиссерам — Юля Хру-

щева, заведовала тогда литературной частью Театра Вахтангова, связи в театральном мире большие, помощь ее была огромна и самоотверженна, явилась как-то ночью — привезла из Ленинграда отзыв Товстоногова. Кроме него, отзывы прислали Аркадий Райкин, Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Олег Табаков, Эльдар Рязанов, Роберт Стуруа, Игорь Кваша, Алексей Симонов, Юрий Яковлев. Всего в 85-м году я собрал около шестидесяти отзывов, среди писателей такие имена: А. Адамович, Л. Аннинский, А. Анфиногенов, Г. Бакланов, Г. Белая, А. Борщаговский, А. Вознесенский, Василь Быков (отзыв привезла его жена, специально приехала в Москву, я встречал ее на вокзале), М. Галлай, А. Городницкий, Я. Голованов, Г. Гофман, Д. Гранин, А. Гребнев, Д. Данин, Е. Евтушенко, Л. Зорин, Вяч. Иванов, Т. Иванова, В. Каверин, М. Карим, И. Кашафутдинов, В. Кондратьев, В. Конецкий, Л. Левин, Л. Либединская, Е. Мальцев, А. Межиров, Ю. Нагибин, И. Огородникова, Б. Окуджава, В. Оскоцкий, Л. Разгон, В. Розов, М. Рощин, Е. Сидоров, Е. Старикова, А. Турков, В. Фролов, Ю. Черниченко, М. Шатров, Н. Эйдельман. Вот что пишет в своих мемуарах М. Горбачев в главе «“Дети Арбата” и другие прорывы»: «Рукопись прочли десятки людей, которые стали заваливать ЦК письмами и рецензиями, представляя книгу “романом века”».

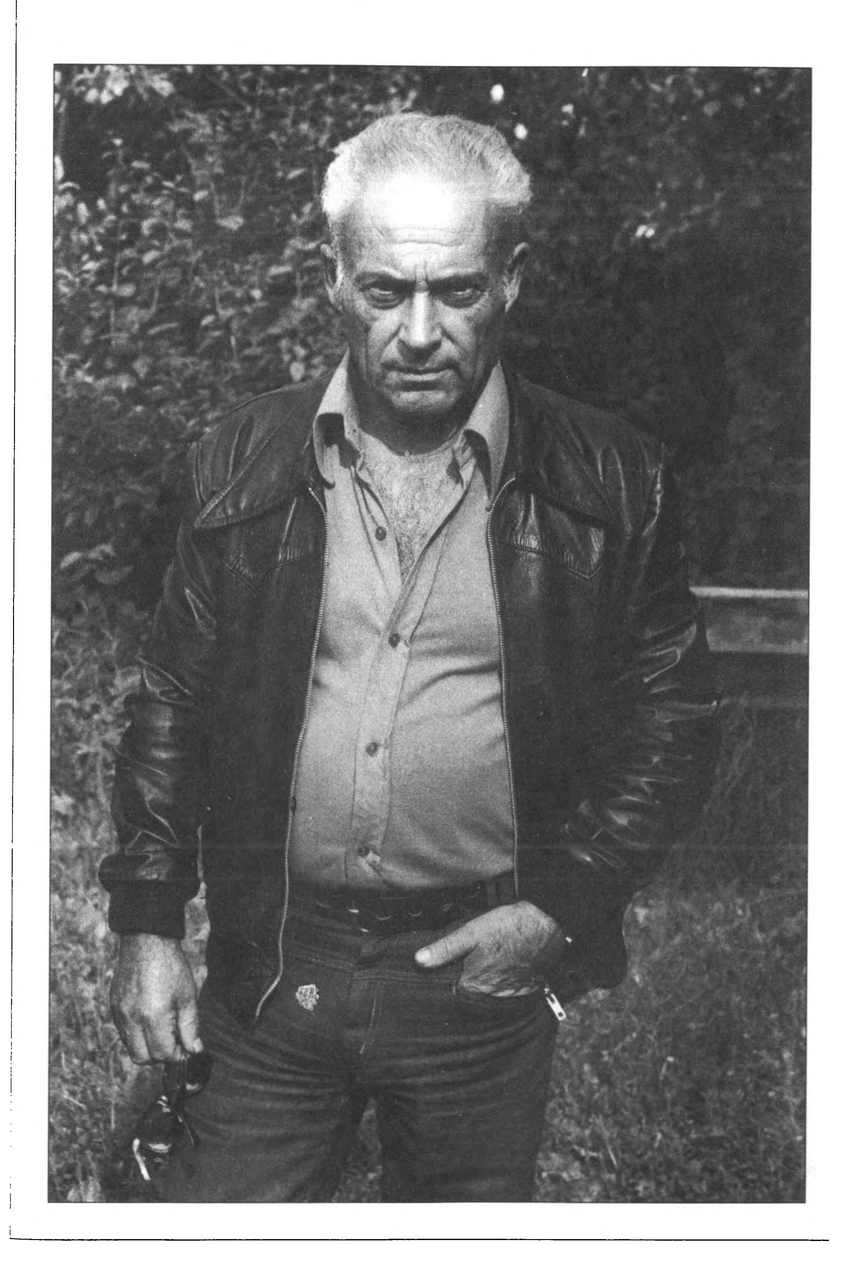
Уклонился только академик Гольданский. Выпросил у меня рукопись, держал два месяца, возвратив наконец, расхвалил, а письменного отзыва не дал — перестройка только начиналась. Через три года на сессии Верховного Совета витийствовал, разносил всех в пух и прах. Осмелел.

Отзывы вместе с рукописью романа я через Эллу Левину послал Анатолию Сергеевичу Черняеву, ее хорошему знакомому, помощнику Горбачева, — вдруг сумеет передать своему патрону?

С драматургом Мишей Рощиным приехал Олег Ефремов, главный режиссер Художественного театра.

— Начал читать ваш роман и только в пять утра заставил себя погасить свет — на девять назначена репетиция. Вернулся с репетиции, схватил рукопись — и опять до пяти утра. Потом говорю Рощину: «Познакомь меня с Рыбако-

Мой 20 век



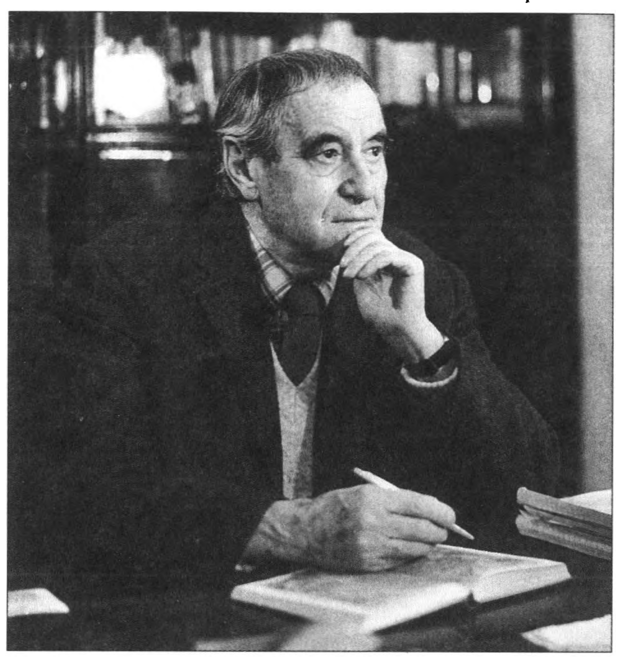
А. Т. Твардовский сказал мне:
«Вы нашли свой золотой клад.
Этот клад - ваша собственная жизнь».





Слева направо: Александр Бек, Вениамин Каверин, Константин Паустовский. Середина 60-х годов. Ялта.

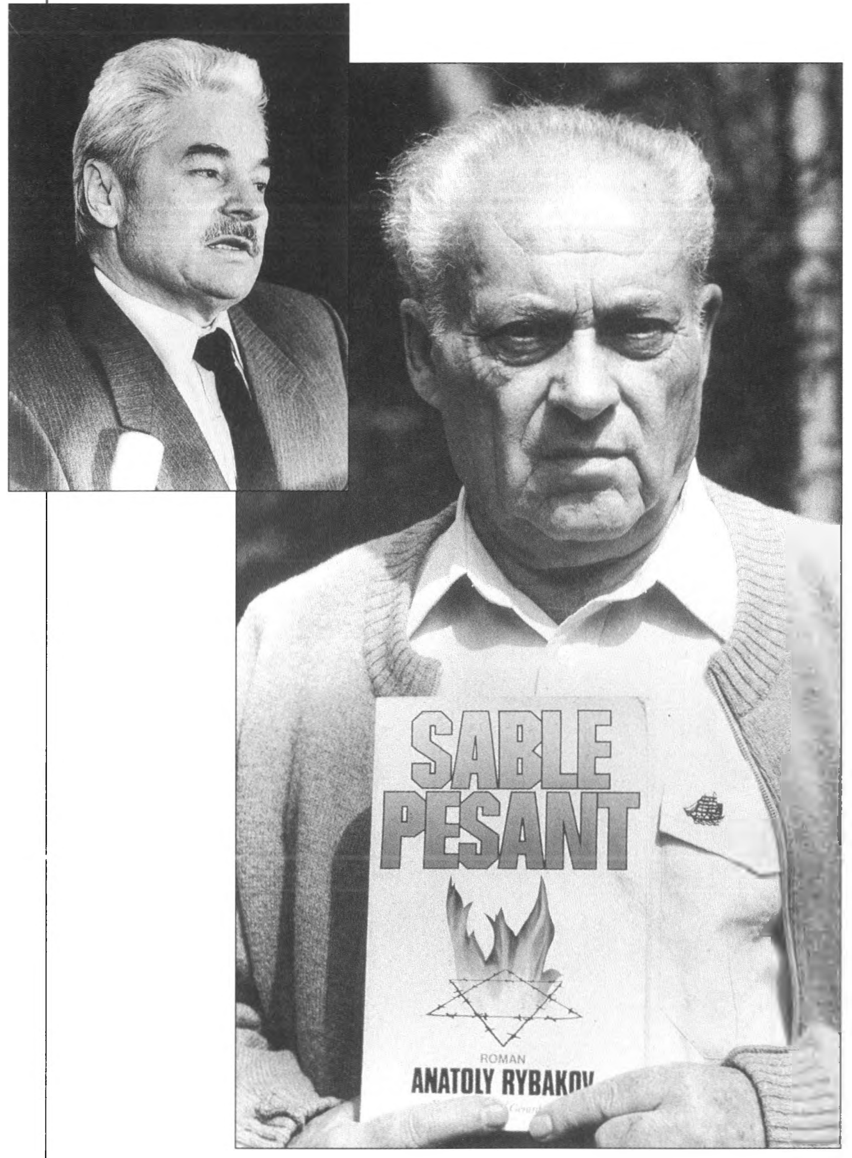
В. П. Катаев — главный редактор журнала «Юность» (1955–1961 гг.), публиковал мои повести для подростков.





Евгений Евтушенко подарил мне томик Ницше «с благодарностью за то, что когда-то поверили в меня, еще мальчишку».

А. А. Ананьев — главный редактор журнала «Октябрь» с 1973 года. Единственный, кто решился опубликовать роман «Тяжелый песок».



«Тяжелый песок» — первое французское издание (название переведено неточно).

Юрий Трифонов (1925–1981).
Страдания, обостряя талант писателя,
часто укорачивают его жизнь.





Город Щорс (Сновск) — место действия романа «Тяжелый песок».

На теплоходе «Грузия». Справа налево: В. Аксенов, Б. Окуджава, капитан А. Гарагуля, А. Рыбаков, М. Галлай, И. Гофф, К. Ваншенкин.



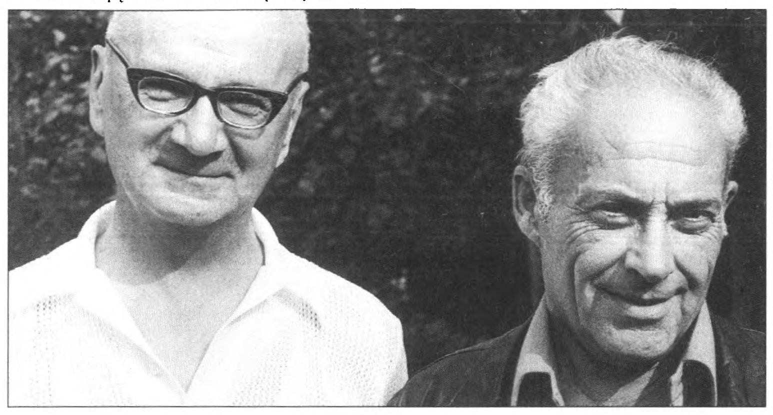
С писательницей Еленой Ржевской.

С Таней и Булатом.



Переделкино. Отмечаем первый приезд Васи Аксенова из США в Москву. Рядом с Аксеновым – С. Липкин и И. Лиснянская.

С моим другом Васей Сухаревичем.



С Таней и Юлией Хрущевой.

С писательницей Бел Кауфман, внучкой Шолом-Алейхема.

С послом США Дж. Мэтлоком (1988 г.).

Нью-Йорк. С Артуром Миллером.





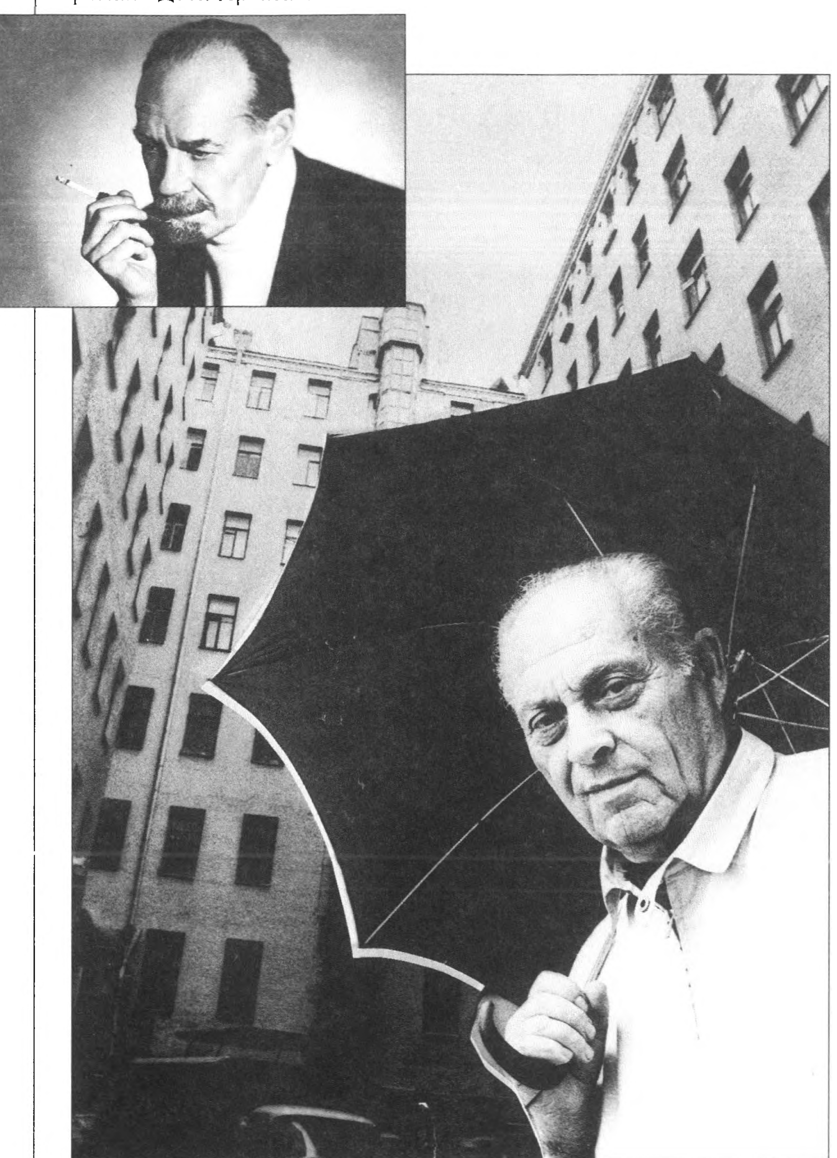
Тель-Авивский университет. Присуждение звания почетного доктора философии.





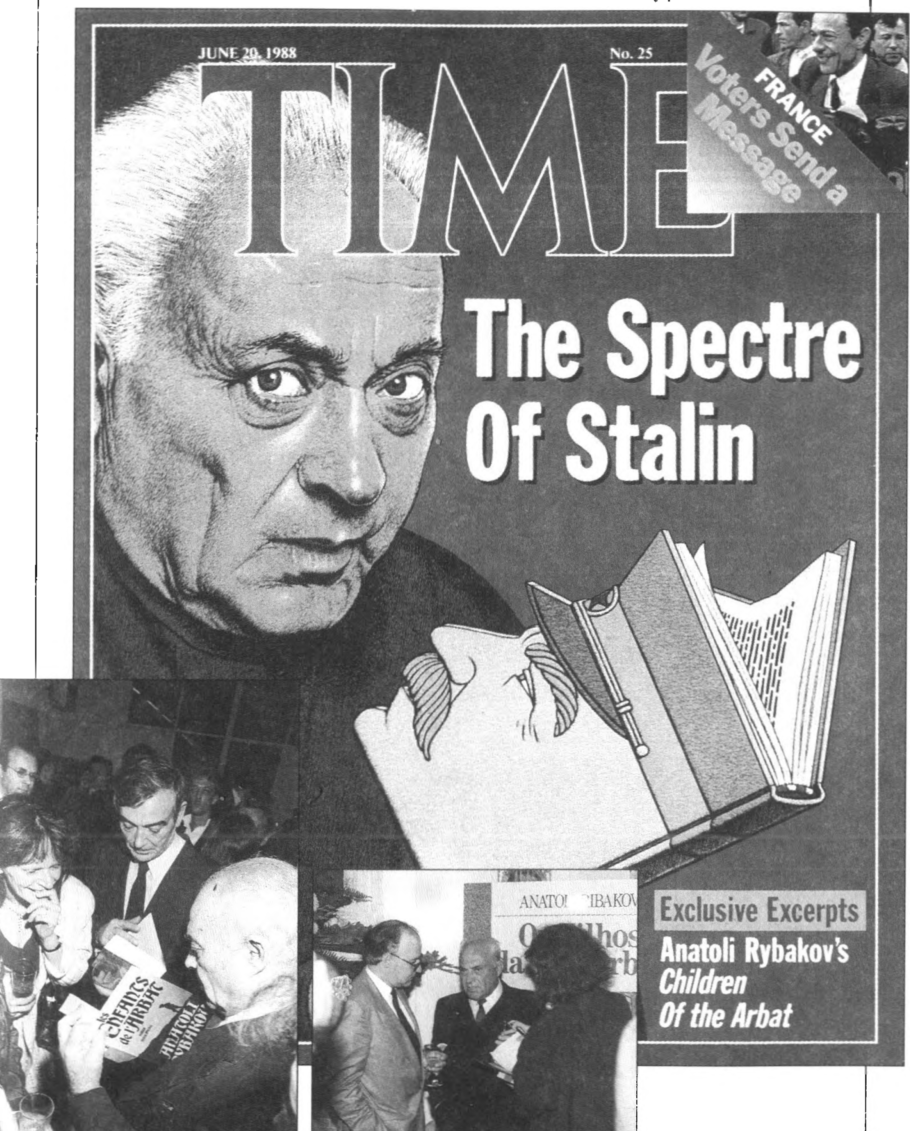
Маастрихт. 1989 год. На Всемирном конгрессе ПЕН-клуба. Слева — Андрей Битов.

С. А. Баруздин — главный редактор журнала «Дружба народов» (1966—1991 гг.), где наконец-то был опубликован роман «Дети Арбата».



Во дворе дома № 51 на Арбате.

«Дети Арбата» пересекают границы:
США. Обложка журнала «Тайм»...



Париж. Встреча
с читателями...

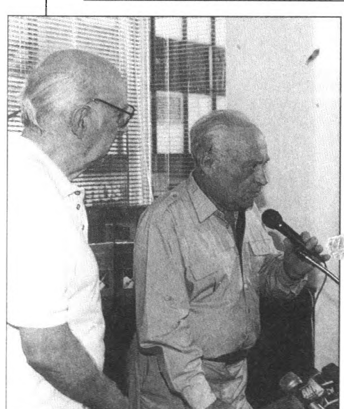
Лиссабон.
С журналистами...

Барселона. И снова встреча с читателями...



Мадрид. В книжном магазине...

Мадрид. Пресс-конференция...

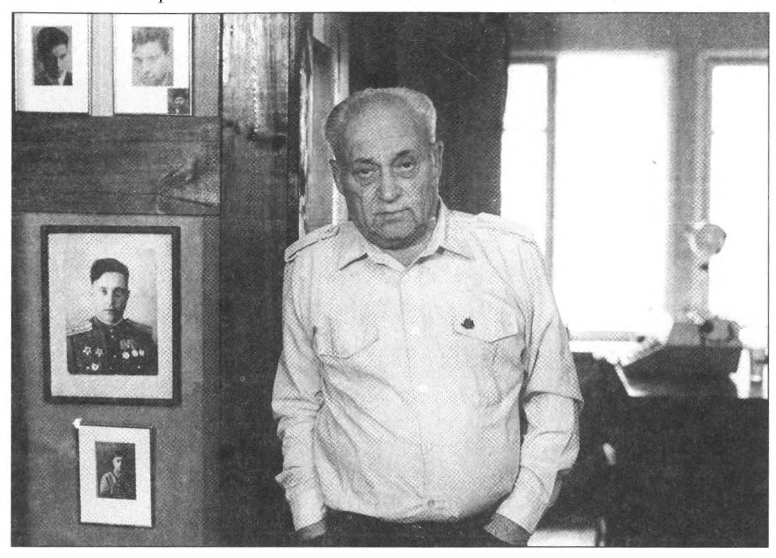


Афины.
Презентация романа...



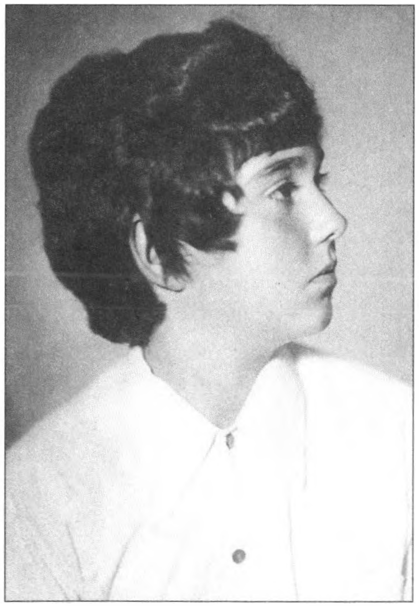
Беседа с немецкими школьниками,
приехавшими из Райхенбаха.

Кабинет в Переделкине, где написаны почти все мои книги.



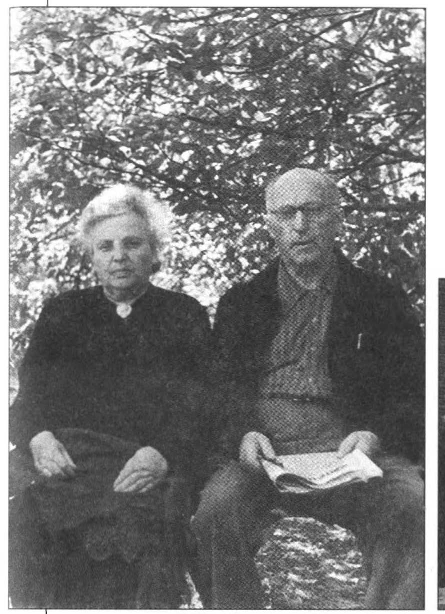


Сын Александр, 1968 год, корреспондент на Олимпиаде в Мексике.

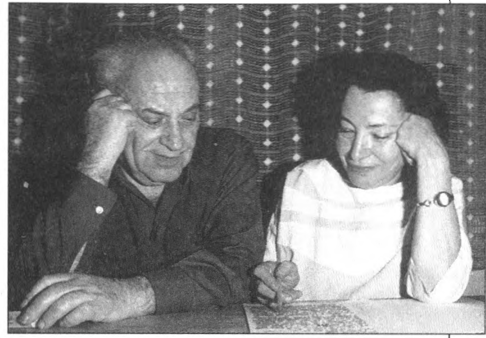


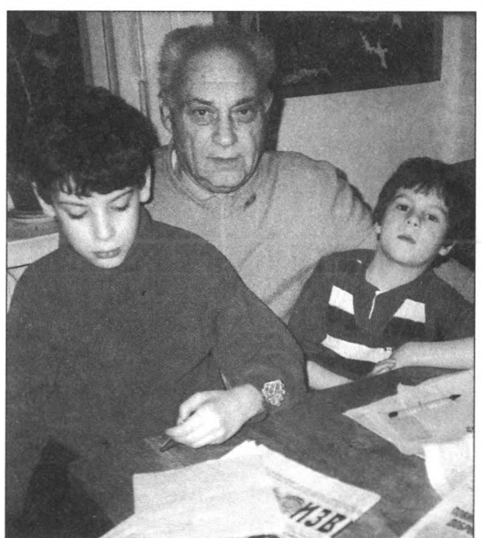
Сын Алексей, 1968 год, первоклассник.

Отец и мать
на старости лет опять вместе.



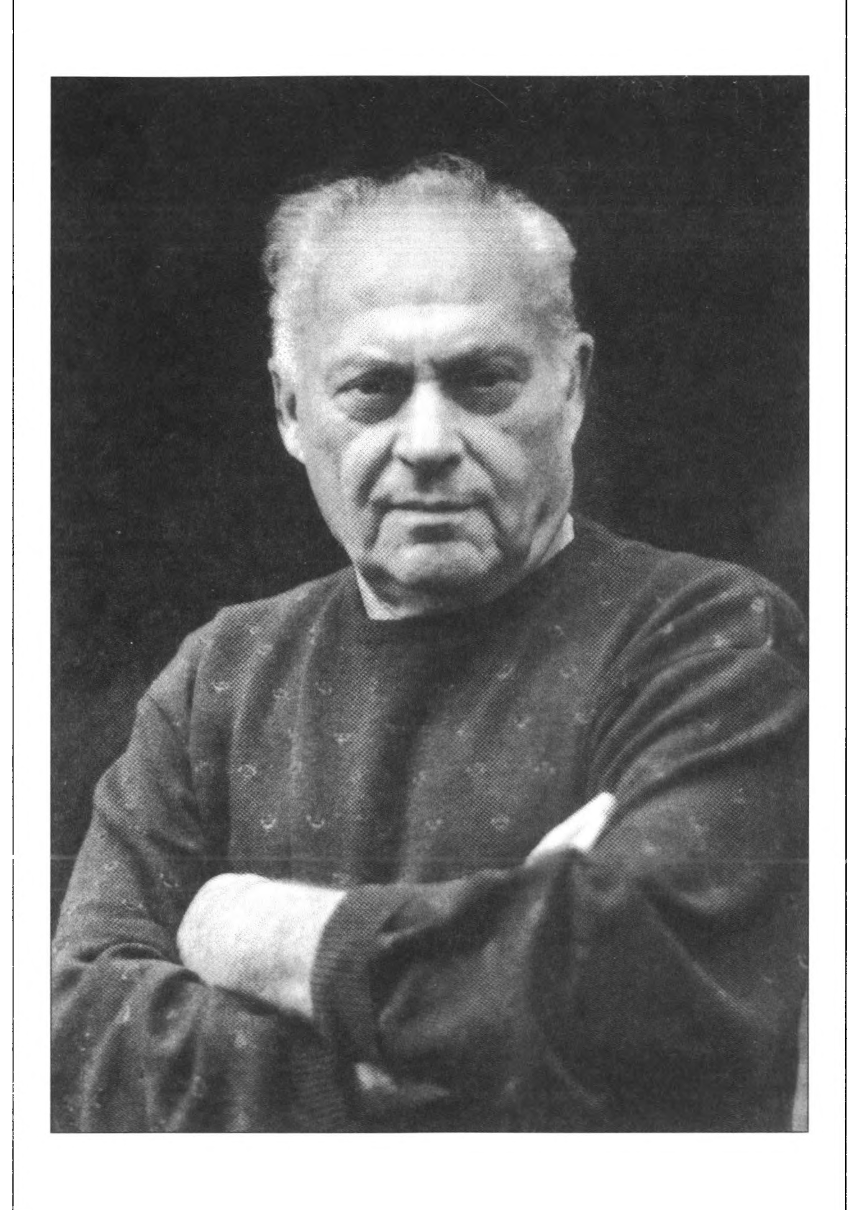
1987 год. Читаем с Таней верстку
«Детей Арбата». Свершилось!







Мои внуки, Даня, Тёма и Маша. Сейчас Даня студент,
Тёма кончает школу, а Маша уже аспирантка университета.



вым, я должен посмотреть на этого человека! Это не твои цветочки-лепесточки, это моя литература! Если напечатают, буду ставить в театре».

Рощин улыбался, поддакивал.

Таня спросила у Ефремова, правда ли, что ему после просмотра «Дяди Вани» звонил Горбачев?

— Звонил, сказал, что это было «пиршество духа».

— А еще что сказал?

— Я его просил о встрече, он ответил: «Дайте раскрутить маховик, тогда встретимся».

Горбачев звонил не только Ефремову, но и посредственному поэту Егору Исаеву, о чем тот сообщал каждому встречному и поперечному.

— О Горбачеве ходит много слухов, — сказал я Ефремову, — даже у меня спрашивают: «Правда, что вам звонил Горбачев?..» — «Нет, не звонил...» — «Ну, как же, даже в Переделкино приезжал, просил сделать поправки в вашей рукописи...» Вот такие байки рассказывают. А с другой стороны, поговаривают, будто Волгоград по требованию фронтовиков обратно переименуют в Сталинград.

— И до меня это доходило, — подтвердил Ефремов, — и что к вам приезжал, и что Волгоград обратно переименуют. Что делать? Живем во времена слухов. Все чего-то ждут, надеются, боятся, вот и ходят разговоры.

Они с Рощиным уехали, и тут же в дверь постучал наш сосед — Генрих Гофман, летчик, Герой Советского Союза, ставший писателем.

— Толя, твою книгу выпустили на Западе. Только что слышал по «Свободе». Включай приемник, опять будут передавать.

Сидим с Таней у приемника до полуночи. Выяснилось: «Свобода» имела в виду Владимира Рыбакова, живущего за границей. Гофман спутал.

Наконец позвонила Элла Левина. Черняев роман прочитал. Рукопись и все отзывы передал новому заведующему отделом пропаганды ЦК — Александру Николаевичу Яковлеву, передал дружески, конфиденциально, если не понравится, все останется между ними. По словам Эллы, Черняев добавил:

— Помочь роману — дело моей чести. Опубликовать такой роман — значит очиститься.

Это уже обнадеживало. Я стал ожидать звонка из ЦК. Однако позвонил Ситников из ВААПа, попросил зайти.

Зашел, застал Ситникова взволнованным: на него «катят бочку», мол, хочет продать «Детей Арбата» на Запад. Протянул мне письмо от Рея Кейва, заместителя главного редактора журнала «Тайм»: их интересует роман Рыбакова о Сталине, не могут ли они приобрести права на его издание в Америке.

— Как вы думаете, откуда они знают о романе?

Значит, в «Тайме» роман уже прочитали, понравилось, хотят публиковать. Молодцы, порядочные люди, действуют законными средствами.

Я пожал плечами:

— Горбачев принимал руководителей «Тайма», в том числе и господина Рея Кейва. Были в Москве и узнали. Что вы собираетесь ответить?

— А что мы можем ответить? Роман у нас не опубликован, значит, для нас он не существует, переговоры о нем вести не можем. — Он протянул мне конверт: — Вот еще одно письмо из США, лично вам.

Я вскрыл конверт. Десять университетов: Гарвардский, Колумбийский, Йельский, Принстонский, Станфордский, Пенсильванский, Бостонский, Оклахомский, Сарры Лоуренс и штата Огайо приглашают меня с женой на полуторамесячный тур для чтения лекций. Все расходы университеты берут на себя. Наш приезд ожидается 5 апреля 1986 года. Просьба его подтвердить. Профессор Джон Шиллингер.

Ситников тоже прочитал письмо:

— Университетские приглашения оформляет Союз писателей. А вот когда выйдет роман, поездку на презентацию будем оформлять мы. Действуйте. Конечно, на верхах сейчас смутно, неясно, но есть силы, которые могут вас поддержать. К ним и пробивайтесь.

Из ВААПа я отправился в Союз писателей, передал письмо из США и полученное накануне письмо из Венгрии, туда приглашают приехать в декабре.

Вернулся на дачу. И тут же раздался звонок Эллы Леви-

ной: Черняев сказал, Яковлев рукопись прочитал, отношение благоприятное, пусть Рыбаков срочно обратится к нему с просьбой принять его и решить судьбу романа.

29 октября Таня сдала в экспедицию ЦК мое письмо Яковлеву, вот его краткое содержание:

«1. В обществе возник духовный вакуум, заполняемый идеализацией прошлого, не только дореволюционного, но и сталинского. Необходимы решительные идеологические акции, публикация «Детей Арбата» может быть одной из них.

2. О существовании романа известно широким писательским и читательским кругам, известно и за рубежом. Журнал «Тайм» предложил его печатать в своем издательстве. Я хочу, чтобы роман был опубликован прежде всего в моей стране.

Прошу меня принять и помочь в решении судьбы романа».

Ответ пришел, но не от Яковлева, а совсем из другого места:

«По поручению ЦК КПСС Ваше письмо рассмотрено в Госкомиздате СССР... Все вопросы, связанные с выпуском литературы, решаются непосредственно издательствами».

«Маховик» не то остановился, не то стал вращаться в обратную сторону.

Письмо это я получил 10 декабря, а на следующий день открылся очередной съезд писателей РСФСР. Необычный съезд. Впервые в присутствии сидевшего в президиуме правительства писатели вели себя свободно, демонстративно выходили из зала во время заседания, подавали реплики, перебивали выступающих, топали ногами, «захлопали» Михаила Алексеева, Егора Исаева и других официальных ораторов.

В перерыве меня разыскал Михалков.

— Толя, Евтушенко собирается выступать по поводу твоего романа, отговори его, тебе это только повредит! Если бы выступил, скажем, Распутин, это было бы солидно.

— А почему тебе не выступить? Ты ведь читал роман.

— Читал. Он мне понравился. Я тебе сказал. Но роман не пойдет, ты там рассуждаешь за Сталина.

— Разве Толстой не рассуждает за Наполеона?

— Но, Толя, ты ведь не Толстой.

— Однако стремлюсь и другим советую. Тебе, Сережа, уже восьмой десяток идет, пора о Боге думать. Ты в своем докладе ни одного настоящего писателя не назвал. Ты не болеешь за литературу, а Евтушенко болеет, потому и хочет говорить о романе.

Обратно в Переделкино мы ехали с Евтушенко, и он мне сказал убежденно:

— Не беспокойтесь, Анатолий Наумович, завтра решится судьба вашего романа.

На следующий день перед открытием утреннего заседания съезда Евтушенко пригласили в комнату за президиумом. Там его ожидали секретарь ЦК Зимянин, министр культуры Демичев и Альберт Беляев.

— Прошу вас, товарищ Евтушенко, в своем выступлении не упоминать роман Рыбакова, — объявил Зимянин.

— Роман прекрасный, — возразил Евтушенко, — его надо поддержать.

— Нет, — вмешался Беляев, — роман антисоветский, его пытались вывезти за рубеж.

— Об этом я не знаю, — сказал Евтушенко, — мне известен только роман. И советую вам, товарищ Беляев, никогда антисоветским его не называть. Иначе попадете в недостойное положение. Многие писатели...

— Товарищ Евтушенко, — перебил его Зимянин, — заграница интересуется романом, и если вы его разрекламируете с такой высокой трибуны, то они его возьмут и издадут. От имени Центрального комитета нашей партии настаиваю, чтобы вы не упоминали романа Рыбакова. Все! Сделайте из этого вывод.

Итак, роман запрещено даже упоминать. Евтушенко выбросил его из своего выступления. Потом разыскал меня, передал свой разговор с Зиминым.

— Не думайте, я не испугался, но «скалькулировал», что мое умолчание будет выгодно для романа.

Я улыбнулся, представляя, как маленький, тщедушный Зимянин наскакивает на долговязого Евтушенко.

— Чего вы улыбаетесь? — насторожился Евтушенко. — Повторяю, я не испугался.

— Знаю. У меня нет к тебе претензий. Я никогда не сомневался, что ты мне хочешь помочь.

— Главное, Анатолий Наумович, не считайте меня трусом. Я не трус, я буду и дальше бороться за роман, я уже говорил о нем с Распутиным и Астафьевым. Вот, запишите их телефоны в гостинице, позвоните...

— У меня достаточно отзывов.

— Они очень значительные фигуры.

— Я сам значительная фигура. И когда незнакомый человек нуждается в помощи, я первым ее предлагаю, не дожидаясь, чтобы меня попросили.

На вечернее заседание я не остался, уехал в Переделкино. Позвонили из Будапешта, из Союза писателей. Огорчены чрезвычайно: срывается назначенный на завтра мой вечер. О нем широко оповестили, все ждут.

Что я мог сказать? Только одно — задерживается оформление. Они знали наши порядки и поняли, в чем дело.

Опять звонок. Дудинцев. Спрашивает, что происходит на съезде, — он не делегат, и ему даже не прислали пригласительного билета. Будто нет такого имени в литературе! Я ему сказал: «Паноптикум. Софронов вдруг запел на трибуне. А в остальном обычная говорильня. Ты ничего не потерял, сиди работай!»

Уже за полночь звонит Евтушенко.

— Анатолий Наумович, слушайте... После моего выступления Михалков устроил истерику за то, что я сказал: «Простые люди не могут купить мяса, а мы, делегаты, пользуемся прекрасным ларьком!» Зимянин назвал мое выступление провокационным.

— Не огорчайся, Женя, плюнь на них! Я, например, больше туда не пойду.

Я действительно собирался остаться дома. Но на следующее утро за мной, как мы с ним договорились накануне, заехал писатель Сахнин. Долго не заводилась машина на морозе, если бы не обещал подхватить меня, плюнул бы, добрался до Москвы на поезде. Отказаться было неудобно, мы поехали. И тут же позвонил Альберт Беляев, спросил, может ли поговорить со мной, Таня ответила, что я уехал на съезд. «Спасибо, значит, я его найду». Беляев меня встретил у дверей и увел в комнату за президиумом.

— Зимянин вас не дождался, поручил мне поговорить с вами. Мы просили Евтушенко не касаться в своем выступлении вашего романа, потому что он относится к роману чисто спекулятивно, хочет прославиться и на нем.

— Славы у него хватает. К тому же Евтушенко — мой друг, и я прошу о нем так не говорить.

— Хорошо, не будем касаться личностей. Дайте мне ваш роман, обещаю, что в ЦК его прочтут на самом верху.

— Он был в ЦК, вы его читали, даже назвали антисоветским.

— Анатолий Наумович, не будем вспоминать, кто что говорил, давайте смотреть вперед.

— Да, Альберт Андреевич, вам не мешает смотреть вперед и подумать — не предстанете ли вы в роли душителя литературы?

Он смешался:

— Я хочу найти с вами общий язык. Вы собираете отзывы. Зачем? Вам это не нужно, вы слишком большой писатель, вы — наша национальная гордость.

— Альберт Андреевич, не теряйте время... Отзывы... Вы не хотите, чтобы у романа были сторонники, вы — противник романа, вы и мой противник, но имейте в виду, ваши булавочные уколы не достигают цели.

— О каких уколах вы говорите?

— Сегодня вечером я должен был выступать в Будапеште, а вы мне не дали выезда.

— Мне доложили, что венгры не хотят вас принимать.

— Кто это, интересно, вам доложил?

— Ну... Доложили...

— Венгры мне вчера звонили, они в отчаянии от того, что я не приехал.

— Я сейчас все выясню, все будет оформлено, поезжайте. А приедете, звоните, вернемся к вашему роману.

Больше на этом съезде мне делать нечего. Я пошел в раздевалку. В фойе прохаживался Георгий Марков, показал на зал, где шло заседание:

— Пустые разговоры, нужно книги писать.

— Книги пишут, только их не печатают.

— Анатолий Наумович, приносите мне ваш роман, я

его прочту, пригласим товарищей, давших отзывы, обсудим...

— На ваших обсуждениях, Георгий Мокеевич, погиб роман Бека, а потом и сам Бек. Мне еще надо пожить.

Его бабье лицо выразило растерянность.

— Как хотите... Я от души.

Через несколько дней мы с Таней уехали в Будапешт. Выступление мое сорвалось — опоздал. Но повидался с переводчицей «Тяжелого песка», рассчитывал отдать когда-нибудь в ее руки и «Детей Арбата». Рождественские праздники провели с близкой Таниной подругой Жужей Раб и ее мужем Тибором. Жужа в Венгрии знаменита, ее стихи очень популярны, к тому же она перевела Ахматову, Цветаеву, Мандельштама, Есенина, других русских поэтов. С ней и Тибором ходили по Будапешту, побывали в местах, где происходили события 1956 года. Тяжело и больно это вспоминать...

В Москву выехали вечером 31 декабря. Жужа снабдила нас корзиной со снедью, вставив туда и бутылку палинки. Новый 1986 год встречали в поезде.

— Хорошая примета, — сказала Таня, — значит, весь год будем ездить.

И оказалась права. Начиная с 1986 года мы много ездили, но, бывая в разных странах, думали об одной, той, заснеженной, что увидели утром за окном вагона... «Вздыхать о сумрачной России, где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил»...

32

14 января — день моего рождения. Семьдесят пять лет — круглая дата. Таня накрыла стол на террасе, созвала гостей, пришли Булат с Олей, Белла Ахмадулина с Мессерером, приехали Дудинцевы, Мальцевы, Леночка Николаевская, Сидоровы, Аннинские, Борщаговские, Цигали, Старикова с Аптом, Лида Либединская, Женя Евтушенко, Галя, его бывшая жена — Танина подруга с молодых лет, Евгения Самойловна Ласкина и Алеша Симонов, Юля Хрущева, Елка Левина, Танины дети, мои дети: Алик с женой и Алеша, мой сын от второго брака. Способный парень, написал хороший роман, но по обстоятельствам нынешнего времени еще не издан. Собралось человек сорок. Не было только моего дорогого Васи Сухаревича — умер в 1982 году.

Произносили тосты, шутили, пили, ели, рассказывали новости. Чаковский, Софронов, Грибачев, мои ровесники, уходят якобы на пенсию. Альберта Беляева перевели из ЦК в газету «Советская культура», вместо реакционеров придут, возможно, более либеральные люди. Кто-то стал пересказывать, о чем последний раз говорил Горбачев, говорил он много, часто и длинно, как выразился мой кисловодский приятель, «мордовал» речами. Любит «свою образованность показать», цитирует классиков, неужели Пушкина не читал?

Будь молчалив; не должен царский голос
На воздухе теряться по-пустому.
Как звон святой, он должен лишь вещать
Велику скорбь или великий праздник.

Стремление Горбачева что-то изменить — бесспорно. Но знает ли он сам, чего хочет? Ясна ли ему цель? Способен ли

осуществить предстоящие стране перемены? России нужен великий реформатор. Является ли им этот чересчур разговорчивый человек с самодовольным лицом?

Неужели все вернется в брежневское болото? Черняев, помощник Горбачева, считает публикацию «Детей Арбата» делом чести, очищением, а аппаратчики после года перестройки запретили упоминать роман. Значит, сильны до сих пор.

Вскоре после нашего возвращения из Венгрии ко мне приехал корреспондент американского журнала «Тайм», сообщил, что на свое обращение в ВААП журнал ответа не получил. Но им известно, что я собираюсь в США, и они просят, когда буду в Нью-Йорке, связаться с редакцией. Вот телефоны...

Я по-прежнему был тверд в своем намерении публиковаться сначала в Советском Союзе. Однако мне 75 лет, я не вечен и не могу переложить на Таню ответственность за публикацию романа за границей. В «Тайме» роман прочитали, хотят печатать, этот запасной ход я должен иметь. Я взял телефоны редакции и обещал позвонить в Нью-Йорке.

Но в США меня не выпускали, тянули, срывали сроки оформления и, значит, саму поездку. Противно и стыдно рассказывать о моих трехмесячных (!) хождениях по кабинетам. Наконец Верченко прямо сказал:

— Я против твоей поездки. Американская печать изобразит тебя писателем, которого преследуют: не печатают его последний роман. Мы не хотим скандала.

— Скандал будет, если я не поеду, и предупреждаю: я не помогу вам из этого скандала выкрутиться, публично заявлю, что хотел поехать, а вы меня не выпустили. Подумай.

Он обещал подумать, но продолжал делать все, чтобы сорвать поездку. В Иностранной комиссии мне дали понять: документы в выездную комиссию Верченко отправил с таким опозданием, что комиссия не сумеет их в срок рассмотреть, да и сама комиссия предпочитает мне отказать.

Пришлось опять обращаться к Черняеву. Он посоветовал срочно написать Яковлеву по поводу поездки и снова просить о встрече.

Я написал короткое письмо. До вылета оставалась неде-

ля. В случае невыезда билеты надо сдать за три дня, то есть 31 марта.

Наступило 31 марта. Все кончено. Я собрался ехать в город, в кассу Аэрофлота. Вдруг позвонил Кузнецов, помощник Яковлева. Письмо мое получено, но Александр Николаевич очень занят, примет меня после возвращения из США.

— Я не вернусь из США.

— Как это не вернетесь? — испугался он.

— Мне неоткуда возвращаться, я не еду, документов нет, сдаю билеты.

Он с облегчением рассмеялся:

— Нет, все в порядке, вы едете.

Оказалось, Яковлев затребовал документы и подписал разрешение на выезд.

До отлета два дня. Лихорадочно оформляем паспорта, получаем валюту. Дома звонок за звонком: поздравляют с поездкой — знают о борьбе, которую я вел.

Евтушенко принес «Огонек», где опубликованы его последние стихи, просит передать Нине Буис — его переводчице и другу. Тут же ее телефоны — Нью-Йорк, дача. На всякий случай — мужа зовут Жан, он француз. «Вы же говорите по-французски, Анатолий Наумович? И учтите: Нина Буис — прекрасный переводчик».

3 апреля мы с Таней вылетели из Шереметьева. США не принимали самолеты Аэрофлота: бойкот из-за вторжения в Афганистан продолжался. Приземлились в Монреале, а оттуда с аэродрома Дарвал уже канадским самолетом нас отправят в Нью-Йорк.

Зал ожидания полон света — солнце бьет в окна. Сидим, ждем отлета. И вдруг перед нами начинает клубиться толпа, в центре ее — радостно возбужденный Георгий Арбатов, директор Института Америки и Канады, прилетевший из Москвы с большой группой сотрудников одним с нами самолетом. Потерял в дороге паспорт, и теперь посольские суетятся, оформляют новый. На лице улыбка, та же улыбка была и на фотографиях из Флориды, помещенных несколькими днями позже в нью-йоркских газетах: Арбатов в бассейне плавает рядом с дельфинами.

Арбатов подошел к нам:

— Рад с вами познакомиться, читал ваш роман, выше всяких похвал, когда-нибудь наши внуки и правнуки прочитают, будут знать, как мы жили.

— Я надеюсь, что и мои современники прочитают.

— Хорошо бы, конечно, но... — Он сделал огорченное лицо, развел руками: — Неосуществимо, к сожалению, нельзя разъединять людей.

Таня опустила глаза. Ее всегда возмущало, когда вот так, походя, мне разъясняют, что «Детям Арбата» еще лежать и лежать в столе.

— Нельзя разъединять людей? Я со сталинистами давно разъединился.

Тут его подхватили, самолет отлетает (Арбатов направлялся в Гарвард), он помахал нам ручкой и, окруженный свитой, заторопился к выходу.

В Нью-Йорке из гостиницы мы позвонили Нине Буис. Вскоре в нашем номере появилась этакая кустодиевская красавица, взяла присланный Евтушенко «Огонек» и, сидя в кресле, улыбаясь, спросила: «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Этот вопрос мы слышим от Нины уже много лет, он произносится всегда с улыбкой, поэтому просить ее легко. На следующее утро я ждал Герберта Митганга, главу отдела литературы газеты «Нью-Йорк таймс». «Я с удовольствием буду переводить», — сказала Нина. Митгангу о «Детях Арбата» рассказывал Крейг Уитни, о романе мы и говорили.

Нине Буис не удалось перевести «Детей Арбата», издательство поручило перевод другому. Зато оба последующих романа трилогии — «Страх» и «Прах и пепел» — перевела она. В рецензии на роман «Прах и пепел» Нина была названа лучшим в Америке переводчиком с русского.

Начались мои лекции в университетах Восточного побережья: Колумбийском, Принстонском, Йельском, Пенсильванском, Брин-Мор колледже в Филадельфии. Выступления освещались в печати. Во всех интервью я говорил о том, что у меня готов к публикации в СССР новый роман «Дети Арбата».

Первый раз я был в США в шестидесятых годах, с

туристской писательской группой. Особенного интереса к нам тогда не проявляли. В одном колледже в столовой, во время ланча, студенты, увидев нас, поснимали ботинки и со смехом застучали ими по столам, подражая Хрущеву, выступавшему в ООН.

В конце семидесятых — начале восьмидесятых мы с Таней побывали во многих странах Европы на презентации «Тяжелого песка». Интерес к роману был большой, но свою недоброжелательность к СССР из-за Афганистана люди не скрывали. На их упреки я отвечал: «Разве в вашей стране писатели несут ответственность за действия своего правительства? Не несут. Почему же вы требуете этого от меня?»

Теперь ботинками не стучали, Афганистаном не попрекали, спрашивали о другом.

Лишь в частной школе «Чоат Розмари», где был специальный курс о Холокосте, разговор ограничился «Тяжелым песком». «Тяжелый песок» читали всюду, где я выступал, но в университетах основной темой была наша перестройка, американцев она интересовала. После того как написал «Детей Арбата», я имел что сказать о Сталине, народу на мои лекции собиралось много, аудитории были заполнены, публика доброжелательна, люди чувствовали приближение новых времен. В Йельском университете на отделении славистики задавали тон «новые» эмигранты — Венцлова и Рудич, выложили свои претензии к Советскому Союзу. Я был против Сталина, но никогда не ставил знак равенства между ним и своей страной. Симпатии аудитории оказались на моей стороне.

Из Йеля мы отправились в Филадельфию, в Брин-Мор колледж, где профессор Сергей Давыдов — потомок знаменитого нашего поэта и партизана Дениса Давыдова — встретил нас словами:

— Говорят, в Йеле ваше выступление было чрезвычайно интересным.

— Кто это говорит?

— Мне звонили из Йеля Венцлова и Рудич.

— «Выступление чрезвычайно интересное», а сами на меня кидались.

— Одно другому не мешает. А вас ожидает сюрприз.

Только он это произнес, в дверях появилась пара — высокие, подтянутые, спортивные, смотрят на нас с улыбкой. Так мы познакомились с профессором Принстонского университета Робертом Такером и его женой Женей, с которыми с тех пор и дружим. В тот вечер лил проливной дождь, от Принстона до Брин-Мора в Филадельфии почти три часа езды на машине, но они, узнав, что я там выступаю, приехали.

В 1973 году Такер издал книгу «Сталин — путь к власти». Он считается в США одним из главных специалистов по Сталину и истории Советского Союза сталинского периода. Поэтому «Тайм» прислал Такерам на рецензию «Детей Арбата», они написали хороший отзыв. Однако «Тайм» поставил условие: по прочтении рукопись уничтожить, что Такеры с великим сожалением и сделали — сожгли в камине. История любви и женитьбы Такеров необычна, я потом расскажу о ней.

Выступлением в Филадельфии закончилась первая половина поездки. Перед вылетом на Западное побережье три дня мы посвятили осмотру Нью-Йорка. Нашим гидом был Танин двоюродный племянник Миша Одноралов, художник, уехавший в США в 1980 году после знаменитых «бульдозерной» и «измайловской» выставок, в которых принимал участие. Тем не менее Третьяковская галерея купила одну из его работ, которая время от времени выставляется в Москве. Мишина жена умерла от лейкемии, на руках остались две дочери — семи и тринадцати лет, с которыми он и прибыл в Нью-Йорк. Быстрый, ловкий, с неожиданным для небольшого роста трубным голосом, он для начала повез нас в Сохо, и мы увидели работы Комара и Меламида, где пародийно был представлен Сталин. Миша был доволен: «Твой герой».

«У нас...» — говорил он, мы не понимали поначалу, где у нас — в Москве, городе, в котором он родился, или в Нью-Йорке, куда приехал 35-летним. Потом поняли: «у нас» означало «в Америке».

В Гринич-Виллидже, районе богемы и интеллигенции, посидели в кафе, где стоит экран и непрерывно крутят фильмы Чаплина. «Ты же любишь, Толечка, Чаплина, смотри...»

Провез нас по ночному сверкающему огнями Манхэттену, спрашивая: «Ну как?» Остановился возле японского ресторана: обязательно надо попробовать специальное мороженое с примесью зеленого чая. Попробовали. Подошли к машине — под дворником на ветровом стекле штраф: неправильно припарковался. За эти дни бедняга получил пять штрафов, долларов на триста, деньги для Миши большие, но он махнул рукой: «Пойду к судье, отобьюсь».

Другой Танин двоюродный племянник — Андрей Наврозов — поехал с нами в Нью-Хевен, где находится Йельский университет, который он окончил. Андрея привезли в Америку ребенком — бело-розовым холеным московским мальчиком четырнадцати лет. В 1986 году ему стукнуло тридцать. Принес книжечку своих переводов Пастернака. Читал их вслух, но мы английского не знали. Захватил с собой и рукопись переводов на русский стихов Эмили Дикинсон. «Тетя Таня, положите сразу в чемодан, чтобы не забыть». Поведал свои сердечные тайны. Развелся с женой. Девушка, на которой хотелось бы жениться, хороша собой и богата (!), но все может сорваться... слишком молода.

— Сколько же ей? Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать?

Он наклонился, прошептал Тане на ухо:

— Восемнадцать...

У нас в гостинице троюродные братья впервые увидели друг друга. В этой паре Андрей был как бы «белой костью»: Йель, Пастернак, Эмили Дикинсон... А Миша — «черной»... Чтобы поднять девочек, в основном шоферил, хорошо, когда подваливал заказ на реставрацию, но ночью ли, днем все-таки успевал делать что-то и для себя.

Как протекает их жизнь теперь? Андрей на той девушке женился. Возраст не помешал. Укатили в Лондон. Порхают в «высшем свете». Переводами Эмили Дикинсон, которые Таня привезла в Москву, никто не заинтересовался. Попались мне недавно его статейки, пописывает человек: неумно, невежественно. Пустоцвет.

А у Миши и здесь картины купили два музея. И готовится в Нью-Йорке персональная выставка. Девочки давно на ногах. Нынешнюю жену он привез из Тель-Авива, служила в

армии обороны Израиля, была лейтенантом. Программист. Привлекательна, добра, с юмором. Он — истовый православный и правых убеждений, его Хая — левой ориентации и атеистка, что отнюдь не мешает им жить в мире и согласии.

После Оклахомского университета — Стэнфордский на восточном Тихоокеанском побережье, возле Сан-Франциско. Как и другие университеты, Стэнфордский охвачен движением протеста против апартеида в Южной Африке. Митинги, собрания, сборы денег. Некоторые студенты из кампусов переселились в самодельные хижины из картона. В знак солидарности с населением Южной Африки приблизились, так сказать, к образу их жизни. Полиция хижины сжигает (антисанитарны), студенты их восстанавливают, полиция студентов арестовывает, держит по два-три часа в участках, потом отпускает. Общественная жизнь кипит. Кроме университета, я выступал в обществе «Мир без войн».

По Сан-Франциско, красивейшему городу США, нас возила Ольга Карлайл, внучка Леонида Андреева. Между ней, ее мужем, известным американским писателем Карлайлом, и Солженицыным произошли какие-то недоразумения. Ольга написала и издала во Франции и Америке книгу, разъясняющую суть конфликта. И нам о нем рассказывала. В начале девяностых годов эту книгу перевели на русский и опубликовали в журнале «Вопросы литературы».

Наконец мы в Гарвардском университете, быть может, самом интересном пункте нашей поездки. Пробыли здесь неделю, жили в коммуне аспирантов. Гарвард — крупнейший в США центр советологии. Не берусь судить о квалификации местных знатоков Советского Союза, но те, с кем я встречался, не производили на меня большого впечатления, эрудиция их была ограничена стереотипом: «империя зла». Встречи происходили ежедневно, с участием большого количества людей. Значение перестройки они понимали, но рассматривали ее с позиций «одоления противника». Никто из них, конечно, не предвидел столь быстрого «крушения коммунизма», которое произошло в последние пять лет, нынешние их утверждения, будто это — результат разработанной ими политики, не соответствуют истине. Советский Союз рухнул под действием других, внутренних причин.

Предвидел ли я сам конечный результат перестройки? В то время, в 1986 году, нет, не предвидел. Я опасался реставрации сталинизма в его брежневском исполнении, ощущал эту опасность справа, со стороны партноменклатуры, не желающей поступиться своей властью и привилегиями, но никогда не думал, что именно партноменклатура захочет другой власти, *власти денег*, не представлял себе их способности к подобному перевоплощению. Этот слой казался мне окостеневшим, замшелым в привычном стиле жизни, я не ожидал от них этакой прыти, не мог помыслить, что ради «мерседесов» и банковских счетов за границей они с такой легкостью развалят государство, созданное трудом и защищенное в войне кровью их отцов и дедов.

В Бостоне проживало много новых эмигрантов из Советского Союза, встреча была организована в одной из самых больших аудиторий города. Зал был набит битком. Именно здесь впервые прозвучало слово «Чернобыль». Одна из слушательниц возмутилась, почему советское правительство умалчивает об этой страшной катастрофе и почему ничего не говорю о ней я?! Какой Чернобыль, какая катастрофа?.. Мне действительно ничего не было известно: английским не владею, местных газет не читал.

Более подробно о Чернобыле я узнал от Такеров в Принстоне, куда мы с Таней прилетели из Бостона. Авария произошла в ночь с 25 на 26 апреля. Но советская пресса и радио фактически молчат, никакого правительственного сообщения нет, никто из руководителей страны не выступил. Такер ссылался на мнение принстонских ученых: те предполагают, что по своим последствиям для России и близлежащих стран Европы взрыв в Чернобыле может оказаться самой страшной атомной катастрофой.

Я был поражен молчанием Горбачева. В такой момент не обратиться к народу?! Не объявить случившееся национальным бедствием и сплотить тем самым людей? Уйти в сторону! К чему он приведет страну? Что ждет всех нас?!

В гостеприимном доме Такеров мы провели сутки. Поездили по Принстону, уютному университетскому городку, видели здание, где работал Эйнштейн, побывали на ежегодном представлении студенческого театра.

История Роберта и Жени такова. В начале войны молодой аспирант Гарвардского университета Роберт Такер прошел интенсивную программу изучения русского языка и был направлен в посольство США в Москву для составления сводок русской прессы. В Москве он познакомился со студенткой Полиграфического института (тот же институт, кстати, окончила моя Таня) Женей Пестрецовой. Они полюбили друг друга и в августе 1946 года поженились, собираясь по окончании срока службы Роберта уехать в США. Но в 1947 году в СССР вышел указ, запрещающий браки между советскими гражданами и иностранцами. Закон не имел обратной силы, и все равно женам иностранцев виз не выдавали. Женя получила визу только после смерти Сталина. Тут же они уехали в США, где Роберт стал ученым, а Женя почти 25 лет преподавала в Принстоне русский язык. Однако Роберт вывез из России не только жену и помощницу. Пробыв там около десяти лет, он на себе, своей судьбе и судьбе Жени ощутил сталинский гнет, десять лет размышлял о Сталине и продолжал заниматься исследованием этого персонажа, вернувшись в Штаты. Результатом чего и явилась упомянутая мною его книга о Сталине. Издана и вторая книга, в работе — третья.

На следующий день вместе с Такерами, на их машине, мы отправились в Нью-Йорк, в громадное здание на Avenue of the Americas, на встречу с руководителями журнала «Тайм».

Поднялись на 24-й или 27-й этаж, где помещался фешенебельный ресторан. Подождали немного, и вот в конце коридора появились руководители «Тайма». Впереди шел Генри Грюнвальд, плотный, приземистый, с хмурым лицом, за ним его помощники Рей Кейв и Строб Талбот. Внушительная процессия, и шествовали они внушительно. Генри Грюнвальда и Рея Кейва мы видели по телевизору в Москве: они брали интервью у Михаила Горбачева. Сильные журналисты.

Стол был накрыт для ланча.

Переводил Такер. Знал русский язык и Строб Талбот. После недолгой светской беседы о наших американских впечатлениях приступили к делу. Такер и Талбот зачитали свои отзывы о романе, я коротко изложил положение с его публикацией. Грюнвальд спросил, готов ли я заключить кон-

тракт на публикацию романа в США с их дочерним издательством «Little Brown» и каковы мои условия. Я ответил, что не теряю надежды на издание романа в Советском Союзе и потому подписать контракт сейчас не могу. «Тайм» должен подождать ровно год — до 8 мая 1987 года. Если за это время роман не выйдет в СССР, я им разрешаю издать его в США, если же его издадут в СССР, то обещаю официально, через ВААП, дать им право на издание.

— Значит, мы можем переводить? — спросил Грюнвальд.

— Пожалуйста.

— Какие же гарантии, что мы в конечном счете получим права?

— Гарантии? Гарантия — мое слово.

Наступило молчание. В Америке всякий договор должен быть юридически оформлен. А тут просто «слово». Что-то неожиданное прозвучало для них в моем ответе. Они переглянулись, но никто мне не возразил, перед ними сидел писатель из другого мира, с другими представлениями, другими понятиями.

— Хорошо, — сказал Грюнвальд, — начинаем перевод и ждем до восьмого мая будущего года.

Когда в апреле 1987 года роман начал публиковаться в СССР, из Америки на него поступили заявки от издательств, более крупных и мощных, чем «Little Brown», но я сдержал слово и отдал право печатания именно ему.

А тогда я ушел из «Тайма» с сознанием: как бы ни сложилась наша с Таней жизнь в дальнейшем, судьба романа обеспечена, теперь он не пропадет, не затеряется.

33

Мы прилетели в Москву 12 мая. Тут же я позвонил в ЦК Кузнецову, напомнил об обещании Яковлева принять меня после возвращения из США.

— Доложу Александру Николаевичу и перезвоню вам.

Яковлев принял меня через две недели. Встреча была назначена на 11 часов утра, потом перенесена на 2 часа дня. Приехали мы на Старую площадь, Таня осталась ждать в машине, а я отправился к Яковлеву, ставшему в ту пору уже секретарем ЦК КПСС. Второй после Горбачева человек в партии и, как поговаривали, инициатор и теоретик перестройки.

Коренастый человек с залысинами, с приветливым лицом. Принял меня дружелюбно:

— Здравствуйте, Анатолий Наумович, очень рад встрече с вами.

Я ответил ему так же дружелюбно, относился к Яковлеву с уважением, в начале семидесятых читал его статью «Об антиисторизме», направленную против отечественных черносотенцев. Сразу спросил: читал ли он мой роман или только слышал о нем.

Поколебавшись немного, он ответил:

— Мы с вами взрослые люди, фронтовики, будем говорить без обиняков, прямо и честно, да, я читал ваш роман, но не как секретарь ЦК, а как директор Института экономики. Штука сильная, написана хорошо, читается великолепно. Но у меня два замечания. Первое — вина Сталина в убийстве Кирова не доказана. Хрущев пытался доказать, но не сумел. Будучи послом в Канаде, я прочитал массу литературы на эту тему, злобной, антисоветской и бездоказательной. В вашем романе действуют исторические личности, значит, вы должны придерживаться исторических фактов, а этот факт не доказан.

Второе возражение — в романе много сексуального. Молодые люди, девицы только и думают, с кем бы переспать. Я тоже был молодой, но в наше время так не думали...

Я улыбнулся, это от него не ускользнуло.

— Сколько вам было лет, Александр Николаевич, когда вы ушли в армию?

— Семнадцать с половиной.

— Не было бы войны, вы бы через год-два спали с девочками за милую душу.

— Особенно не настаиваю на этом. Главное — Киров.

— Вы знакомы с выводами комиссии Шатуновской?

— У нас этих материалов нет.

— Жаль, там доказано, что это сделал Сталин. Убийство Кирова помогло ему развязать террор в Ленинграде, а затем распространить его на весь Советский Союз. Разве не Сталин приказал убить Постышева, Коссиора, Рудзутака, Эйхе и других членов Политбюро? А где письменные доказательства? Разве не по приказу Сталина истреблены почти все делегаты Семнадцатого съезда партии и девяносто процентов избранного им ЦК? Где его письменные распоряжения? Их нет. Тираны не дают письменных указаний, убивая неугодных. Почему же именно о Кирове вы требуете предъявить письменное доказательство?

— Сам-то Киров был такой уж святой?

— Я не писал Кирова святым. Но не Киров убил Сталина, а Сталин убил Кирова.

— И все-таки к Сталину вы относитесь с предубеждением. Я кое-где даже карандашом подчеркнул.

— Это неверно, Александр Николаевич, думаю, что я создал объективный портрет Сталина. Некоторые ваши коллеги-международники считают даже, что я смягчил этот образ, написал крупного государственного деятеля.

— Я понимаю, конечно, у вас художественная проза, но ваш роман читается как реальная история, будто эти исторические лица действительно так говорили. Меня поразила одна фраза Сталина. Он приказывает расстрелять белых офицеров, ему возражают: незаконно, возникнут проблемы. Сталин отвечает: «Смерть решает все проблемы. Нет человека — нет проблем». Где Сталин это сказал? В его сочинениях такого нет.

Я спросил одного специалиста по Сталину: «Может быть, в чьих-то воспоминаниях о Сталине это есть?» Он ответил: «Нигде нет, Рыбаков сам это придумал». Рискованно, надо сказать... Такие слова! «Смерть решает все проблемы. Нет человека — нет проблем». Это значит — убивай, и дело с концом! Это — людоедская философия. Вы действительно сами выдумали и приписали Сталину эту фразу?

— Возможно, от кого-то услышал, возможно, сам придумал. Ну и что? Разве Сталин поступал по-другому? Убеждал своих противников, оппонентов? Нет, он их истреблял... «Нет человека — нет проблем...» Таков был сталинский принцип. Я просто коротко его сформулировал. Это право художника.

— Вы не думайте, я сам против Сталина, я вырос в деревне, с двенадцати лет работал, мой отец был председателем колхоза, участвовал в гражданской войне, преданный коммунист, его три раза пытались арестовать, он скрывался, мой отец ненавидел Сталина, у нас в доме висел только портрет Ленина. И все же нельзя отрицать, что Сталин создал промышленность, создал сильное промышленное государство.

— А какой ценой? Где наше сельское хозяйство?

— Да, беда с сельским хозяйством. Но я вам скажу: колхозы себя оправдали, я помню, как мы хорошо жили.

— Тогда, до войны, еще действовала вековая привычка крестьянина к своему труду. А во что колхозы превратились сейчас? Война выбила в деревне все мужское население, а те, кто подросли после войны, повалили в город. Война...

— Не говорите о войне, — перебил он меня, — я не могу смотреть фильмы о войне — такая ложь. Я служил в морской пехоте. Приказали взять такой-то пункт, там один пулемет, достаточно десяти человек: подобраться, снять пулеметчика, и дело с концом. Нет, посылаем три роты, пулемет косит их начисто, берем пункт, потом докладываем: ценою потери трехсот человек — взяли! Начальство получает ордена. Трупами брали в ту войну.

— Сталин обесценил человеческую жизнь еще до войны. Каких жертв стоили все его бесчеловечные акции: раскулачивание, коллективизация, индустриализация, тридцатые годы, террор, лагеря, депортация... Подсчитать — на много, много миллионов потянет. Сталин обескровил наше общество. Вы

говорите: создал промышленность. Но ведь она ничего не дает людям, все нацелено на оборону, в магазинах пустые полки, думаете, народ будет долго терпеть?

— Экономика сейчас главное, — согласился он, — мы это понимаем, ломаем голову. Сегодня с Михаилом Сергеевичем полдня просидели. Поэтому я вас попросил прийти позже. Мы не знаем, ну что делать? Даем директорам все права. И что вы думаете? Они не хотят пользоваться этими правами, они желают жить, как жили.

— Нет, Александр Николаевич, они не могут иначе жить в настоящих условиях. В стране все монополизировано. Уж скоро полтора года перестройки, а страна продолжает жить в сталинском режиме, в сталинском оцепенении. Нужны быстрые, решительные, революционные меры.

— Революционные меры принимаются только во время революции, а после революции, к сожалению, наступает бардак. Это показал опыт и Французской революции, и нашей.

— Простите, Александр Николаевич, какого вы года рождения?

— Двадцать третьего.

— В двадцать третьем мне было двенадцать лет, мы, знаете ли, тогда быстро развивались, я отлично помню то время. В двадцать первом сидели на осьмушке хлеба, без отопления, без лифта, заводы и фабрики стояли, деньги считались на миллионы и ничего не стоили. А в двадцать третьем уже все было: твердая валюта — червонец, магазины полны товаров и, заметьте, частные магазины, даже частные издательства появились, газеты. За один год Ленин все перевернул, не побоялся.

— Ну, тогда нэп был.

— В тех условиях нэп был тоже революцией, только бескровной. Кровь льется, когда надо власть отнять. А тогда власть была в руках у Ленина. И никакой крови не понадобилось. Сталин в интересах своей личной диктатуры ликвидировал нэп, создал эту окостеневшую систему, неспособную к техническому прогрессу, к развитию. Надо возвращаться к нэпу, Александр Николаевич: банки, тяжелая промышленность, транспорт — у государства, все остальное, включая торговлю, у частника. Надо вводить нэп, пока рычаги у вас, а

будете колебаться, рычаги вырвут, тогда поздно будет, они, как стадо бизонов, вас затопчут.

Он смотрел на меня из-под лохматых бровей.

— Ваши противники показывают на Горбачева, на вас и говорят: «Смотрите, эти ничего не могут сделать, а Сталин все мог». Сталина надо разоблачить до конца, развеять его культ, показать, что сталинский путь ведет к гибели государства. Потому я и считаю печатание моего романа неизбежным. За кем пойдет интеллигенция? Творческая, научная, техническая и так далее? Она не приемлет Сталина, и если вы интеллигенцию не возглавите, если она разочаруется в вас, она уйдет под другие знамена. Вам передали отзывы о моем романе, это не просто рецензии, это умонастроение общества.

— Ну, Анатолий Наумович, отзывы эти нам передали для поддержки романа.

— Да. Публикация романа — серьезная антисталинская акция. Именно на этой акции все и настаивают.

Он молчал некоторое время, обдумывал, потом сказал:

— Вы меня не убедили в отношении убийства Кирова. Но ваша убежденность, что роман необходимо издать, на меня подействовала. Договоримся так: прочитайте снова роман, внесите поправки, какие считаете нужными после нашего разговора. Подумайте, подумайте, где можно.

— Я, конечно, прочитаю, но в концепции романа ничего менять не буду.

— Понятно, понятно, просто учтите наш разговор. И дайте мне. Только первый экземпляр, а то я читал совсем слепой, больше не могу. Ведь все ко мне несут, видите... — он показал на толстую папку, — новый роман Дудинцева «Белые одежды».

— Дудинцев — герой. Он писал этот роман много лет, голодал, бедствовал после разгрома «Не хлебом единым», а все же работал! Хороший роман, я его читал.

— Возможно, только очень большой, страшно за него браться.

— Зачем вам приносят рукописи, Александр Николаевич? Дайте свободу, чтобы люди могли говорить, что хотят. Сами дайте, от имени советской власти. Хватит страха, запретов, невыносимо уже.

— Ладно, ладно, все образуется...

Он встал, проводил меня до двери.

— Приносите роман, только просмотрите, просмотрите. Ведь роман ваш попал ко мне как к частному лицу, а теперь вы дадите мне его официально, значит, надо будет принимать решение.

Я остановился в дверях.

— Только без ИМЭЛа, Александр Николаевич, ИМЭЛ должен заниматься историческими трудами, а не художественными произведениями.

— Посмотрим, посмотрим, дайте мне хороший экземпляр.

— Ну как? — спросила Таня в машине.

— Трудно сказать... Человек, видимо, неплохой, смекалистый, но растерянный. Власть взяли, а что с ней делать, не знают.

Таня сидела на заднем сиденье, я повернулся к ней:

— Я тебе прочту четверостишие, скажи, кто автор.

Портретов Ленина не видно,
Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет.

— Не знаю, кто автор. Почему ты спрашиваешь?

— Яковлев сказал, что у них дома висел только портрет Ленина. Вот и вспомнилось... Едем, запишем этот разговор, придется снова вкалывать: он требует переделок. В общем, «побредем ужо, Марковна».

Танино отчество — Марковна, как и у жены протопопа Аввакума. И когда предстоял очередной круг работы, я повторял его слова: «Побредем ужо, Марковна», добавляя от себя: «голубушка моя милая».

34

Снова за работу, в который раз! 938 страниц! Конечно, каждое новое прочтение, новая редакция улучшают текст. Но менять ничего в главном я не буду. Уберу кое-какие резкости, завуалирую некоторые обобщения, читатель все поймет.

От работы отрывают, непрерывно звонит телефон, один за другим приезжают иностранные корреспонденты, я им говорю: «Опубликуют роман, все узнаете», но они, дотошные, расспрашивают, сообщают: «В Москве готовится литературная бомба...»

Разыскал я Шатуновскую, дозвонился, она болеет, попросила позвонить недели через две. Говорила слабым голосом, неохотно: или совсем плоха, или не хочет обсуждать «кировскую» тему, может, запретили?..

24 июня открылся съезд писателей, теперь уже не РСФСР, а СССР. Докладчику, Маркову, стало плохо на трибуне, увезли в больницу, доклад за него дочитал Карпов.

Перед съездом Гранин обещал сказать в своем выступлении о моем романе. Не сказал. Спрашиваю: почему? Отвечает: «Верченко отсоветовал, мол, будет хуже для романа».

На следующее утро я позвонил Яковлеву.

— Он уезжает на съезд писателей, — ответил секретарь, — позвоните вечером.

— Вот со съезда я и говорю.

Подействовало. Яковлев курирует съезд. Соединили.

— Александр Николаевич, — говорю, — я разыскал Шатуновскую, есть ее телефон, со мной она говорить не стала, а вам, конечно, скажет, где материалы по Кирову.

— Материалы и без Шатуновской можем найти. Дело в политической целесообразности возвращения к этому вопросу, — сухо ответил он.

— Смотрите... Второе: на съезде о романе хотел говорить Гранин, но ему не позволили, выкручивали руки, как и Евтушенко на прошлом съезде.

— А что, выступление Гранина помогло бы роману?

— Конечно, это общественное мнение.

Он нетерпеливо возразил:

— Анатолий Наумович, кто может Гранину выкрутить руки? Или тому же Евтушенко? Они сами кому хотите выкрутят руки.

— Ладно, и, наконец, последнее. Я сделал новый вариант романа, снял то, что вас не устраивало. Как мне его вам передать?

— Это вопрос техники. Я читал роман как частное лицо, теперь он должен пройти официально через определенные инстанции. Наш отдел культуры пусть почитает, и Союз писателей пусть обсудит, свое мнение выскажут.

— Поправки дали *вы*, Александр Николаевич, я работал над *вашими* поправками, пожалуйста, посмотрите, сделал ли я то, что вы предлагали. Никому, кроме вас, я роман не дам, а вы уж решайте — будете роман читать или передадите в отдел культуры, в Союз писателей, в архив, в Театр сатиры, в Госцирк, наконец, кому угодно, это уж дело ваше.

— Анатолий Наумович, зачем вы так?!

— А как еще, Александр Николаевич?! Мы с вами сидели два часа, все вроде бы обговорили, я месяц работал, это ведь не очерк, роман, почти тысяча страниц. А теперь вы отдадите его людям, которые не знают о нашем разговоре, не знают о той работе, которую я проделал. Они сами накидают мне еще тысячу поправок, на это они мастера. Мой роман, Александр Николаевич, — это не футбольный мяч, который можно гонять от одного игрока к другому.

— Ну, хорошо, хорошо, не нервничайте, приносите роман, отдайте Кузнецову, я его предупрежу.

Этот разговор был утром, а на вечернем заседании съезда ко мне подошел Баруздин.

— Толя, со мной беседовал Александр Николаевич Яковлев, хвалил твой роман.

— Очень хорошо, печатай.

— Он сказал, что надо кое-что сделать.

— Я все сделал, печатай, печатай.

— Прямо с колес я пустить не могу. У нас очень большой портфель, писатели ждут по году.

— Несерьезно, Сережа. Ты имеешь указание секретаря ЦК партии. Чего тебе еще нужно?

— Никакого указания Яковлев не дал, я ему жаловался, что не пропускают Тендрякова, и он сказал: «Есть еще интересный роман Рыбакова». Это не указание, а просто читательское мнение...

— Я ваших тонкостей не понимаю, решай: будешь печатать роман или нет?

— Я должен подумать, мы еще вернемся к этому, — уклончиво ответил он.

Итак, Яковлев осторожно зондирует почву, возможно, после нашего утреннего разговора хочет действовать через Баруздина. Но отношение Баруздина к роману, а главное, к Сталину мне известно, нахлебаюсь я с ним.

Тут же разыскал Ананьева:

— Торопись, Толя, один главный редактор журнала уже закидывает удочку насчет романа.

— Кто этот главный редактор?

— Сказать не могу, не имею права. С ним говорил Яковлев, одобрил роман.

— Обманул тебя твой главный редактор. Ничего ему Яковлев не мог сказать, ведь он не читал романа, так ведь? Читал Яковлев твой роман?

— У него спроси.

— И спрашивать не буду. Съезд заканчивается, слышал выступления? Хоть один произнес это имя?

— Какое имя?

— Сталина. Его даже упоминать нельзя — ни за, ни против. А ты хочешь, чтобы твой роман напечатали. Ты знаешь мое отношение к «Детям Арбата». Два года уже,

как я с ними разбежался, а меня мордой об стол. Второй раз не хочу.

Получили от машинистки новый вариант романа. Вычитали с Таней. Ошибок полно, надо забеливать, подклеивать, перепечатывать абзацы, страницы...

Отвез рукопись в ЦК Кузнецову, помощнику Яковлева. Он забыл выписать мне пропуск, но охранники, узнав, что я автор «Кортика», связались с ним, пропустили. Кузнецов долго извинялся: думал, я знаю его внутренний телефон, позвоню снизу. Сын бывшего секретаря Ленинградского обкома А. А. Кузнецова, расстрелянного по приказу Сталина в 1950 году по известному «Ленинградскому делу», относился ко мне с симпатией. Красивый брюнет лет сорока, однако глаза типично «цековские» — серые, холодные, смотрят прямо на собеседника. Но и я, как всегда в таких случаях, вперся в него взглядом. Опустить глаза пришлось ему.

Я положил на стол рукопись и письмо Яковлеву, где коротко изложил, что именно я сделал, и повторил, что ни в каких обсуждениях участвовать не буду, его, Яковлева, требования выполнил, этот вариант *последний*, прошу или передать роман для публикации, или вернуть мне, я сам решу его судьбу.

Кузнецов прочитал письмо, покачал головой.

— Но ведь сейчас положение в Союзе писателей изменилось, выбрано представительное бюро, так сказать, мозговой центр, теперь сами писатели будут решать судьбу литературы.

— Бюро — это аппаратные игры, Валерий Алексеевич, мертворожденная организация. Власть у тех, у кого на столе правительственный телефон — вертушка, они попрежнему будут душить литературу. Я свой роман на удушение не отдам, так прямо и скажите Александру Николаевичу.

— Александр Николаевич будет огорчен, он да и все мы считаем, что на съезде многое сдвинуто с места.

— Будут публиковать правду, тогда можно будет говорить о достижениях. Все остальное, простите, болтовня.

— Тут про вас ходит много разговоров, говорят, вы сидели...

Я кивнул на рукопись:

— Прочитайте, все узнаете.

— Обязательно... Говорят, вы воевали...

— Да, в Восьмой гвардейской армии.

— Это та, что была под Сталинградом Шестьдесят второй?

— Та самая.

— А вы знаете, эту армию создал Колпакчи, мой тесть, я женат на его дочери.

— Колпакчи — знаменитый генерал, хорошо воевал. На фронте мы это имя слышали. Жаль, погиб так нелепо.

— Да, авиакатастрофа... Хорошо, Анатолий Наумович, ни о чем не беспокойтесь, все передам Александру Николаевичу — и рукопись, и нашу беседу.

Второй раз Яковлев читать роман не будет, но «по кругу» его не пустит. Скорее всего, передаст Баруздину, скажет, что он от меня требовал, — пусть Баруздин проверит, внес ли я эти поправки, и вообще пусть посмотрит и решит как главный редактор.

Мои предположения оправдались частично: Яковлев сказал Баруздину о поправках, но рукописи не переслал — переслать рукопись значило бы дать письменную директиву о публикации. Такой директивы Яковлев давать не хотел, все на словах: обычная цековская манера. 9 августа Баруздин мне позвонил, в тот же день на даче в Переделкине я ему передал рукопись, через неделю он прислал мне свой отзыв. Приведу его заключительные абзацы:

«1. Надо снять письмо Николаева Сталину, дабы версия о причастности Сталина к убийству Кирова не была воспринята как реальный факт.

2. Нужен небольшой, но емкий, оптимистический эпилог романа. Негоже заканчивать роман словами: «Россия зальется кровью».

3. Сталин по-прежнему рисуется как откровенный «злодей», циничный, трусливый, слабый, без конца внутрен-

не спорящий с Лениным, в грош не ставящий своих соратников, неуважительно говорящий о русских и евреях, наконец, как нетерпимый, капризный интриган и т. д. и т. п... Невольно возникает вопрос, как же после смерти Ленина мы под руководством этого «злодея» превратили нищую Россию в развитое государство, победили фашизм и как, наконец, под его же руководством восстановили разрушенную немцами страну?..

Поскольку роман по своему объему для журнала неподъемен, встает вопрос о журнальном варианте объемом 18—20 листов. Автор должен убрать из него все категорические излишества по части образа Сталина».

Мой ответ был коротким:

«Понятие "журнальный вариант" — сомнительно. Если роман поддается сокращению, не теряя смысла и художественных достоинств, его надо сократить и в книге. Если он эти достоинства теряет, его нельзя сокращать ни в журнале, ни в книге. Поработаем, и тогда определится окончательный размер публикации».

Сергей Баруздин был человек писучий, ответил и на это письмо. Привожу из него некоторые строки, показывающие, «откуда растут ноги»:

«...путем сокращения убрать одностороннее, сугубо субъективное изображение Сталина. Зная соображения А. Н. Яковлева из первоисточника, я не убежден, что ты воспользовался всеми его советами. Договоримся так: «Дети Арбата» прочитают мои товарищи по редакции, соберемся, попытаемся прийти к общему знаменателю».

Заседание редколлегии журнала состоялось 9 сентября 1986 года. Начал, естественно, Баруздин:

— Толя, все, что я тебе писал, то, что будут говорить здесь товарищи, — это личное мнение каждого. Хочешь — принимай, не хочешь — не принимай, ты автор, тебе решать. Единственное, о чем прошу, — учесть требования Яковлева. Мы с ним говорили ровно час о твоем романе. Яковлев сказал: «Если Рыбаков это сделает, я за эту вещь берусь лично, не будет никакого ИМЭЛа, никакой цензуры». Понял? Роман пойдет зеленой улицей. Без этих поправок Яковлев роман не поддер-

жит, тогда начнутся ИМЭЛ, цензура, там роман зарежут. Выбирай.

— Ничего себе — свобода выбора...

— Нам не на кого опираться, кроме Яковлева. Если я ему доложу — все сделано, то мы находимся под охраной секретаря ЦК партии, никто нам не страшен. Ситуацию я тебе изложил, послушаем товарищей.

— Этот роман — эпоха в развитии советской литературы, — сказал Аннинский, — могучая, мощная, шекспировской силы вещь. Какое счастье, что она попала в наш журнал. Ее невозможно сокращать ни в чем. Изъять письмо Николаева недопустимо — рушится конструкция. Сталина трогать нельзя, без Сталина все пропадет. Я решительно за печатание в таком виде.

Взял слово незнакомый мне заведующий отделом очерка Калещук, здоровый такой парень, в редакции его называли «китобоем».

— Мы все изолгались, цепляемся за этот труп, сколько можно?! Пора покончить с этим! Из-за Сталина наша экономика в полном прорыве. Или мы будем строить свободное социалистическое общество, или будем держаться за Сталина и вернемся ко всему ужасу, который был при нем. Я, как и Аннинский, считаю, что получить такой роман — наша великая удача, и не понимаю, Сергей Алексеевич, как можно ставить вопрос о восемнадцати листах?!

Баруздин качнул головой:

— Это было сказано условно, я вовсе не хотел резать роман.

— В нем нельзя ни слова выкинуть, — продолжал наседать Калещук, — как он построен, так и надо его печатать. Ни слова не выбрасывайте, Анатолий Наумович!

Последним выступил Теракопян, заместитель Баруздина, говорил, как всегда, медленно, как мне показалось, даже несколько грустно.

— Я восхищен романом и тоже считаю, что трогать там ничего бы не следовало. Но именно я имею дело с цензурой, и я вам прямо скажу — они роман не пропустят

никогда, на каждое слово Сталина потребуют письменное доказательство: где, когда это слово было сказано, когда опубликовано. Обойти цензуру может только Яковлев. Значит, или пойдете ему навстречу, или роман опять на долгие годы останется в столе.

— Как можно из живого тела, из романа, где каждая строчка золото, как можно оттуда выбрасывать?! — возмутился Аннинский.

— Можно, можно, — тихо проговорил Теракопян, — сколько там ни выбрасывай, роман все равно остается. В этом секрет настоящего произведения.

— Ну, Толя, что скажешь? — спросил Баруздин.

— Вот что скажу... Поправки Яковлева я уже сделал, убрал сто страниц, моя жена плакала, когда я их выбрасывал.

— Зачем ты показывал Тане? — воскликнул Баруздин.

— Таня работает со мной, все знает. Но, видимо, мои поправки оказались недостаточными. Хорошо, я еще поработаю. Письмо Николаева оставлю в романе, письмо — это исторический факт, но пошлет его Николаев не Сталину, а Ягоде, оно останется в недрах НКВД.

Баруздин даже подскочил в кресле:

— Прекрасно, замечательное решение!

— Дальше... Эпилог... Очень не хочется... Я надеюсь написать трилогию... Написал уже военную сцену. Мой главный герой Саша Панкратов встретился на фронте со своим школьным товарищем...

Баруздин опять подскочил:

— Прекрасно! Значит, он жив, воюет, эта сцена — готовый эпилог. А в следующих романах будешь писать, как хочешь.

— Ну, и последнее, насчет Сталина. Я говорил Яковлеву и повторяю здесь: Сталин написан объективно. О романе у меня есть отзывы шестидесяти двух деятелей культуры. Я вам их не показывал, письма пространные, многие по нескольку страниц. Мы с Таней выбрали из двенадцати отзывов строки о Сталине, их я вам зачитаю. Адамович: «Лишь вся правда о Сталине очистит нас внутренне и перед всем миром», Василь Быков: «Сталин убе-

дителен и достоверен», Гранин: «Механизм возникновения культа проанализирован впервые глубоко и серьезно», Евтушенко: «Одна из главных удач — это образ Сталина», Каверин: «Характер Сталина написан отчетливо, глубоко, зримо», Конецкий: «Со Сталина надо чистить наши идеи перед и под взглядом планеты», Кондратьев: «Главная удача, открытие (и это слово слабо!) — это создание живого, полнокровного образа Сталина», Райкин: «Вы взяли на себя смелость рассказать людям правду о характере и подлинных устремлениях известной личности, стоявшей во главе государства», Розов: «Сталин нарисован без шаржа, без злости, с холодной внутренней сдержанностью», Рощин: «Роман показывает, как думал Сталин, мотивы его действий, его логику, его правду, которая обернулась злом, трагедией для миллионов людей», Рязанов: «Книга объясняет психологию Сталина, написана невероятно убедительно, слепая ненависть не застилала Ваших глаз», Ульянов: «Горькие уроки культа Сталина слишком страшны, чтобы их можно было предать забвению»... Вот так! Остальные написали то же самое. Их оценки *моего* Сталина не совпадают с твоей...

— Толя, — взмолился Баруздин, — главное — это письмо Николаева и эпилог. А по Сталину пройдись еще раз пером, есть там некоторые грубости, излишества.

— Хорошо, подумаю. Когда будете печатать?

— В будущем году, конечно.

— Дайте анонс в октябрьском номере.

— Номер уже набирается.

— Ничего, успеете.

Баруздин вызвал какого-то молодого человека, приказал:

— Берите мою машину, срочно в типографию, если обложка не отпечатана, вставьте в анонс: «Анатолий Рыбаков. "Дети Арбата"».

Молодой человек исчез.

— Дальше, — продолжал я. — В каком номере начнете печатать?

— Начнем с июля.

— Это меня не устраивает, в сентябре открывается

Международная книжная ярмарка, надо, чтобы роман к ней поспел.

— Но, Толя, первое полугодие уже распланировано.

Вмешался Аннинский:

— Первый такой роман появился, первый удар по Сталину, а мы будем заниматься какими-то повестушками. Нужно все отставить в сторону... В феврале—марте запускать.

— Технически невозможно, — сказал Теракопян. — Можем начать с апреля.

— Я согласен. А договор?

Баруздин вызвал секретаршу, велел приготовить договор со мной на 30 листов по 400 рублей за лист.

— Устраивает?

— Вполне.

Раздался телефонный звонок из типографии. Роман вставлен в анонс на обложке октябрьского номера.

— Ну, что, — спросил Баруздин, — доволен? Все вроде для тебя сделали?

Перед отъездом в Пицунду получил еще одно письмо от Баруздина. К письму приложена его статья о «Детях Арбата». «Роман меня потряс, заставил переосмыслить свою жизнь и жизнь страны, дал ответы на вопросы, которые волновали десятилетия... Роман Рыбакова — первая попытка понять, что происходило».

Статья предназначалась для какого-то сборника и как бы официально ставила окончательную точку в судьбе романа — он публикуется.

35

В октябре вернулись из Пицунды с окончательным вариантом романа.

— Отдай Смолянской, — сказал Баруздин, — прочитаем, будем засылать в набор.

Татьяна Аркадьевна Смолянская — редактор прозы в «Дружбе народов».

Жили мы по-прежнему в Переделкине. Московская квартира на Палихе мала, тесна, десятки лет я прожил в Переделкине, привык, и Таня привыкла, наши друзья, знакомые знали только переделкинский дом. И почта приходила сюда. Получили приглашение из США снова посетить в апреле 1987 года университеты, где мы были весной. Я отказался — в апреле начинается публикация «Детей Арбата».

После анонса в октябрьском номере «Дружбы народов» подписаться на журнал стало трудно. Газеты и журналы просят отрывки, звонят из периферийных театров — хотят ставить, из МХАТа приехал Олег Ефремов со своим завлитом и тремя актерами, обсуждали со мной план инсценировки. В «Нью-Йорк таймс» появилось письмо Крейга Уитни Горбачеву с просьбой опубликовать наконец «Детей Арбата».

О выходе романа было объявлено и на Франкфуртской книжной ярмарке. Поступило 47 заявок из разных стран, об этом мне сообщил Ситников. Он радовался моему успеху, но был озабочен, расстроен, мрачен: Четвериков, новый руководитель ВААПа, собирается его уволить. Я предложил организовать письмо известных писателей в его защиту.

Ситников отказался:

— Неудобно, скажут, сам инспирировал. Ладно, образуется.

Не «образовалось». Через две недели Ситникова уволили.

— Вы оказались мудрее меня, — сказал Василий Романович.

Жаль. Знающий и деловой человек был в руководстве ВААПа.

Продажа за рубежом произведений в рукописи не возбранялась. Однако Четвериков запретил заключать контракты на «Детей Арбата». Я не настаивал: предстоит редактура, пусть за границу пойдет окончательный вариант. Но Четвериковым руководило другое — был убежден, что роман все же не выйдет, запретят. Оппозиция перестройке нарастала, на верхах шла борьба, с ее драматическими последствиями страна столкнется еще не раз.

Работа моя в журнале с Татьяной Аркадьевной началась легко, все, о чем договорились на редколлегии, я сделал, осталась обычная редактура. Как вдруг, неожиданно, в последних числах октября все круто изменилось. Опять: «А где Сталин это сказал? Не доказано!», «Почему такая резкая оценка?!», «Зачем такие обобщения?!» Все вернулось назад!..

Ясно, команда дана сверху. Роман Дудинцева в «Неве» не пропускает цензура. Фильм Абуладзе «Покаяние» не выходит на экран. Задержано печатание Булгакова в журналах «Юность» и «Смена». Я веду в журнале тяжелейшую борьбу. Приезжаю домой изнуренный, с черными подглазьями. Ищем какие-то обходные формулировки. В общем, я меж двух огней.

Как-то пошли с Таней погулять, продышаться. Встретили Вениамина Александровича Каверина, 84 года ему, совсем слабенький, походка неуверенная, мерзнет, перебирает пальцами в варежках, ведет его под руку Ариадна Борисовна, вдова профессора Асмуса — дачи рядом, соседка. Я Каверина знал бодрым, спортивным, был он сухощав, подтянут, носил рубашки с короткими рукавами, все это помню, и лишь лицо его странным образом ускользает из моей памяти. Живут только глаза, небольшие, темные, очень живые. Остальные черты как бы стерты... Не знаю, как сказать? У петербуржских интеллигентов есть в лице что-то общее, одинаковое, так мне кажется. Каверин был жизнелюбив, слыл, надо сказать, дамским угодником, на этой почве случались у него, как он выражался, «недоразумения» с

женой — Лидией Николаевной. Но, несмотря на «недоразумения», это был прочный союз, после смерти Лидии Николаевны Каверин рухнул.

Я рассказал ему про свои «черные дни». Он прослезился, потянулся меня обнять:

— Анатолий Наумович, голубчик, утешьтесь, вы напишете об этом новый роман.

— Да, да, конечно, Вениамин Александрович, Таня ведет дневник.

И все же в словах его звучала не только жалость. «Напишете новый роман». В этом был весь Каверин: книга — прибежище от треволнений и невзгод, единственный целитель и избавитель.

Каверин начал публиковаться в 19 лет — был самым молодым из «Серапионовых братьев», литературной группы, возникшей в Петрограде в 1921 году и объединившей талантливых писателей, не принимавших серости и диктата. Группа подвергалась шельмованию, как выразительница «чуждых» влияний, и в конце двадцатых годов прекратила свое существование. Однако именно она дала советской литературе ряд крупных мастеров — от благополучного конформиста Федина до гонимого Зощенко. Их судьбы отразили пути-дороги нашей интеллигенции, но никто в этой группе не был репрессирован. «Одних уничтожить, других купить» — так можно сформулировать сталинскую политику по отношению к интеллигенции. Из этой формулировки к «серапионам» применили вторую часть. «Буржуазная» литературная группа импонировала Сталину своей респектабельностью. Для имперского двора Федин и Тихонов подходили больше, чем Клюев и Бабель.

Но не всех «серапионов» удалось купить. Судьба Зощенко известна. Не удалось «купить» и Каверина. Он ушел из жизни (последним из «серапионов»), ничем не запятнав своего имени, отказался клеймить «убийц в белых халатах», наоборот, защищал гонимых, помогал им, как мог, по Москве ходили его письма Федину, где осуждал того за отношение к альманаху «Литературная Москва», Пастернаку, Солженицыну. На всех изломах нашей трагической истории Каверин оставался настоящим писателем и порядочным человеком.

Я прожил рядом с Кавериным 35 лет. Мы были людьми разных поколений, разных судеб. Он — петербуржский интеллигент, я, в представлении некоторых писателей, шофер, вошедший в литературу модной производственной темой — своими «Водителями». Интерес ко мне возник у Каверина случайно.

Гуляли мы с Казакевичем, Каверин к нам присоединился, шли, разговаривали, вернее, Каверин разговаривал с Казакевичем, не обращая на меня внимания. Зашла речь о раскопках Генриха Шлимана в Микенах, я назвал какую-то дату. Каверин снисходительно, не без некой барской пренебрежительности, усмехнулся: «Вы ошибаетесь» — и назвал другую дату.

Я не стал спорить.

Вечером он позвонил:

— Я должен перед вами извиниться, вы оказались правы.

— Бывает... Кто не ошибается?

Извинился он, конечно, не из-за того, что перепутал годы, а за пренебрежительность своего возражения.

После этого начал ко мне приглядываться, обнаружил, что я вовсе не таков, каким ему меня представляли, стали мы встречаться, гулять вместе, оба жили в Переделкине постоянно, ходили друг к другу, подружились.

Каверин был избирателен в своих знакомствах. Повстречался нам однажды Катаев. Я с ним поздоровался, Каверин неопределенно качнул головой, тоже вроде бы поприветствовал, и ускорил шаг. Потом сказал:

— Боюсь этого человека.

— Почему?

— Не знаю, но боюсь.

— У вас есть к тому основания?

— Никаких. Но боюсь, ничего не могу с собой поделать.

Возможно, его отпугивали едкий одесский юмор, насмешливость, шумливость Катаева. И довольно четко обозначился уже водораздел между конформистами и людьми независимыми.

Дача Кавериных была не просто дачей, а домом, где живут круглый год, работают, растят детей, возятся с внуками, а когда приходит час, здесь и умирают.

Хлопочет Лидия Николаевна, сестра замечательного писателя Тынянова (Тынянов был женат на сестре Каверина): на ней все трудности загородной жизни. Миловидное лицо ее выглядит усталым: как со всем справиться? Портится одно, другое, требуется то водопроводчик, то электрик, то слесарь, газовщик, плотник — крыльцо надо починить, калитка почему-то не закрывается, забор падает, дерево спилить — того и гляди рухнет, крыша потекла над библиотекой, телефонная линия оборвалась, дорожки нужно очистить от снега и шофера снарядить в дорогу — доверенное лицо: ездит к машинистке, в издательство, сдает рукописи, забирает верстку. Приезжают корреспонденты, русские, иностранные, и молодые писатели, и просто знакомые, всех надо принять, накормить, напоить. Так с утра до вечера хлопочет Лидия Николаевна. У нас на даче такие же заботы, но они не вырастают в проблемы, мы с Таней моложе, многое умеем делать сами.

Я любил бывать у Кавериных. Чувствовал себя уютно в этом занесенном снегом домике, выкрашенном в светло-сиреневый цвет. Старая удобная мебель. Картины на стенах. На столе чай, варенье, сушки, мармелад. Если попадешь к ужину, колбаса, шпроты, сыр, яичница, с диетой не считались — есть можно все, но понемногу. Вениамин Александрович в теплой домашней куртке, спокойный, довольный — написал свои страницы... «Здравствуй, брат, писать очень трудно» — этим приветствием, с которым «серапионы» обращались друг к другу, назвал он одну из книг воспоминаний. Тонкими пальцами перебирает на столе пожелтевшие листки — письма своих ушедших современников... Горький, Тынянов, Маяковский, Заболоцкий, Фадеев, Гайдар, Булгаков, Шварц, Всеволод Иванов, Добычин, Хармс, Вагинов... Мемуары Каверина — блестящая и увлекательная проза, написанная добрым пером. Как-то радиостанция «Немецкая волна» назвала публикацию в Москве очередной книги Каверина «тихой сенсацией». Я ему об этом рассказал. Он не был безразличен к похвале, тем более так тонко сформулированной. Критика тогда не слишком жаловала Каверина.

К политике Каверин относился равнодушно, я даже не

уверен, читал ли он газеты, может быть, просматривал иногда «Литературку». Лидия Николаевна была более в курсе новостей, иногда чем-то возмущалась, Вениамин Александрович отмахивался: ерунда все эти съезды, пленумы, доклады, конференции, сплетни, в литературе есть только книги. Радовался любой удаче у других и себя осознавал не только русским писателем, но и русским человеком. Сказал мне однажды:

— Какие мы с вами евреи? Русаки мы, русаки...

— Попадись мы Гитлеру, — ответил я, — он бы разобрался, кто мы такие.

— Да, конечно... И у нас антисемитов хватает... Астафьев, Белов, Распутин... Между прочим, Златовратский, Каронин, Левитов тоже о деревне писали, разве хуже были? И я говорю не о них, а о себе, о своем самоощущении, я не мыслю себя вне русской литературы. Да и вы, Анатолий Наумович, не существуете вне ее.

— Безусловно. Но с пятым пунктом в паспорте.

— Паспорт... Это внешнее, не обращайте внимания. Мыслима ли русская культура без Левитана, Рубинштейна, Антокольского, Мандельштама?..

Максим Горький писал юному Каверину: «У Вас есть главное, что необходимо писателю: талант и оригинальное воображение, этого совершенно достаточно, чтобы свободно отдать все силы духа Вашего творчеству. Наперекор всем и всему оставайтесь таким, каков Вы есть».

Как ни относись к Горькому, у него не отнимешь умения угадывать талант, поощрить его добрым словом, напутствовать главным: «Оставайтесь таким, каков Вы есть». Способность оставаться самим собой — это не консервация таланта, а развитие его самобытности. Наперекор времени Каверин остался таким, каков он есть. Потому и прослезился тогда в декабре 86-го года, потому и утешил: «Напишете об этом новый роман». И я в ответ сказал ему правду — Таня вела дневник. Эпопея с публикацией «Детей Арбата» описана день за днем.

Тяжелые дни...

Журнал предъявлял мне новые требования.

— В таком виде цензура не пропустит, — тихо и печаль-

но сказал Теракопян. — Мы бессильны. — И осторожно добавил: — Вы можете сами позвонить Яковлеву?

— Нет. С Яковлевым говорить больше не буду. Я сделал все, что он требовал, и даже больше.

Резкий разговор произошел с Баруздиным.

— Это черные дни моей жизни, — сказал я, — вы режете по живому. Но это черные дни и для журнала, — вы уничтожаете литературу.

Он закрыл лицо руками:

— Не рви мне сердце. От купюр роман не пострадает. Потерпи. Дай пропихнуть апрельский номер, дальше пойдет легче.

— Нет! Показывать в апреле фигу я не намерен.

Я дошел до последней черты, уступать дальше невозможно. Очередное маневрирование Горбачева? Я не могу и не желаю быть объектом их разборок. Я прошел уже через все возможные и невозможные мытарства, унижения, через надежды и разочарования, и теперь, когда цель казалась достигнутой, опять все срывается. Что ж, закончим этот этап, начнем следующий.

Я составил «Справку об изменениях в романе А. Рыбакова "Дети Арбата"», длинную, подробную, обстоятельную. Суть ее заключалась в том, что роман сокращен на 202 (!) страницы, касающиеся Сталина, репрессий, лагерей, раскулачивания, коллективизации, оппозиции, органов безопасности и так далее.

Мучительное было занятие — еще раз коснулся ран, нанесенных роману. Но справка необходима. Пусть показывают ее, кому сочтут нужным. Ни на какие поправки я больше не пойду.

Отвез справку в журнал и поехал на встречу бывших учащихся МОПШКи — школы, где я когда-то учился.

Встречи проводились ежегодно, я был на них раза два-три после войны, потом не ходил. Все там мне незнакомы, моложе, — выпускники тридцатых — начала сороковых годов (во время войны школу закрыли); с моими сверстниками, с теми, кто остался жив, за тринадцать лет своих скитаний потерял связь. Я никого не узнавал — постарели, а они меня узнавали по портретам в книгах, мне было неловко,

выходит, они меня помнят, я их нет. Меня просили выступить, я выступил раз, другой, потом отказался, не мог повторять каждый раз одно и то же. Мой отказ их обидел. В общем, последние 20 лет не был ни на одной встрече, отговаривался: уезжаю, нездоров, занят... Мне и звонить перестали. А вчера внезапно позвонили, я сразу согласился — потянуло вдруг, и вот еду.

Настроение скверное. С романом остается только одно решение — заграница. Последствий я не боялся. Вышлют нас с Таней или заставят уехать, не мы первые, не мы последние... Зато роман сохранится.

И все же что-то свербело. Этот шаг я мог предпринять 20 лет назад, роман существовал бы уже 20 лет, и я был тогда на двадцать лет моложе, освоился бы там легче, чем сейчас, когда мне 75. Но я ждал, терпел, хотел опубликоваться на родине, не мог оторваться от своей страны.

А где она, моя страна, и что такое моя страна? Кровь и ужас сталинского террора, мрак и тупость брежневского маразма? Обкомовские выдвиженцы Горбачев, Лигачев, Ельцин?

Моя страна была в войну, когда мы защищали родину, была в юности, когда нас воодушевляла великая идея. К той стране я и хотел прикоснуться, потому, наверное, и поехал в свою старую школу.

Обыденский переулок на Остоженке, белая церковь возвышается против школы, знакомое трехэтажное здание во дворе, вместо школы здесь теперь воспитательный центр, вместо классов и лабораторий — запертые кабинеты. Открыт только бывший наш спортивный зал, там стоят стулья и скамейки, есть возвышение для президиума, трибуна для ораторов, все как положено в советском учреждении.

Зал и коридор полны пожилых людей, регистрируются, записываются, обнимаются, целуются. Праздник! Но опять ни одного знакомого лица.

Я зарегистрировался, назвал свою фамилию, тут же ко мне подошла симпатичная женщина с приветливым лицом, представилась:

— Ильина, Ольга. Это я вам звонила. Идемте в зал, покажу экспозицию.

На стендах фотографии разных периодов жизни школы, портреты преподавателей, учеников, погибших в войну или в сталинских лагерях, стенгазеты разных лет, отдельно на стендах стоят книги — труды тех, кто здесь когда-то учился, в их числе и мои. Много сил надо положить, чтобы все это собрать, разместить, развесить в зале, а после встречи снова собрать.

— Где вы все храните?

— Обещали нам здесь маленькую кладовочку, а пока держим с подругами дома.

Я часто встречал таких вот энтузиастов памяти, оказались они и в МОПШКе — Ольга Ильина и ее помощницы, просто одетые женщины, в недорогих кофточках, ищут по всей стране выпускников школы, переписываются, собирают материалы, документы, звонят, организовывают встречи, рассылают приглашения... Что подвигает их, заставляет тратить время, обременять себя заботами, затрачивать такие усилия, а часто и деньги из своего скудного заработка или пенсии? Неизбывная память о собственной юности, о своем поколении? О том же и мои книги. Потомки помнят только наши заблуждения. Ну, а мы будем хранить память о том, что настоящего сделали в жизни.

Наконец все уселись. Мест в зале не хватило, сидели в проходах, в коридоре, стояли в дверях.

В президиуме организаторы встречи. Председатель Ольга Ильина открыла собрание, сказала несколько теплых слов. Потом началась перекличка: «Выпускники такого-то года, встаньте!» И выпускники, пожилые, старые, совсем старые, вставали, таким образом узнавали друг друга. Выкликнули выпуск двадцать восьмого года. Встал я один. Печальное зрелище. Никого из моих одноклассников не было в живых. А я их помнил мальчишками, девчонками, и мне казалось в ту минуту, что сошли они в могилу именно такими, какими я их помнил, другими их не знал. И я подумал, что за моей спиной уже длинный ряд могил. Родных, близких, друзей моего детства, юности, с кем учился, работал, кого любил и кто меня любил, с кем пировал, с кем горевал, с кем вместе воевал, с кем дружил в литературе — все это живое, кипучее, полное надежд, все это позади, этого уже нет и никогда не будет.

Но их судьба — это история страны, народ не имеет права забывать своих сынов. Этому служит и мой роман — история поколения детей Революции, переживших крушение ее идеалов, превращенных в лагерную пыль в тридцатых, погибших в сороковых на полях войны. Их безымянные могилы раскиданы от Колымы до Берлина. Вместе с ними ушли в небытие их мечты, песни, повержены знамена, осенившие их романтическую юность. Бескорыстные мальчики Революции, героические парни Великой Отечественной превратились в прах, все ими содеянное — в пепел. Жаль их. Жаль и тех писателей, которым не дали сказать того, что они могли сказать. Ко мне судьба оказалась милостивее — я свое сказать успел. У меня есть роман, я его написал и опубликую во что бы то ни стало.

С трибуны звучали голоса бывших учеников, вспоминали и грустное, и смешное. Пришлось выступить и мне.

— Я счастлив, что два года жизни провел в этих стенах. Я благодарю всех присутствующих за то, что находился среди вас. Я благодарю эту рожденную революцией школу за все, что она нам дала. За то, что привила понятия нравственности, чести, умение свободно мыслить, стремление свободно говорить. Наше жестокое время многих за это покарало. Лучшая им память — сохранить в наших сердцах то, на чем мы воспитаны и от чего никогда не откажемся, не отречемся.

36

Позвонил Баруздин: днем зайдет. Жил он на другом конце Переделкина, в районе, который мы называли «Неясная поляна». Так забавлялись обитатели городка писателей. Улица, где дача Софронова, — «Avenue Parvenu», наша улица Довженко упиралась в лес и потому именовалась «Творческий тупик».

Баруздин пришел, худой, изможденный, бледный, бородка его старит, но глаза блестят — принял утреннюю рюмку. Без этого не обходился. Заглянешь в ресторан ЦДЛ, он уже у стойки. Чем-то тяжко болел, может быть, надеялся таким способом одолеть болезнь. Не одолел. Через четыре года умер.

Печататься Баруздин начал в журнале «Пионер» в 11 лет, в 1937 году, в стереотипах того времени и сформировался. Верил свято. Пятнадцатилетним мальчишкой ушел добровольцем на фронт, воевал. Была в нем некая душевность, демократичность, вел себя порядочно и журнал старался сделать прогрессивным, конечно, в меру дозволенного.

Пришел к обеду. Таня сделала плов, поставила на стол коньяк.

— Прочитал твою «Справку» и в третий раз перечитал рукопись. Ты проделал титаническую работу. Теперь речь идет о деталях, их можно выправить за полдня. Я вот написал, — протянул мне несколько страниц мелкого машинописного текста, — ты почитай, а мы с Танюшей еще по рюмке. Под такой плов грех не выпить.

Свои письма Баруздин, как оказалось, печатал в двух экземплярах, копии сдавал на хранение в ЦГАЛИ (Центральный государственный архив литературы и искусства). Не буду излагать письмо целиком — длинный набор выписанных из романа фраз с его комментариями:

«Рассуждения Сталина: «Если при этом погибнут несколько миллионов человек...» — надо ли это?

Еврейская тема: «Палестина, жидовка». Зачем педалировать?

Коллективизация... «При этом погибли миллионы людей». Так ли? По БСЭ, в 1941 году в местах поселений находились 930 кулаков.

Явное сочувствие в адрес Бухарина и Рыкова. К чему? Ведь они не реабилитированы».

В таком духе несколько страниц... «Сделать это необходимо. Не дай бог, чтобы Главлит потребовал у нас визы ИМЭЛ».

Я отложил письмо, посмотрел на Баруздина:

— Не принимаю ни одной твоей поправки. Ничего больше выскабливать не позволю. Роман от вас забираю.

— Толя, как можно?! Я уже объявил о твоем романе!

— Ты объявил о романе, который я вам дал, а хочешь печатать огрызок, который вы из него сделали. Ты — сталинист, живешь в пятьдесят первом году.

Он вскочил:

— Как ты можешь это говорить? У меня отца арестовали при Сталине.

— Да, ты мне рассказывал, Крупская его спасла. Но запомни: народ сметет вас с вашим Сталиным.

Зазвонил телефон, я ушел в кабинет. С Баруздиным осталась Таня.

— Танюша, что случилось с Толей? Жил с этим романом двадцать лет спокойно, а теперь, когда всё на мази, стал просто психом.

— Его довели вы, Сергей Алексеевич! Он уезжает в журнал с нитроглицерином и возвращается черный. За эти три месяца я ни одной ночи не спала спокойно, все время прислушиваюсь — дышит ли?

— Осталась сущая ерунда, несколько фраз убрать. При его опыте и мастерстве это пара часов работы. Уговори его!

— Никогда! Жалею, что он выбросил двести две страницы, очень жалею!

Я вернулся на веранду.

— Так, Сережа. Письмо твое оставляю на память. Ро-

мана, считай, у вас нет. Он, конечно, нас с тобой крепко повязал, но расстаются и после многих лет супружества. Впрочем, часто остаются друзьями.

Разговор этот был 22 декабря.

Через два дня шофер Баруздина привез его новое письмо:

«Дорогой Толя! С "Детьми" теперь все хорошо. У тебя не должно быть никаких опасений. Они идут у нас точно и верно. Будущий год будет "твой" и до некоторой степени и "мой"».

Часа через два позвонила Смолянская:

— В журнале праздник — роман ушел в набор. Поздравляю!

Что же произошло за эти три месяца?

В своих мемуарах, в главе «"Дети Арбата" и другие прорывы» Горбачев пишет:

«Анатолий Рыбаков прислал мне письмо, а затем и рукопись... В ней воспроизводилась атмосфера времен сталинизма... Я считал, что книга должна выйти в свет, поддержал ее и Лигачев».

Я был удивлен: ни письма, ни рукописи я Горбачеву не посылал. Позвонил в его Фонд и попросил прислать копию моего письма. Обещали разыскать. Не нашли. «Михаил Сергеевич точно не помнит: было письмо или не было».

Не помнишь, не пиши! Впрочем, это маленькая неправда. Большая неправда открылась через десять лет.

В июне 1996 года газета «Московские новости» (№ 23) опубликовала стенограмму заседания Политбюро ЦК КПСС от 27 октября 1986 года (конец октября!).

«Л и г а ч е в. Я прочитал недавно неопубликованный роман Рыбакова «Дети Арбата». Смысл этой огромной рукописи в 1500 страниц сводится к обличению Сталина и всей нашей предвоенной политики. Сталин изображается здесь обличающим Ленина в ошибках, непозволительно отзывающимся о русском, грузинском, еврейском народах, в искаженном свете подается версия об убийстве Кирова, смакуется жизнь «золотой» молодежи довоенного периода и, наконец, всемерно нагнетаются все проблемы, связанные с репрессиями периода культа личности. Ясно, что такой роман публиковать нельзя, хотя Рыбаков и грозит передать его

за рубеж. Но я хочу разобраться, кто дал разрешение журналу «Дружба народов» печатать сообщение о том, что роман «Дети Арбата» будет публиковаться в этом журнале. Что стоит за таким разрешением?

Горбачев. Если все затеять, как это было на XX съезде партии, начать самим себя разоблачать, уличать в ошибках, то это был бы самый дорогой и самый желанный подарок нашему врагу. Возьмите, например, такого писателя, как Можаев. Он требует, чтобы мы издали продолжение его романа «Мужики и бабы». А в этом романе практически под сомнение ставится все, что было сделано в период индустриализации и коллективизации. По Можаеву выходит, что и кулака-то у нас не было. А мы теперь знаем, что если бы не было коллективизации и индустриализации, то не было бы сейчас и нас, страну просто раздавил бы фашистский сапог.

Чебриков. Сейчас по телевидению есть одна популярная передача — «Двенадцатый этаж». В ней идет перепалка между молодежью и старшими поколениями. Старшее поколение выглядит довольно бледно, не может дать отпора вызывающе ведущим себя молодым интеллектуалам.

Горбачев. Зачем нам предоставлять трибуну всякой падали?

Шеварднадзе. Многие писатели стараются сейчас, как они сами говорят, рассчитаться с советской властью за беды своих родителей. Покойный Юрий Трифонов заявлял, что он никогда не простит советским людям репрессий, примененных к его реабилитированному отцу. Евг. Евтушенко мстит нам за двух своих репрессированных дедов. Кое-кто сейчас стал предлагать опубликовать неизданные произведения Твардовского в защиту кулачества. Он, как вы знаете, был, видимо, сыном кулака. Так что в литературе немало лиц, которые пытались и будут пытаться использовать творческие организации и журналы в своих личных целях.

Горбачев. Если, например, вчитаться в произведения Василя Быкова, особенно в его «Знак беды» — роман, отмеченный Ленинской премией, то мы увидим, что

Быков здесь иногда замахивается и на революцию, и на коллективизацию. А в кинофильме по этому роману кое-кто даже попытался сравнивать коллективизацию с действиями фашистов. Вот почему нам следует активно работать с деятелями искусства, поправлять их, если надо... Надо почаще возить деятелей искусства в колхозы, в совхозы, на производство, так, как это сделали, например, на Ставрополье с коллективом Театра имени Моссовета. Они вернулись из колхоза буквально ошарашенные и окрыленные.

Громыко. ...Видимо, жестковато поступили в свое время с Ахматовой, Цветаевой, Мандельштамом, но нельзя же, как это делается теперь, превращать их в иконы... Видимо, члены Политбюро недавно читали разосланный нам документ, в котором т. Никонов предлагает реабилитировать русских буржуазных экономистов А. В. Чаянова, Н. Д. Кондратьева, А. Н. Челинцева и Н. П. Макарова. Разве можно это делать? Мы не можем быть добренькими. Тут сомневаться нечего».

Это говорилось на исходе второго года перестройки.

Во время трехмесячной работы над романом в «Дружбе народов» я доходил до белого каления. Теперь, после прочтения этой стенограммы, я винюсь. Баруздин, Теракопян, Смолянская, — у них были связаны руки, они сами находились под прессом. Первый человек в тоталитарном государстве — Горбачев запретил давать трибуну молодым интеллектуалам, называя их «всякой падалью», требовал для исправления возить работников искусства в колхозы, оценил XX съезд и мой роман как «самый дорогой и самый желанный подарок врагу». Второй человек в государстве — Лигачев — ведет расследование, почему «Дружба народов» посмела анонсировать «Детей Арбата». Что в этих условиях могли сделать сотрудники журнала?

Страна в отчаянном положении, а ее руководители рассуждают о покойных поэтах Ахматовой и Цветаевой, которых не читали, цедят сквозь зубы об уничтоженных в лагерях Мандельштаме, Кондратьеве, Чаянове («видимо, жестковато поступили»), дрожат перед тенью дедушек Евтушенко и отца Трифонова, поносят романы Быкова, Можаева, Рыбакова. Больше им делать нечего! Напрасно американские

советологи приписывают себе честь развала СССР. Достаточно оказалось наших собственных управляющих.

Я прочитал оба тома мемуаров Горбачева (1233 страницы). Протоколы заседаний и казенных встреч, длинные речи автора, эйфория по поводу бесчисленных заграничных вояжей. Цитирую:

«Вот в таком виде... чета Горбачевых предстала перед собственной страной и миром».

Кто еще мог написать такое о себе? Ленин? Сталин? Брежнев? Первый — интеллигент все-таки, второй — учился в духовной семинарии, третий — инженер из рабочих, знал себе истинную цену. Хотели ему вписать в доклад цитату из Маркса, он отмахнулся: «Бросьте, ребята, кто поверит, что Ленька Брежнев читал Маркса?»

«...Со стороны Ростова в село ворвались немецкие мотоциклисты. Федя Рудченко, Виктор Мягких и я стояли у хаты. “Бежим!” — крикнул Виктор. Я остановил: “Стоять! Мы их не боимся”». Так героически, в 11-летнем возрасте началась руководящая деятельность Михаила Сергеевича, успешно продолженная в комсомольских и партийных аппаратах, в марте 1985 года он стал Генеральным секретарем ЦК КПСС — хозяином в партии и государстве.

Такую карьеру Горбачев приписывает своим выдающимся талантам, обнаруженным еще в школе и университете.

«Год закончил с похвальной грамотой, да и все последующие годы с отличием... Выпускное сочинение в школе я писал на тему: «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет». Получил высшую оценку, и потом еще несколько лет оно демонстрировалось ученикам — как эталон... Мои одноклассники подавали заявления в вузы Ставрополя, Краснодара, Ростова, я же решил, что должен поступить не иначе как в самый главный университет — Московский государственный университет... Стипендия студента — 220 рублей... я, как отличник и общественник, получал персональную — 580 рублей... Я мог на равных участвовать в студенческих дискуссиях с самыми способными однокурсниками... В те годы Горбачева считали чуть ли не «диссидентом» за его радикализм».

В чем секрет стремительного продвижения Горбачева?

Прежде всего — аппаратная выучка, знал «правила игры». Затем, как это ни парадоксально, университетское образование. В секретари обкомов обычно выдвигались инженеры или агрономы. А вот Горбачев-гуманитарий прорвался в первые секретари — нужный человек оказался в нужном месте. В Ставропольском крае — лучшие курорты страны: Кисловодск, Железноводск, Ессентуки, Пятигорск. «Всесоюзная здравница» для людей среднего и пожилого возраста (молодые стремились к морю), в том числе и для высшей партийной и государственной элиты. С ее представителями Горбачев завязал тесные связи, среди них был и Андропов, ставший его главным покровителем: сам в собственном представлении «интеллектуал», ценил Горбачева, отличал от других секретарей обкомов, технократов и животноводов, толкующих о сеялках, веялках. А Горбачев ночью у костра может Лермонтова наизусть прочитать. «Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть, я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть». Приятно такое послушать теплой звездной ночью, не оскудела земля русская способными людьми. И Аристотеля при случае ввернет, Макиавелли, Монтескье, Локка и, конечно, Маркса, Энгельса, Ленина. Все понимает с полуслова и сам в карман за словом не полезет. И край в передовых. Тянет, конечно, с отдыхающих здесь министров. И правильно. Умеет. Обеспечивает. Ездит с ними в горы, на природу, людям приятно — рядом с ним отвлекаются от повседневности, приобщаются к «истокам», ведь имена «основоположников» забывают в этой текучке, а тут вон куда закидывает — Аристотель, Монтескье этот самый... Надо же! И ведь не из «идеологов», не хмурый начетчик Суслов, распекающий за «отклонение от линии», а «свой» парень, такой же, как и они.

Демонстрация на каждом шагу своих знаний создавала Горбачеву известные трудности. «И вот однажды, на совещании аппарата крайкома комсомола, мне открыто бросили упрек в том, что я “злоупотребляю” своим университетским образованием. Потом в узком кругу мне сказали: “Знаешь, Миша, мы тебя любим, уважаем и за знания, и за человеческие качества, но многие ребята в аппарате очень обижа-

ются, когда в споре выглядят как бы неучами или хуже того — дураками"».

Случился тот эпизод на заре его карьеры, тогда Горбачев сумел поладить с молодыми аппаратчиками. Однако на самом верху столкнулся с технарем, в котором сохранился мальчишеский рабоче-крестьянский гонор, ревность к «шибко грамотному» удачливому говоруну.

Человеком этим оказался Борис Ельцин, секретарь Свердловского обкома партии, ровесник Горбачева. Но его перевели в Москву не в 1978 году, не секретарем ЦК, как Горбачева, а на 7 лет позже, в 1985 году, и всего лишь заведующим строительным отделом. Горбачев в 1985 году уже был Генеральным секретарем. Такая дистанция! Несправедливо! Свердловская область на третьем месте по производству в стране. Что перед ней Ставрополье? Курорты всякие, на них и выскочил.

Как и Горбачев, Ельцин сделал карьеру в аппарате, но отличался от Горбачева решительным характером. Обоим партия служила лишь лестницей для подъема вверх — единственная такая лестница в стране. Взобравшись по ней на крышу, Горбачев занял место под солнцем, нежился в лучах славы, но лестницу не трогал, вдруг пригодится. Ельцин, взобравшись на крышу, оттолкнул лестницу ногой, она упала и разлетелась на мелкие кусочки. Остался Горбачев один на один с Ельциным. В юности Михаил Сергеевич участвовал в художественной самодеятельности, выступал со сцены, декламировал, Борис Николаевич занимался спортом — волейбол, лыжи, бокс. Бывший технарь одолел бывшего гуманитария.

Был ли такой результат неизбежен?

Каждый партийный работник был убежден: если партия поставила его на данный пост, то, безусловно, он ему соответствует, порученную работу выполнит, доверие оправдает. В партийно-государственной машине все сцеплено, прилажено, подогнано, исправно вращается, и ты будешь вращаться вместе со всеми. Брежнев, Андропов, Черненко были уверены, что справятся с руководством страной. Не сомневался в том и Горбачев. Но амбиции были несоизме-

римы. Те трое двигались потихоньку, как пешки, и вышли в дамки. Не попади они в генсеки, удовлетворились бы вторыми ролями, тоже неплохо. Горбачев был не таков. Убежденный в своей исключительности, легко, играючи вырвавшись вперед, он, я думаю, стремился состояться не просто как очередной руководитель государства.

История не забывает только свершивших великие дела. Ленин возглавил революцию мирового масштаба. С именем Сталина связана мирового значения война. Но революции, войны — это исключено. Трупы, кровь, разрушения — такого Горбачев, человек сугубо штатский, миролюбивый, не терпел, боялся, отвергал. Как и все великие деятели, он будет реформатором. Не косыгинского толка, не мелким и к тому же неудачливым преобразователем промышленности (в ней, кстати, Горбачев плохо разбирался), а реформатором глобальным, принесет народам мир, кончит «холодную войну», разделившую планету на два враждебных лагеря. Этим и войдет в историю. Запад пойдет ему навстречу, Запад оценит, воздаст должное.

Еще работая в Ставрополье, Горбачев побывал во Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, не говоря уже о ГДР, Венгрии, Чехословакии... Запад ошеломил его... Париж, Рим, Палермо, Флоренция, Брюссель, Амстердам — Северная Венеция, Нотр-Дам, Лувр, Эйфелева башня, Пантеон. «Я подумал, что нам ой как далеко до этого, если вообще достижимо», — восторгается Михаил Сергеевич. Став генсеком, а там и президентом, Горбачев много времени проводил за границей, объездил весь мир, был во всех странах и по многу раз.

Запад охотно пошел на прекращение «холодной войны», на сокращение вооружения, конечно, на началах взаимности, паритета, но при одном условии — демократизации и соблюдения прав человека, общество должно быть открытым, иначе где гарантии выполнения взаимных договоренностей?

Безусловно, для нашего общества гласность была шагом вперед. И Запад оценил. Людям есть нечего — этого не видно, а свободная вроде бы печать, радио, телевидение, выход ранее запрещенных книг, кинофильмов, свободные

выборы, свободные прения — это видно, это слышно и на Западе. И Сахаров из Горького возвращен — права человека соблюдаются. И войска из Афганистана выведены (война там все равно проиграна — Горбачев это понимал, в отличие от Ельцина, не понимавшего неизбежность проигрыша войны в Чечне). И позорная Берлинская стена разрушена. И войска из Восточной Европы ушли. Все сделано, все выполнено — «холодная война» окончена.

Конечно, вывод советских войск из Восточной Европы напоминал бегство потерпевшей поражение армии, явился началом ее разложения. Мгновенный разрыв экономических связей больно ударил по экономике и нашей, и освобожденных стран. И руководителей этих стран, наших покорных вассалов, мы предали. В Европе было два блока — «Варшавский договор» и НАТО. «Варшавский договор» Горбачев распустил. А НАТО осталось, принимает в свой состав новых членов и вплотную придвигается к границам обессиленной России.

Зато какие восторги! Горби! Горби! Весь мир рукоплещет, вся планета! Вот и достиг Михаил Сергеевич всемирной известности, обеспечил себе место в истории.

Горбачев подробно расписывает все это в мемуарах: стотысячные «живые коридоры», море цветов, его портреты из цветов, дворцы и замки, в которых жили, и марки шикарнейших машин, коими их в те дворцы доставляли, салюты, почетные караулы, премии, премии, в том числе и Нобелевская, бесчисленные фотокорреспонденты, телевизионные камеры, репортеры, взахлеб сообщающие, что «Горби любит ходить в народ, общаться с простыми людьми», дружеские объятия с главами других государств и споры этих глав — кто из них первый «открыл» Горбачева.

Поездки Горбачев совершал с супругой. И очень гневался по поводу отношения к этому в стране. «Появление генсека и его жены на людях вызывало в обществе резонанс не меньший, чем политика перестройки». (Зачем же так перестройку умалять? — *А. Р.*) Людьми, воспитанными «в традициях домостроя, это воспринималось как потрясение...»

Россия давно забыла о домострое, зря его вспоминает Михаил Сергеевич, не к месту. Была жена и у Ленина —

Надежда Константиновна Крупская, часто появлялась с Владимиром Ильичом, фотографии в газетах сохранились, ее присутствие Ленину в вину не ставили, никого она не раздражала, не раздавала на улицах российских городов «этим бедным советским детям» конфеты, вынимая их из модного заграничного ридикюля, — интеллигентная была женщина, скромная, работала в Наркомате просвещения и жизнь прошла другую.

Ленин за один год ввел нэп и преобразовал страну не с гайдаровскими катастрофическими результатами, а превратив нищую, лапотную, разоренную мировой и гражданской войнами отсталую Россию в сильную, динамичную державу. Горбачев много говорил о реформах, а где они? Имея страну с богатейшими природными ресурсами, развитой промышленностью, передовой наукой, прекрасным народным образованием, Горбачев за шесть лет не вывел экономику из застоя, наоборот, усугубил его, доведя до последней черты.

Речи, заседания, доклады... «Заседали целый день...», «Доклад, адекватный моему замыслу, родился в трудных долгих дискуссиях...», «Свою речь я считаю самой удачной...», «Работа над докладом к 70-летию Октября началась за полгода...» Чиновничий лексикон! «Вопросы не были обнажены...», «Не поставили ребром...», «Проглядели...», «Не добрались...», «Разрывался между многими заботами...», «Помешала отчаянная занятость...», «Не объяснили...», «Не сделали необходимых уроков...»

В людях не разбирался. Вспомним, как протаскивал в вице-президенты Янаева, на вопрос в парламенте о здоровье ответившего: «Жена мною довольна». С Янаевым «допустил ошибку», сокрушается Горбачев, и с Павловым «допустил ошибку». Это не «ошибки». По какому принципу подбирал людей? «Прошел все ступени и в комсомоле, и в партии» (о Пуго). Вот и все «человековедение»... В этой науке недалеко от Горбачева ушел и его преемник. Вот как мотивирует Борис Николаевич назначение Егора Гайдара: «Гайдар умел говорить просто о сложном (понятно для президента. — *А. Р.*)... И еще: на меня не могла не подействовать магия имени. Егор Гайдар — внук писателя... И я по-

верил еще в природный наследственный талант Егора Тимуровича». Почему же, руководствуясь таким принципом, не подыскал премьер-министра среди потомков Пушкина или Толстого? Были писатели не хуже дедушки Егора Тимуровича.

Ну что ж, скажет читатель, у каждого правителя, даже самого хорошего, свои недостатки: у Горбачева — эгоцентризм, тщеславие, самовлюбленность. Бывают недостатки и покрупнее, и пострашнее.

Верно. Но у Горбачева был еще один недостаток. Главный. Он не имел качеств лидера.

Это стало очевидным во время Чернобыльской катастрофы.

Во время национальной трагедии даже Сталин и тот, хотя и выступил через десять дней после начала войны, все же нашел нужные слова: «Братья и сестры...» Народ эти слова запомнил. Горбачев промолчал, ушел в сторону. Беда объединяет людей, Горбачев имел возможность сплотить народ вокруг себя. Упустил такую возможность. Катастрофа произошла в ночь с 25 на 26 апреля. Первые короткие осторожные сообщения прозвучали по телевизору вечером 28 апреля, в печати появились 29 апреля... Горбачев выступил только 14 мая, через 20 дней (!) после катастрофы. Посочувствовал, «воздал должное», поблагодарил, а потом написал: «В те тревожные дни 1986 года проявились лучшие качества наших людей: самоотверженность, человечность, высокая нравственность» — обычная казенная, ритуальная партийная лесть народу.

Горбачев оправдывается незнанием, закрытостью, секретностью атомной энергетики. От кого секретность? От руководителя государства? Незнание? Если берешься управлять атомной державой — обязан знать всю правду.

Через три месяца, когда вроде бы с Чернобылем поутихло, Горбачев заявляет: «Мы не согласимся скрывать истину... Наша работа теперь на виду у народа и всего мира... Трусливая политика — это недостойная политика...» Красиво, звучно, мужественно! Ну, а Тбилиси, Нагорный Карабах, Вильнюс, Рига, Алма-Ата, Сумгаит, Фергана, Молдавия?.. Опять ничего не знал, ничего не ведал? А забастовка

шахтеров с требованием отставки президента? Вот тут Михаил Сергеевич отреагировал. «Продумали даже, когда начать забастовку, — 1 марта, за день до моего 60-летия». Какие невоспитанные эти шахтеры, какие бестактные! Испортили день рождения президенту. Обидчив был. По любому поводу угрожал отставкой. «Живите дальше, как хотите, а меня увольте», «С меня достаточно», «Оставляю вас одних», «Решайте, на вас падет вся ответственность», «Несмотря на все попытки остановить меня, я ушел в свой кабинет». Думал, без него не обойдутся.

В финале карьеры — путч в августе 1991 года. Горбачев уверяет, что понятия ни о чем не имел. Гэкачеписты, наоборот, утверждают, что Горбачев являлся его «крестным отцом».

Я не знаю, кто из них говорит правду. И я не историк. Но интересен такой вопрос: почему в момент путча Горбачева не было в Москве? Почему оказался в Крыму, в Форосе? Проследим коротко события 1991 года так, как их описывает сам Горбачев в главе, названной им весьма драматически: «Грозный 1991 год», а раздел, посвященный событиям конца года, озаглавлен «Раскаты грома».

Ситуация, по словам Горбачева, состоит в том, что страна разделена на два лагеря, грубо говоря, на «партноменклатуру» и «демократов».

Цитирую: «Оба фланга начали осуществлять свою далеко рассчитанную стратегию... Две группы заговорщиков вели подкоп под Кремль, стараясь опередить друг друга...»

Что делали «демократы»:

«В январе и феврале 91-го года велся в полном смысле артиллерийский обстрел позиций союзных властей... Наиболее одиозные публикации содержали прямой призыв к неповиновению и сопротивлению».

Ельцин «выступил с сенсационным заявлением по телевидению, потребовав немедленной отставки Президента СССР... Его речь была переполнена грубыми, оскорбительными замечаниями по моему адресу. Руки дрожали... не владел полностью собой и с усилием, натугой читал заготовленный заранее текст».

«В своем выступлении в Доме кино Ельцин уже призы-

вал своих сторонников "объявить войну руководству страны, которое ведет нас в болото"... Горбачев "обманывает народ и демократию"».

«Если Председатель Верховного Совета России призывает идти войной на Президента СССР, то добра от этого стране не будет».

Действовала и «партноменклатура»:

«На апрельском Пленуме дело дошло до требования смены Президента».

«Депутаты с подачи Павлова и при сочувствии Лукьянова начали муссировать тему введения чрезвычайного положения в стране».

«В Смоленске собрались партработники... В их выступлениях содержались резкие выпады против Политбюро, в первую очередь против генсека, призывы к чрезвычайным мерам спасения страны».

И наконец, вывод Горбачева:

«Обстановка тяжелейшая, нужны неординарные меры».

Какие же неординарные меры предпринял Горбачев? Улетел в Форос.

«31 июля в Кремле состоялся прием Буша... Ельцин и Назарбаев направились к Президенту США... последовали горячие клятвенные заверения, что они «сделают все для успеха демократии в этой стране»... Конечно, это уже выходило за всякие рамки. Это был сигнал Президенту СССР — предстоят нелегкие времена».

Как же отреагировал Горбачев на этот сигнал? Как встретил нелегкие времена? Отбыл в Форос.

«Месяцы, недели, даже дни по их значению и последствиям становились равными иным столетиям».

Как же повел себя Горбачев в эти роковые дни? Умчался в Форос.

«Возможность острого столкновения между силами обновления и реакцией я допускал».

Как же предотвратил президент столкновение? Все так же, улетел в Форос.

Почему не остался в Москве, где друг другу противостояли два враждебных лагеря, готовые к схватке? Логично только одно объяснение. Не знал, чья возьмет, потому и

поспешил в Форос. Победит партноменклатура — возвратится в Москву как ее глава, Генеральный секретарь партии. Одолеют «демократы» — вернется как законный, признанный всем миром президент.

Победили «демократы». Горбачев вернулся в Москву, осудил гэкачепистов и отказался от партии, в которой состоял сорок лет и которая вознесла его на вершины власти. «КПСС свою историческую роль отыграла и должна была уйти со сцены». Однако не помогло. Ельцин распустил СССР. Генсек остался без партии, президент без страны. Перехитрили его Шахрай с Бурбулисом — авторы документа о роспуске СССР.

Конечно, обиделся. «Никаких проводов не было. Никто... мне не позвонил ни в день ухода, ни после — за три с лишним года». И народ не вспомнил: на президентских выборах 1996 года Горбачев даже одного процента голосов не набрал. Но, уходя, предъявил требования.

По свидетельству Ельцина: «Список претензий Горбачева — его «отступная», — изложенных на нескольких страницах, был огромен. И практически весь состоял из материальных требований... Пенсия в размере президентского оклада с последующей индексацией, президентская квартира, дача, машина для жены и для себя... Фонд... Охрана... Его расчет был очень прост: раз вы так хотите от меня избавиться, тогда извольте расплатиться...»

Отстраненный от власти бывший донецкий слесарь Никита Хрущев ничего не требовал, не просил, дожил свой век простым пенсионером. Наградой ему было то, чего он добился: «И все-таки моя заслуга перед историей в том, что меня уже можно было снять простым голосованием» (а не расстреляли, как было бы при Сталине). Думал о том, что сделал для страны, а не о том, как бы побольше благ сорвать. Хрущев верил. Пусть в миф, утопию, недостижимую идею. Но верил. И потому сумел достойно уйти. Горбачев ни во что не верил. Записываясь на Московском телевидении в конце декабря 1992 года, сказал: «Коммунизм — это утопия, придуманная схема волюнтаристская, прокрустово ложе, куда хотели загнать такую огромную страну!» И это говорит руководитель коммунистической партии! Бывало ли

подобное в истории идейных, религиозных, духовных движений человечества?

Я никогда не состоял в партии. И все же не бывшему Генеральному секретарю КПСС осуждать коммунизм. Впрочем, стоит ли удивляться? Эта КПСС — детище Сталина и Брежнева.

Не будем замалчивать заслуг Горбачева. Гласность, свободные выборы, не расстрелял непокорный российский парламент, не ввел танки в уходящие республики, как это было сделано в Чечне. При всех ошибках, просчетах, недостатках это говорит все же о человечности Горбачева.

Я лично многим ему обязан. При Горбачеве вышел роман, пролежавший в моем столе двадцать лет. В меня, как и в других писателей, Горбачев вселил большие надежды. Мы помогали ему, как могли. Тем печальнее результат. Поставленная историей перед Горбачевым задача оказалась ему не по плечу, он не сумел преодолеть собственный характер, не устоял перед мишурой власти. И был отстранен от дела, которое так хорошо и значительно начал. Я часто испытываю к нему чувство сострадания. Но разве может жалость к одному человеку сравниться с болью за разрушенную страну и обездоленный народ?

Какой урок оставил Горбачев? Тот же, что и его предшественники. Тоталитарная система приводит к власти *одного* человека, от него зависит судьба страны и народа. Это влечет за собой неизбежную катастрофу, заканчивается трагедией.

37

Ожидая выхода апрельского номера «Дружбы народов», я продолжал работать над следующим романом, назвав его «Тридцать седьмой год». Баруздин возражал: «Газеты талдычат изо дня в день — тридцать седьмой, тридцать седьмой... Придумай что-нибудь свое». Доля истины была в его словах. «Тридцать седьмой год» превратился в расхожее обозначение сталинской эпохи, употребляемое к месту и не к месту. Кроме того, к будущему году я роман закончить не успею, редакция настаивала на публикации хотя бы первой половины. Решили так — назовем его «Тридцать пятый и другие годы», а будет готова следующая книга, дам ей новое название и под ним объединю в отдельном издании обе части.

Торопливость была мне не по душе. Но журнал наседал: осень, подписка со ста тысяч поднялась до миллиона с лишним — читатель ждал продолжения романа.

Известность «Детей Арбата» опережала их публикацию. «Огонек» напечатал отрывок из романа. «Весь наш театр читает», — сказала Юля Хрущева. Посыпались письма, от корреспондентов не скроешься. Приехала группа знаменитого американского телевизионного комментатора Майка Уоллеса из еженедельной программы «60 минут». На следующий день — телевидение ФРГ, затем финское, потом опять немецкое, но другой канал. Коковкин и Скорик из Художественного театра привезли наметки пьесы. Я им читал монологи Сталина из романа, они сказали: «Кончится тем, что вы сами будете его играть». Несколько кинорежиссеров предлагают экранизацию «Детей Арбата». Еременко, директор издательства «Советский писатель», куда я передал рукопись, сказал при встрече (в Передел-

кине живет напротив нас): «Отдаем художнику на иллюстрацию». И, конечно, звонят «братья-писатели», приходят, приезжают, сообщают новости. Главная — на совещании руководителей средств массовой информации Горбачев держался очень прогрессивно (предстоял приезд в Москву английского премьера Маргарет Тэтчер).

Наконец получаем верстку первой части романа. Не верим своим глазам. Но есть, вот она, тепленькая... А поскольку Горбачев опять взялся за «маховик», надо попробовать восстановить выкинутое из рукописи. Редакция сопротивляется: «Ведь договорились. Со всеми согласовано». Это правда. Позвонил Егор Яковлев (главный редактор «Московских новостей»), передал свой разговор с другим Яковлевым, секретарем ЦК, тот (по словам Егора) доволен, что я принял поправки. Из Ялты Баруздину (теперь по словам Баруздина) звонил Лигачев, тоже доволен поправками, видно, прочитал мою справку о выкинутых 202 страницах. И еще, опять же со слов Баруздина, на приеме в честь Маргарет Тэтчер к нему подошел Горбачев: «Я ваш журнал читаю. Я знаю, что вы собираетесь печатать в ближайших номерах, и благодарю вас за это». Значит, все «фланги» довольны, смотреть больше не будут, кое-что нам с Таней восстановить удалось. То же делаем со второй и третьей частями — верстки майского и июньского номеров журнала приходят одна за другой. Движется влево Горбачев, за ним редакция и цензура. Тер-Акопян передал слова цензорши: «Читала всю ночь, плакала, по мне это тоже проехало».

Звонит Зоя Богуславская, жена Вознесенского, просит прийти 15 апреля: к ним на дачу приедет Госсекретарь США Шульц для встречи с группой писателей.

Писатель должен держаться подальше от политики и от политиков. Ни в одной встрече с властителями я не участвовал, ни с Хрущевым, ни с Горбачевым, ни с Ельциным. Но с Зоей и Андреем мы в приятельских отношениях, к тому же соседи, встреча с Шульцем ни к чему не обязывает, не прийти — невежливо.

Встречу подготовили по всем правилам официального

советского гостеприимства. Навели чистоту в Переделкине, на дачу Вознесенского прислали 12 рабочих, починили ворота, крыльцо, посыпали гравием дорожки. «Три года не могла добиться, — рассказывала потом Зоя, — а тут за несколько часов все сделали».

Движение по улице перекрыли, на всех углах — милиционеры. В ряд, одна за другой, стоят американские машины. На противоположной стороне толпа писателей из Дома творчества, смотрят, знакомые помахали нам приветственно. На участке полно молодых людей в штатском. И в доме молодые люди, но уже личная охрана Шульца, стоят, расставив ноги, как морские пехотинцы из кинофильмов. Много корреспондентов с фото- и кинокамерами. На кухне возятся присланные из Дома творчества повариха и официантки.

В столовой накрыт стол. Расселись. По правую руку от Шульца — Зоя, по левую — Таня. Шульц — грузный, с крупными чертами доброго лица, во всяком случае, таким оно кажется на первый взгляд. С Шульцем приехали новый посол США Мэтлок, атташе по культуре Рэй Бенсон, оба хорошо говорят по-русски, переводчик Шульца и еще двое американцев. Из наших кроме меня и Тани — Айтматов с женой, драматург Миша Рощин, главный редактор журнала «Юность» Андрей Дементьев, скульптор Зураб Церетели. Зоя каждого представила.

Шульц представился сам, рассказал о детях, внуках, преподавал экономику, кажется, в Станфордском университете и вернется туда же, когда уйдет в отставку, если, конечно, вместо кресла к тому времени ему не понадобится диван... Говорил хорошо, мягко, в отличие от гарвардских советологов, обсуждавших перестройку с позиций одоления «империи зла»... И я понял, о чем мне следует сказать, если придется говорить...

Шульц задал вопрос:

— Что такое гласность, как вы ее понимаете?

Начал Айтматов:

— То, что мы с вами здесь сидим — уже признак гласности, этого не могло случиться несколько лет назад. — Затем Айтматов подробно рассказал о роли созданного им

для предотвращения атомной угрозы Иссык-Кульского форума деятелей культуры, отметил, что его участников принимал Горбачев.

Дементьев:

— Из-за господствующей лжи мы потеряли молодежь, она перестала нам верить, теперь мы говорим правду, журнал «Юность» печатает все. Это большое достижение, вот вам еще один признак гласности.

Рощин:

— Семьдесят лет мы жили в состоянии войны, мы устали, верьте нам, мы становимся другими. — Миша добавил, что в США ему сделали операцию на сердце, и произнес тост за Америку.

Все выпили. Поставив бокал на стол, Шульц спросил у Рощина:

— Вы можете отказаться ставить пьесу, если вам предложат сделать купюры?

— Конечно, — ответил Миша.

Зураб Церетели сообщил, что в Америке стоят две его скульптуры, и преподнес Шульцу альбом с репродукциями своих работ.

Шульц повернулся в мою сторону:

— Мне очень интересно вас послушать.

Но тут подали блины. Я сказал, что блины с икрой — конкурент, которому обязательно проиграешь, поэтому подожду говорить. Засмеялись, принялись за блины.

— Я читал «Дети Арбата» на английском, — объявил переводчик Шульца.

— Каким образом? — удивился я. — Перевода еще нет.

Оказалось, он читал не роман, а статью о романе в «Геральд трибюн». Позже я убедился, что в США знакомство с рецензиями многим заменяет чтение книг.

Справились наконец с блинами, наступила моя очередь ответить на вопрос Шульца. Я сказал, что каждая страна проходит через неоднозначные периоды своей истории. В Америке 250 лет существовало рабство — официально, узаконенно. В нашей стране много лет господствовала диктатура, породившая тотальный страх. Преодоление страха, осознание собственного достоинства, достоинства

других людей, обретение внутренней свободы — и есть гласность. Процесс этот необратимый.

— В чем гарантии необратимости? — спросил Шульц.

— Инстинкт национального самосохранения — вот гарант. Иначе мы не можем развиваться, перестанем быть великой державой. Но нам нужен мир. Чем быстрее Запад осознает происходящие у нас процессы, тем быстрее они пойдут.

— Я был в Китае, то же самое мне говорил китайский премьер.

— Аналогии всегда условны. Мы прошли более длительный тоталитарный путь, и, в отличие от Китая, у нас почти не осталось крестьян на земле, реформы, вероятно, пойдут по-разному. Важно, чтобы мы и Запад перестали видеть друг в друге противников. Мы не боимся сильной Америки, Америка не должна бояться сильного Советского Союза.

Он внимательно слушал.

— Америка с востока и запада омывается океанами, никто и ничто ей не грозит, но мощная демократическая держава на вашем континенте необходима. Россия на западе соседствует с Европой, на востоке — с Азией. Россия тоже должна быть сильной, так сложилось исторически — слишком много иноземных солдат топтали ее землю. Слабая Россия — это непредсказуемо, это опасно. Сильная демократическая Россия — означает стабильность в этом регионе.

Шульц понимал, конечно, о чем я говорю, но ничего не ответил.

Зоя сказала, что две ее пьесы были сняты с постановки, однако новое положение в искусстве... Но тут ее прервал Зураб Церетели, засуетился со своим альбомом: как подписать? Бенсон и Рощин ему помогали. Подали чай. Гости посматривали на часы, Шульц каждому подарил свою книгу. Вскоре американцы распрощались и уехали. Зоя, со слов Бенсона, нам потом передала, что Шульц остался очень доволен встречей: стал лучше понимать Россию. Хорошо, если это так.

Получили апрельский номер «Дружбы народов» с «Детьми Арбата».

Все! Свершилось! Роман печатается. И сразу ажиотаж. В редакции тревога: рабочие типографии берут себе по десять экземпляров — ничего не останется для свободной продажи. И на почте тревога: журналы воруют из ящиков в подъездах, подписчикам объявлено: «Дружба народов» будет выдаваться только в почтовом отделении по предъявлении паспорта. То же происходило с майским и июньским номерами. В библиотеках очередь на роман на год вперед. Называют астрономические цифры стоимости журнала на «черном» рынке. Читают коллективно, вслух, снимают на ксероксе. У нас непрерывные телефонные звонки из разных городов, приезжают незнакомые люди. Кто они? Много бывших репрессированных, их детей, люди, знающие подробности сталинских времен, рассказанное ими я использовал в следующих романах, просто читатели, до которых наконец дошла правда.

Открывается калитка, стоят два парня. Таня выходит к ним. Называют себя: рабочие с электролампового завода. Прочитали роман, приехали, чтобы предложить свою помощь, мало ли, вдруг что-то понадобится? Оставляют телефоны.

Делегация крымских татар. Пять человек. Хотят узнать, что я думаю, — разрешат ли в конце концов им вернуться в Крым. Куда писать? Кого просить? Горбачева? Будет ли толк? Тоже предлагают помощь: «Будем вас охранять».

Опять двое молодых парней. Фамилия одного из них вскоре замелькает в газетах: Дима Юрасов. Составляет списки расстрелянных в 1937—1938 годах. Работал в закрытом архиве, вел тайные записи, пока не поймали. В его семье ни одного репрессированного. Делал это из чувства долга перед невинно погибшими. Таня спрашивает, есть ли в его списках ее отец. Называет ему фамилию, имя, отчество, кем работал до ареста. Вечером Юрасов перезванивает: «Ваш отец есть».

Сидим допоздна, разбираем письма, весь стол ими завален.

«“Дети Арбата” перевернули мне душу, вот уже сколь-

ко дней хожу потрясенная...», «Сейчас в третий раз перечитал «Дети Арбата». Время вы показали с дьявольской точностью...», «На фоне океана литературной лжи «Дети Арбата» производят ошеломляющее впечатление...», «Комок подступает к горлу...», «Читатели вашей книги стоят в очереди, вот она единственная благородная очередь...», «Нет семьи, которой бы не коснулись эти события...», «Наконец нашелся художник, который отважился написать правду о Сталине, о тяжких трагических годах, пережитых народом...», «Над вашим романом пролито много слез...», «Мысли Сталина сочинены Рыбаковым, но им веришь, потому что они оправданы поступками Сталина...», «Вечером рабочие, собравшись в вагончике, вслух читали «Дети Арбата». Этот факт меня удивил, за 16 лет работы на БАМе такого не видел...», «Дети Арбата, Дети Арбата, голос набата...»

А вот молодые: «Мы обязаны сделать так, чтобы не повторился этот позор» (Болдова Ольга, 17 лет), «Ничего подобного «Детям Арбата» я раньше не встречал» (Семенов Петр, 16 лет), «Титанический труд, очень нужный нам сейчас, он не будет забыт» (Максютов С., 16 лет), «Значение вашей книги в том, что она выбивает опору у противников демократического обновления» (Ковалев Виктор, 22 года), «Ваш роман стал одним из важнейших событий моей жизни» (Сухарев Н., 22 года), «Роман открыл мне глаза на целую эпоху» (Анпилов, 29 лет), «Подавляющее большинство нашего народа правильно поймет вашу работу» (Пельмиков, 32 года)...

Но были и другие письма: «Даже Хрущев, ненавидевший Сталина, не решился на то, что описал Рыбаков. Рыбаков опасен талантом, в его изложении фантазия выглядит правдой» (Кравченко, Днепропетровск), «Просим Рыбакова написать в газету опровержение насчет своих выдумок. Это надо сделать до 10 мая 1988 года. Если вы этого не сделаете, то мы вас уничтожим в течение трех месяцев» («Группа». 3 человека), «Во время войны с вами встречались в 4-м гвардейском корпусе. Теперь льете грязь, черните наше прошлое, охаиваете Советский Союз, сомкнулись с эмигрантами, с диссидентами. Фотография

и адрес ваш есть. Остается только наказать вас. В условиях гласности и вседозволенности это можно сделать не через государственные органы, минуя их. До встречи на Арбате, во дворе дома 51» (Кутейщиков А. П., Вильнюс), «Автор клевещет на самое святое, что есть в сердце настоящего русского человека, на великого вождя и учителя земли русской Иосифа Виссарионовича Сталина. Мы требуем привлечь этих подонков и их главаря А. Н. Рыбакова к суду русского народа» (Истинно русские люди из города Москвы), «Рыбаков — клеветник, враг народа, такие не должны жить на свете»... (Без подписи), «Рыбаков в нашем городе вызвал всеобщую ненависть» (Я. З. Сокашвили, Тбилиси), «Я бы за этот роман расстрелял бы и Рыбакова, и всю редакцию...» (Без подписи), «“Дети Арбата” я не выдаю молодежи вообще» (Л. Е. Смирнова, библиотекарь, Калининская область), «Пишете вы хорошо, доходчиво, но не верю ни одному слову. Сталина люблю, уважаю. 37-й год — это дело рук сионистов. И вы, как и бездарная Ахматова, знали об этом» (С. П. Алексеева, г. Липецк)...

Такие вот «крики озлобления»... Подобных писем было процентов десять-пятнадцать от общего числа, составляющего много тысяч. Мы разложили их по алфавиту, по городам, республикам, сложили в папки, отдали на хранение в ЦГАЛИ.

Журнал «Книжное обозрение» провел опрос читателей: «Дети Арбата» по популярности вышли на первое место. Председатель Госкомиздата заявил: чтобы удовлетворить спрос на роман, его надо издать тиражом минимум 30 миллионов экземпляров. Издали десять с половиной миллионов, даже реакционная «Роман-газета» напечатала.

Вот письмо из Ярославля: «В Центральной библиотеке очередь на Вашу книгу — 127 человек, а у нас только один экземпляр. Из пятнадцати филиалов библиотеки только в семи есть по одной книге, в остальных — ничего. Нам стыдно говорить людям, что прочитать только что вышедшую, взволновавшую общество книгу они смогут через два-три года. Поэтому мы решили допечатать 100 экземпляров за счет библиотеки, оплатим печать и бума-

гу, это нам обойдется очень дорого, книги же будут выдаваться бесплатно, неудобно, но приходится спрашивать Вас: согласны ли Вы напечатать эти книги без гонорара?»

Естественно, я дал согласие, помог библиотеке, как мог, и другим библиотекам помогал, и мелким издательствам...

В этой главе много цитат из читательских писем, и все же я хочу закончить ее еще одним письмом, присланным в редакцию журнала «Дружба народов»: «Есть ли у Рыбакова хоть какой-нибудь домик за городом, где бы он мог спокойно работать, есть ли хоть какой-нибудь «Москвич», есть ли деньги на заграничные лекарства, на покупку мяса и фруктов на рынке? Срочно напишите — примем меры!»

Спасибо, все есть! Есть главное. Я опубликовал роман в своей стране, его прочитали на моей родине. Я ждал этого двадцать лет. И дождался.

38

На нескольких машинах приехал со своей группой известный телевизионный комментатор Си-Би-Эс Дэн Разер, его передачи каждый вечер смотрят 17 миллионов американцев, в свое время вел репортажи из Вьетнама, Африки, о расследовании убийств Кеннеди, Мартина Лютера Кинга, Анвара Садата. Разговор начал с темы «отказников», тех, кому отказывают в выезде на жительство за границу.

Я ответил так, как обычно отвечал на подобные вопросы:

— Вы странные люди, никто не требует с вас ответа за атомные испытания в Неваде, за действия Рейгана или Шульца. А с меня вы спрашиваете. Я лично за то, чтобы человек жил там, где он хочет. Но решаю не я, а правительство. К нему и обращайтесь.

— Вы правы, — согласился Разер, — но дело не только в вашем правительстве. Я говорил с простыми людьми, они настроены против уезжающих.

— Не все. Но, безусловно, есть и противники. Наша пропаганда представляла Запад врагом, а уезжающих туда — предателями. К сожалению, это откладывалось в сознании. И еще. Каждый американец или сам эмигрант, или эмигранты его предки. Русские — укоренившийся народ, веками живут на этой земле, оберегают ее от захватчиков, и потому в глазах многих россиян человек, покидающий страну, дезертир. Такое представление Сталин умело эксплуатировал, объявил «границу на замке». Сейчас мы становимся открытым обществом, цивилизованным государством, я надеюсь, каждый будет ездить куда угодно, жить где угодно, как это принято во всем мире.

Почти вслед за Разером приехала группа из программы «Время», руководил ею симпатичный молодой человек, представился просто: «Алеша». Задавал толковые вопросы, съемка получилась удачной. «В девять включайте телевизор, будем вас показывать». Смотрим программу, ничего нет. Оказалось, руководитель телевидения Кравченко убрал мой материал: слишком остро. Алешу вызывали «на ковер», инкриминировали политическую близорукость. Он мне позвонил: «У Кравченко я чувствовал себя как ваш Саша на партийном собрании». Третий год перестройки, «Дети Арбата» уже печатаются, а наши зубры никак не могут с этим смириться.

Но вот звонок. Начальник Управления информации МИДа — Геннадий Иванович Герасимов, человек умный, прогрессивный, намерен показать в ближайшем выпуске «Международной панорамы» кусок из фильма Разера с сюжетами о Ельцине, Коротиче и обо мне. «Разрушим стену умалчивания, Анатолий Наумович, фильм превосходный!»

Я не отказал себе в мстительном удовольствии позвонить на следующий день Кравченко:

— Передачу о себе на советском экране я смотрю в американском исполнении. Таковы теперь у вас порядки?

— Поздно об этом говорить, — он бросил трубку.

Сообщение из Нью-Йорка: представителю «Тайма» Роджеру Дональду не дают советскую визу: нет приглашения из ВААПа. Дональд должен заключить договор на издание «Детей Арбата». Звоню директору ВААПа Четверикову:

— Почему саботируете продажу моего романа?

— Не употребляйте таких выражений! Вышла только первая часть.

— Надеетесь, что остальные две не выйдут?

— Когда выйдут, тогда и будем заключать контракты.

— Издатель может судить по одной части, даже только по имени автора. «Тайм» предлагает вам неслыханные деньги, а вы уклоняетесь.

— Деньги нас не интересуют. Экономический фактор для нас не главный.

— А для нас, марксистов, — не без издевки произнес я, — он главный. Слушайте меня внимательно. В течение часа вы отправляете издателю приглашение приехать в Москву для заключения контракта. Если вы этого не сделаете, то завтра я созову пресс-конференцию, где объявлю, что вы, Четвериков, срываете продажу книги в надежде на изменение политической обстановки. Можете не сомневаться — придут все аккредитованные здесь иностранные корреспонденты.

На следующий день мне сообщили: приглашение ВААПа в Нью-Йорке получено, Роджер Дональд вылетает.

С аэродрома Роджера привезли к нам в Переделкино, где уже собрались сотрудники московского бюро «Тайма». По российскому обычаю выпили, закусили. Роджер оказался веселым, энергичным человеком, лицо обаятельное, улыбка открытая, в молодости был актером, и жена его Диана — актриса. Он станет редактором англо-американских изданий «Детей Арбата», «Страха», «Праха и пепла». Дружим с ним много лет, объясняемся на французском, он им немного владеет, я тоже что-то помню. Француза мне понять труднее, а с человеком, плохо говорящим по-французски, могу как-то объясниться. Видимо, у людей, подзабывших язык, остаются в памяти самые необходимые расхожие слова, которыми они оба и манипулируют. Неуверенность замедляет речь, вызывает паузы, это тоже помогает.

По приказу Четверикова юристы из ВААПа мучили Роджера два дня, брали на измор, крючкотворы! Я негодовал: «Плюньте на них, сам подпишу с вами контракт». Но Роджер проявлял завидную выдержку, улыбался и довел дело до конца. А подписав контракт, пригласил участников переговоров на ланч в ресторан Хаммеровского центра. Я пожал плечами: «Зачем?! Это же ваши мучители!» Он рассмеялся, и «мучители» рассмеялись — отправились в ресторан, пили и ели с большим аппетитом. За ланчем я сказал Роджеру: «Вы не успели побывать в Кремле, не осмотрели других достопримечательностей Москвы. Но в Переделкине вы увидели, как живут сельские жители в нашем с Таней лице, а в ВААПе — каковы совет-

ские бюрократы. Так что кое-какое представление о России имеете».

После этого «прорыва» ВААП начал заключать контракты. «Дети Арбата» изданы в 52 странах.

Люди, подобные Кравченко и Четверикову, всю свою жизнь привыкшие запрещать и указывать, оказались даже не способны сопротивляться. Система рухнула, «руководящие товарищи» надели свои пальто, шляпы, отправились по домам, а оттуда в собес хлопотать о пенсии, остальные 18 миллионов членов партии разбрелись кто куда.

Зашли как-то с Таней в Центральный Дом литераторов пообедать. Идем по ресторану. Вдруг меня останавливает Генрих Боровик. Улыбается, показывает на стоящий рядом столик — сидят там два иностранца: «Знакомьтесь!» И называет имя английского автора детективов, второй тоже писатель — представитель общества «Британия—СССР».

— Я слышал о вашем новом романе, — сказал представитель общества «Британия—СССР», — и читал ваш «Тяжелый песок». Несколько лет назад мы ждали вас в Лондон, но вы не приехали.

— Тогда не выпустили мою жену, и я отказался ехать.

— Анатолий Наумович! — вмешался Боровик. — Теперь этих проблем у вас не будет. Я — председатель Комитета защиты мира, от нас вы можете ехать в любую страну, куда угодно.

— Спасибо...

— Поздравляю вас от всего сердца! — добавил Боровик. — Кончилась трагедия с романом — книга вышла. Поверьте, я говорю искренне.

Усевшись рядом с Таней, я передал ей этот разговор. Она пожала плечами.

— Ладно, — сказал я, — будем и дальше «река брести, котома нести».

Такой татарской поговоркой я иногда заменял наше обычное «Побредем ужо, Марковна».

Из ЦДЛ мы отправились домой в Переделкино. По дороге на Кутузовском проспекте заехали в магазин «Дие-

та», где раз в неделю писатели могли купить набор продуктов, так называемый «заказ»: курицу или килограмм мяса, полкило сосисок или полкило «докторской» колбасы, килограмм селедки, килограмм гречневой крупы или риса, килограмм сахара, банку сгущенного молока, баночку растворимого кофе, пачку масла, печенья и чая. Не густо для семьи на неделю, но все же еда, в магазинах ничего нет. Стоим с Таней в очереди, двигаемся потихоньку к продавщице, входит в магазин старушка, видит гречневую крупу, мясо, сахар на прилавке, пристраивается в хвост. Ей объясняют: «Бабушка, здесь заказы для учреждения».

— Господи, когда вы только нажретесь! — говорит старушка и отходит к пустым полкам.

Николай Михайлович Шилин, сооружавший саркофаги для Ленина, Димитрова, Хо Ши Мина, рассказывает:

«...Но больше всего меня поразила горбачевская дача. На ее строительстве работало семьсот человек... Ни у Сталина, ни у кого такой виллы не было... Как из нее выходишь, справа скала, так в ней прорубили шурф к морю и брали воду для бассейна за восемьсот метров от берега. Потом ее очищали, подогревали и только после этого заливали. Стены у бассейна стеклянные, а когда погода хорошая, они открываются».

Вот так вот... А тут старушка на фоне пустых полок.

Приехал к нам на дачу знаменитый английский писатель Грэм Грин, автор «Тихого американца», «Нашего человека в Гаване» и других известных романов, с ним жена Ивонна, живут в гражданском браке, оба не могут расторгнуть предыдущий — католики. Ему 83, ей под семьдесят, обитают во Франции, много путешествуют по миру. Несмотря на возраст, Грин на меня произвел впечатление человека подвижного, легкого на подъем, с мгновенной реакцией — глаза настороженные, взгляд с легким прищуром, испытующий. После его смерти мне стали попадаться статьи, в которых утверждалось, что в свое время Грэм Грин был агентом английской разведки. Возможно. В Англии на репутацию это пятна не кладет:

выполнение патриотического долга. Пример — отношение к Сомерсету Моэму.

Грэм Грин сказал, что во Франции много говорят о «Детях Арбата» и ему очень приятно познакомиться со мной.

— Прекрасно, — отвечаю, — и я очень рад с вами познакомиться, но сначала покажу вам одну вещь, подождите минуту.

Пошел в кабинет и вынес оттуда изданный в 1966 году в ФРГ свой роман «Лето в Сосняках» с рекламной надписью: «Русский Грэм Грин». Он удивился, заулыбался и, не скрывая удовольствия, протянул книгу Ивонне.

— Какой неожиданный сюрприз, большая честь для меня.

Я возразил:

— Наоборот, это для меня большая честь; прочитав эту надпись двадцать лет назад, я подумал, что из меня действительно может получиться писатель.

Такими любезностями мы с ним обменялись.

Живо всем интересовался.

— Неужели ваш роман пролежал в столе двадцать лет?! Вы, русские, терпеливый народ.

— В таких условиях мы живем.

— Люди на Западе реагируют на все быстрее.

— Вы живете в других условиях. Впрочем, вы, как в свое время Анатоль Франс, или Ромен Роллан, или, скажем, Бернард Шоу, симпатизируете Советскому Союзу.

— Да, я сторонник социалистической идеи.

— Однако после дела Синявского—Даниэля, после нашего вторжения в Чехословакию порвали с Советским Союзом.

— Конечно, такое нельзя было простить.

— И все же простили, возобновили отношения. И вас приняли с распростертыми объятиями.

— Да, но потом отношения опять испортились. Я потребовал перевести мои гонорары жене Щаранского — Авиталь, я с ней встретился в Израиле. Ваши власти отказались. Это беззаконие!

— Ну вот, а теперь снова помирились.

— Щаранский освобожден, атмосфера у вас меняется...

— Да, да, конечно... Но я говорю о том, с чего вы начали, господин Грин, о терпении. Вы можете ссориться с нашим правительством, потом мириться, опять ссориться, опять мириться. Мы, русские писатели, этого лишены. Ссора с властями для нас — это полное прекращение публикаций, в лучшем случае, в худшем — преследования, а при Сталине и вовсе — расстрел. Вы не должны ничего терпеть. А мы были вынуждены терпеть. Вот я и терпел.

— В чем же выход? — спросил он.

Я засмеялся:

— Сделаем так: вы нам отдадите свою свободу, а мы вам свой социализм. Поменяемся. Хотите?

Он натянуто улыбнулся.

— Это шутка, — сказал я. — Как и вы, я тоже сторонник социалистической идеи. Но я за соединение социализма со свободой, я за демократический социализм. Возможен такой гибрид, как вы думаете?

— Это было бы великолепно! Мне кажется, к этому у вас все и идет.

— Будем надеяться.

— Публикация вашего романа вселяет большие надежды. Сейчас по приглашению господина Лигачева мы с Ивонной летим в Сибирь, посмотрим, как перестройка выглядит не в Москве, а в стране.

— Ну, что ж, возможно, вы не будете разочарованы.

В июле 1989 года посольство Франции в Москве устроило прием в честь 200-летия Французской революции. Народу полно, много знакомых лиц, однако самой заметной фигурой был там Ельцин, очень тогда популярный, почти единогласно (90%) выбранный от Москвы в Верховный Совет. Имел он репутацию человека гонимого, борца против номенклатурных привилегий, жил в обычной квартире на Лесной улице, лечился, как рядовой гражданин, в районной поликлинике, ездил на трамвае — одним словом, выступал поборником всеобщего равенства и защитником народных интересов.

На приеме в посольстве выглядел человеком, сознающим свою популярность; подчеркивая ее, держался как «герой дня»... Стоял там, где и следовало стоять, отдельно, на видном месте, у самого прохода. Все шли мимо него, не могли не заметить — высокого, красивого, знакомого по телевизионным передачам. Бойкий молодой человек, стоявший рядом, хорошо ориентировался в потоке людей, знал, кто есть кто и кого нужно представлять Ельцину, тот улыбался, пожимал руки. И меня представили: «Рыбаков, который «Дети Арбата»... Писатель...»

Ельцин растянул губы в улыбке: «Читал, читал, как же... Там этот парень с Арбата... Читал, помню...» Я поздравил его с блестящей победой на выборах.

Он опять растянул губы: «Народ решил, избиратель...» В этот момент к нему кого-то подвели, и я пошел дальше.

От той мимолетной встречи впечатление осталось смутное... Партработник, но без лигачевского партийного благообразия. Нестандартный... Капризный рот, по-мужицки подозрительный взгляд, дежурная приветливая улыбка. Не подумал в ту минуту, что он станет Президентом России.

39

Когда я писал «Страх», секретные архивы еще не были открыты. Я пользовался теми же источниками, что и при работе над «Детьми Арбата»: официальной литературой и рассказами участников событий тех лет.

Позвонил мне Виктор Николаевич Ильин, бывший многие годы оргсекретарем Московской писательской организации, ее истинным и полновластным хозяином. Ильин приходил на службу ровно в девять, уходил не ранее шести, на обед не отлучался, заваривал в кабинете чай, запивал принесенные из дома бутерброды, исполнительный чиновник с хорошими связями в партийных и советских кругах, в аппарате КГБ, где проработал всю жизнь, дослужившись до генерала. Однако в конце войны или сразу после войны его самого посадили, держали в тюрьме, потом отправили на какое-то строительство за то, что предупредил своего друга о возможном аресте. После XX съезда он вернулся в Москву, и Поликарпов, тогдашний руководитель Союза писателей, взял его на работу во вновь созданную Московскую писательскую организацию.

Ильин позвонил мне, уже будучи на пенсии.

— Зашел бы, посидим, поговорим.

Знает много. Я поехал к нему на Ломоносовский проспект. Ильин провел меня в кабинет, открыл дверцы книжного шкафа:

— Видишь?

Это были книги московских писателей с дарственными надписями: «Дорогому Виктору Николаевичу...»

— Только ни одной твоей нет...

Мы сели.

— Не думай, я не обижаюсь, цену этим подаркам

знаю. За глаза-то как меня называли? «Генерал», «кагэбист», так ведь?

— Разве ты им не был?

— Был. Не отрицаю. Всю жизнь прослужил. Честно служил. Как коммунист. Много чего видел, но веры не терял. За это и поплатился. Знаешь мою историю?

— Слыхал.

— И сейчас веры не теряю. Потому так высоко ставлю твой роман, он все во мне перевернул. В органах всякое приходилось читать, сам понимаешь, все было доступно. Но ты ткнул в то самое место, откуда росла эта опухоль. Удастся ее удалить, как думаешь?

— Надеюсь.

— Говорят, продолжение пишешь. Какие годы?

— Те же. Тридцатые...

— Знакомое время. Наше ведомство присутствует?

— Конечно. Процессы Зиновьева, Бухарина... Дело Тухачевского...

— Какими материалами пользуешься?

— Тем, что было опубликовано... Стенограммы судов...

— Мало!

Он поднял на меня глаза, по его взгляду я понял: решение принял.

— Я работал в центральном аппарате, в секретно-политическом отделе, все это проходило через нас. Отвечу на любые твои вопросы. При двух условиях: никаких магнитофонов, и на меня, как на источник информации, сможешь сослаться только после моей смерти, если, конечно, при этом не пострадает моя семья, это на твоей совести.

Мы встречались с Ильиным несколько раз, говорили по многу часов. Он очень мне помог. Знал работников НКВД того времени, их биографии, слабости, сильные стороны, знал механику работы этого учреждения, вспоминал отдельные ситуации, подробности, детали, которые были необходимы для моей работы.

Уже после публикации романа «Страх», вернувшись из заграничной поездки, я узнал, что Ильин погиб — попал под машину, переходя улицу.

С 1988 года начались наши с Таней зарубежные поездки

на презентации «Детей Арбата». Побывали почти во всех странах Европы и несколько раз в США.

Путешествия наши описывать не буду. Таня еще успевала кое-что посмотреть, мой же день был расписан с утра и до позднего вечера: интервью газетам одно за другим, с перерывом в пять, десять минут, выступления по радио, телевизионные съемки, встречи с читателями в книжных магазинах, официальные приемы — все это в нескольких главных городах каждой страны. Издатель, приглашая автора, выжимает из него для рекламы все мыслимое и немыслимое.

Остановлюсь лишь на двух странах — Франции и США, связанных с работой над двумя следующими книгами Арбатской трилогии — романами «Страх» и «Прах и пепел».

Во Францию приехали из Италии. Перед Италией были в Англии, а после Франции предстояла поездка в Германию на книжную ярмарку во Франкфурте-на-Майне и в Голландию. Оттуда домой, где мы не были два с половиной месяца.

В Париж прилетели в середине сентября 1988 года, поселили нас в пяти минутах ходьбы от моего издательства «Альбен Мишель», в гостинице «Ленокс», вблизи бульваров Распай и Монпарнас.

Руководила моей программой Люся Катала — директор отдела русской литературы. Вместе с мужем — Жаном Катала и Антуанет Рубишу (из семьи Набоковых) Люся перевела на французский «Детей Арбата».

Жан Катала перед войной работал во Французском посольстве в Эстонии. В 1940 году советские войска заняли Прибалтику. Жана, в числе других французов, отправили в лагерь в Мордовию, затем перевели в Казахстан и освободили только в конце сорок второго года, после установления Советским Союзом официальных отношений с правительством Де Голля. Жан работал сначала во французском представительстве в Москве, потом занялся журналистикой, по-русски говорил хорошо (в лагере языку быстро обучаются), в 1949 году познакомился с Люсей, бывшей юной фронтовичкой, успевшей к тому времени получить диплом Института иностранных языков, знаком-

ство закончилось женитьбой. Но Люсе долго не давали выезда из Союза, перебрались они во Францию только в 1972 году.

Люся Катала много делает во Франции для русской литературы: издательство «Альбен Мишель» за последние годы выпустило более 70 книг современных русских авторов. Это — заслуга Люси, мимо ее внимания не проходит ни один стоящий автор. Очаровательная женщина, умница, энергичная, благожелательная, встретила нас на аэродроме, доставила в гостиницу, а вечером привезла к себе домой, познакомила с Жаном. Его лицо нельзя забыть — аристократическое, с пронзительными глазами, он был очень артистичен в своем черном бархатном пиджаке. Русское гостеприимство Люси нравилось ему. Жан умер пять лет назад.

Люся устроила нашу поездку в Озуар-ла-Ферер, в дом, ранее принадлежавший знаменитой русской певице Плевицкой и ее мужу генералу Скоблину, — оба были агентами советской разведки. Скоблин (одновременно и немецкий агент) по заданию НКВД через шефа СД Гейдриха организовал изготовление в Германии фальшивых документов за подписью Тухачевского, позволивших Сталину истребить 40000 лучших командиров Красной Армии.

Мы проехали по узким уличкам этого маленького городка с двухэтажными домами, с непременными чугунными резными решетками на балкончиках. Поглядели на деревянную православную церковь без купола, с крестом на коньке крыши и иконой на фасаде, построенную на пожертвования русских эмигрантов, перед войной тут жило двести семей. В доме Плевицкой—Скоблина сменилось пять владельцев. Новый хозяин перестраивал подвал и обнаружил там тайник Скоблина, впрочем, пустой. Таня сделала в блокноте наброски: ограда, калитка, фонари, крыльцо, дверь сбоку, в кухню, откуда заходила кухарка.

Осмотрел я и другие места, где будут действовать мои герои. Поездка в Париж оказалась для романа полезной.

Прожили мы в отеле «Ленокс» больше месяца, на углу, в газетном киоске, покупали газету «Русская мысль». Меня там поругивали, не могли примириться с тем, что совет-

ский писатель написал сенсационный антисталинский роман.

Как-то Таня вернулась без газеты — не поступила в продажу.

В тот вечер я выступал в Институте славянских языков. Зал полный. Эмигранты разных поколений, русские писатели — Андрей Синявский с Марией Розановой, сотрудники «Русской мысли», профессора Института.

После моего рассказа о положении в Союзе, перестройке, истории написания романа начались вопросы. Первый:

— Как вы относитесь к поэту Иосифу Бродскому?

Воцарилась тишина — все ждали моего ответа. Вопрос неожиданный — с чего вдруг Бродский, почему так интересно мое мнение о нем?

Конечно, о мертвых — или хорошо, или ничего. Но я рассказываю о том времени, когда Бродский был жив. Я не любил его. Никогда о том не говорил, но сейчас, «подводя итоги», могу сказать.

В конце шестидесятых годов одна ленинградская дама приехала ко мне на дачу с Бродским. То ли хотела продемонстрировать Бродскому свои «переделкинские» связи, то ли показать мне, какие у нее знаменитые знакомые: Бродского тогда только освободили, чему предшествовала шумная кампания в его защиту.

Бродский читал стихи, откровенно говоря, мне мало интересные, что делать, наверно, я слаб в поэзии. Однако слушал внимательно и предложил Бродскому поговорить о нем с Твардовским.

Он гордо вскинул голову:

— За меня просить?! Они сами придут ко мне за стихами.

Парень, травмированный судом, ссылкой, вот и защищается высокомерием от несправедливостей мира. Простительно.

Я заговорил о Фриде Вигдоровой. Хрупкая, похожая на подростка, очень болезненная, но поразительно мужественная, Фрида, узнав о суде над Бродским, поехала в Ленинград и стенографически записала процесс. Эта запись была издана в Самиздате, разошлась по всему миру и сыг-

рала громадную роль в защите и освобождении Бродского. Но напряжение, связанное с теми событиями, окончательно подкосило Фриду, вскоре, совсем еще молодой, она умерла. Мне казалось, что разговор о ней смягчит Бродского.

Однако, буркнув в ответ что-то пренебрежительное, Бродский предложил почитать еще стихи.

Я был поражен.

— Как вы можете говорить о Вигдоровой в таком тоне? В сущности, она вас спасла... Вас спасла, а сама умерла.

— Спасала не только она, — ответил Бродский, — ну, а умерла... Умереть, спасая поэта, — достойная смерть.

— Не берусь судить, какой вы поэт, но человек, безусловно, плохой. — Я поднялся и ушел в кабинет.

Гостям пришлось ретироваться.

Бродского я больше не видел и стихов его не читал.

Но здесь, в Париже, в Институте славянских языков, рассказывать эту историю не хотелось. Ответил так:

— Я — старый человек, вырос на Пушкине, Лермонтове... Новая поэзия мне, наверно, недоступна. Как поэта я Бродского не знаю. Но моя жена, мои друзья говорят, что он очень одарен. У меня нет оснований им не верить, и я присоединяюсь к их суждению: Бродский — талантливый поэт.

В ответ — аплодисменты. «Вот как здесь любят и ценят Бродского», — подумал я.

Поздно вечером мы вернулись в отель. Таня протянула мне номер «Русской мысли».

— Купила утром, не хотела тебе показывать.

Газета от 23 сентября 1988 года, заметка: «Иосиф Бродский в Копенгагене».

«Вопрос:

— Что вы думаете о публикации книги Рыбакова «Дети Арбата»?

Бродский:

— Что я могу думать о макулатуре?

Вопрос:

— Но ведь книга пользуется фантастической популярностью?

Бродский:

— Разве так редко макулатура пользуется популярностью?»

Не забыл, значит, Бродский нашей встречи в Переделкине. Прочитай я его интервью утром, вечером в Институте славянских языков наверняка и я бы ее припомнил. Но я газеты не читал, а публика в зале прочитала. И на вопрос о Бродском ждали от меня другого ответа. Оттого и аплодировали. Наверное, Таня поступила мудро.

В Институте после встречи подошла ко мне вдова писателя Осоргина, спросила про Арбат, про Сивцев Вражек. Голос тихий, печальный, в глазах — тоска. Я сказал ей:

— Книги вашего мужа будут скоро читать в России.

Она промолчала, видимо, ни во что уже больше не верила. И я в который раз подумал о том, как трагична судьба моей страны, лишившей родины миллионы людей: до революции, после нее, во время второй мировой войны, в семидесятых и восьмидесятых годах, в теперешнее время, когда уезжают люди из стран так называемого СНГ. Я встречался за границей со многими русскими писателями и был убежден: зарубежная русская литература должна вернуться на родину. Где бы ни жил русский писатель, каковы бы ни были его политические взгляды, его книги принадлежат русской культуре.

Искусственно созданный в СССР Союз писателей тем временем разваливался. Реакционное крыло сосредоточилось в Союзе писателей РСФСР, возглавляемом Юрием Бондаревым. Писатели — сторонники реформ создали объединение «Апрель», названное так в честь апрельского пленума ЦК, положившего начало перестройке. И вечера устраивали, и журнал выпускали, однако носило это характер скорее политический, чем литературный.

Назрела необходимость создать то, что есть в каждой цивилизованной стране — ПЕН-клуб, единственную в мире демократическую писательскую организацию.

В предшествующие годы мы этого права были лишены — в стране существовала цензура, это противоречило

основополагающему принципу ПЕН-клуба — свободе творчества. Это препятствие устранено. Шестьдесят два наиболее авторитетных писателя, представляющих все жанры литературы, вошли в организационный комитет русского ПЕН-клуба.

Однако для придания ему официального статуса требовалось разрешение властей и прием нашего ПЕНа в Международный ПЕН-клуб.

Первую задачу взял на себя секретарь Союза писателей СССР Владимир Васильевич Карпов и, как у нас говорят, «пробил это дело»: получил принципиальное разрешение властей. Вторая задача легла на делегацию, выехавшую в мае 1989 года на 53-й конгресс Международного ПЕН-клуба в город Маастрихт (Голландия). Поехали: Андрей Битов, Игорь Виноградов, Фазиль Искандер, Анатолий Рыбаков, Владимир Стабников. Многие члены Международного ПЕН-клуба сомневались в истинности новой российской демократии, некоторые даже рассматривали наш ПЕН-клуб как «троянского коня» коммунизма, предназначенного разрушить изнутри движение ПЕН. Это препятствие надо было преодолеть.

Выступая от имени делегации 10 мая на пленарном заседании конгресса, я сказал (излагаю в сокращении):

«Преобразования в нашей стране начали литература, искусство, печать...

Воздействие художественного слова на жизнь общества — процесс длительный, измеряемый иногда жизнью поколений... Русская литература второй половины восьмидесятых годов подала пример мгновенного воздействия на перемены в жизни в громадной, почти 300-миллионной стране... Это были произведения советских авторов, десятилетия пролежавшие в столах их создателей или изданные за границей и только сейчас дошедшие до советского читателя.

...Великая русская литература всегда была частью мировой культуры, вошла в духовную жизнь многих народов, так же как литература других стран прочно вошла в нашу жизнь. Теперь мы хотим присоединиться к международному литературному движению, которое представляет ПЕН-клуб. Мы полностью разделяем его идеалы и принимаем

на себя обязательства, вытекающие из его устава. Мы прошли сложный и тяжелый путь и понимаем ответственность писателя перед человеком и народом.

Господствующий в стране страх — наша национальная трагедия. Не всем удалось выстоять до конца, не согнуться под тяжестью этого пресса, пришлось пойти на уступки, не делающие им чести. Среди них есть и талантливые люди. Сейчас побеждает правда, а правда — милосердна, тем более когда она побеждает. Мы не можем отбрасывать таких писателей. Подписание ими устава будет гарантией того, что своих ошибок они не повторят.

Мы просим согласия конгресса на создание в СССР русского ПЕН-центра и принятия нас в ПЕН-клуб.

Каково бы ни было ваше решение, мы желаем всем вам успешного творчества, а ПЕН-клубу успеха в его деятельности на пользу литературе, а следовательно, и всему человечеству».

Русский ПЕН-центр был принят в Международный ПЕН-клуб единогласно.

В Москве я был избран его президентом. Много сил и времени было отдано организационным делам. По истечении положенного по уставу двухлетнего срока я передал сформированный и действующий ПЕН-центр своему преемнику — Андрею Битову. А сам остался его почетным председателем, в коем звании ныне и пребываю.

40

Когда океанский пароход идет ко дну, пассажиры спасаются в маленьких лодках. Советский Союз начал тонуть, и его пятнадцать республик бросились выплывать, кто как сумеет. Причина гибели государства — вырождение правящей элиты, заведшей страну в тупик.

Под сталинским кнутом система кое-как двигалась, при Брежневе окостенела. Горбачев объявил реформы, но шесть лет произносил речи и упивался властью. Его соперник, чтобы власть отобрать, распустил Советский Союз. В одной лодке с Россией оказались автономные республики, области, округа, им был предложен суверенитет «сколько сумеют проглотить». Чечня проглотила и не подавилась. Российские области и края перестали надеяться на Москву. Не захотят ли и они плыть в одиночку?

Дореволюционная Россия и Советский Союз были единым географическим и экономическим пространством, сложившимся исторически и исторически себя оправдавшим. Но новой элите власть требовалась любой ценой. Порвались экономические связи, рухнет народное хозяйство? Управимся, ребята уверяют — Запад поможет, а ребята грамотные, по-английски умеют разговаривать. Двадцать пять миллионов русских остались за границей? Проживут. Вместо СССР теперь будет СНГ. Какая разница, только название поменяли.

На самом же деле СНГ оказался фиговым листком. Советский Союз пошел ко дну, и не только Советский Союз. В геополитике, как и в природе, есть свои законы равновесия — их нарушение кончается катастрофой. Беловежская пуща положила начало новому витку человеческой

истории, изменила карту мира, уже слышны подземные толчки новых катаклизмов.

Расчленение государства, приход к власти безжалостных честолюбцев, авантюристический «большой скачок» в капитализм, циничное разграбление собственности, созданной многолетним трудом миллионов людей — мгновенно привели к глубокому, всестороннему кризису. Перед людьми стала проблема выживания. До серьезной ли им литературы?

К 1991 году я опубликовал первые две книги Арбатской трилогии («Дети Арбата» и «Страх»). Пресса была обширной. Разгорелись споры. Вышла книга: «“Дети Арбата” с разных точек зрения». В ней отзывы виднейших писателей, критиков, письма читателей, книга не исчерпывает всей реакции на роман, но дает некоторое представление о раскладе общественного мнения. Коснусь лишь тех, кто обвиняет меня в том, что я «не договорил до конца», разоблачил Сталина, но не тронул Ленина, Октябрьскую революцию, социализм.

О художественном произведении следует судить по тому, что в нем есть, а не по тому, чего в нем нет. Ленин, Маркс, Энгельс — это сюжеты других романов, пишите, господа! Мой герой — Сталин. О нем и писал. Сталин — продукт советской системы? Тогда пусть социологи и историки объяснят, почему в демократической Германии путем свободного народного волеизъявления к власти пришел Гитлер.

Никакой политической, идеологической задачи я перед собой не ставил. Стремился изображать людей живыми, их судьбы достоверными. Выводы должен сделать читатель. Он их сделал — не в пользу Сталина, мне этого достаточно.

Я считал и считаю, что общество должно демонтировать сталинизм, сохранив социальные завоевания революции. Защитники Сталина пытались спасти его систему и поставили страну на край пропасти. Неистовые «демократы» ее туда и столкнули. И те и другие «договорили до конца».

Теперь, через десять лет после выхода «Детей Арбата»,

стоя на развалинах великой когда-то страны, можно судить: кто же оказался прав.

Как заканчивать трилогию? Многочисленные публикации о Сталине наводнили книжный рынок. Но своей актуальности сталинская тема не потеряла. Гайдаровско-чубайсовский опыт скомпрометировал понятие демократии. Идейный вакуум в обществе заполняется, как правило, национализмом. В своем прошлом народ ищет «крепкую руку» в национальном исполнении. И находит ее в Сталине. Ленин — тоже крепкая рука, но это модель интернациональная. А русскому человеку внушают, что все его беды от инородцев. И правящей олигархии Ленин не нужен, ей нужны деньги и власть. Наши доморощенные мыслители объявили Ленина «истоком сталинизма», списывают на Ленина сталинские преступления, обеляют, очищают Сталина, выводят его из-под удара, оставляя ему только достижения и триумфы. Задача несложная — никто Ленина не помнит, его сподвижников Сталин истребил, уцелевшие вымерли, и современники вымерли. А Сталина многие помнят: время их детства, юности, их надежды, песни, марши, их самоотверженный труд, их война и победа.

В журнале «Огонек» (1991, № 29) покойный писатель Солоухин объявил Бухарина «теоретиком террора»: якобы в своей книге «Экономика переходного периода» Бухарин назвал более сорока социальных групп (помещики, агрономы, адвокаты и т.д.), «подлежащих ликвидации». На самом же деле Бухарин писал: «...их нужно превратить в общественных работников».

Эта ложь сошла тогда Солоухину, никто его за руку не схватил, и в своей последней книге «При свете дня» он объявил Ленина виновником «террора, уничтожившего более одной трети населения», «проведенной в 1929—1930 годах насильственной коллективизации», «строительства гигантских плотин, гигантских водохранилищ, отравления Байкала, погубления Аральского моря», «депортации целых народов (немцы Поволжья, чечены, ингуши, карачаевцы, крымские татары и т.д.) в пустыни, тайгу, где эти народы на 3/4 погибли»...

Во всем этом оказался виноват Ленин, умерший в январе 1924 года, потому что последующие руководители партии объявляли себя ленинцами. Сжигавшие на кострах людей инквизиторы тоже объявляли себя христианами. Но Христос не виновен в их преступлениях.

Для чего же нужен был Солоухину этот поклеп? Чтобы выгородить Сталина, в кремлевской охране которого Солоухин прослужил всю войну, в отличие от своих сверстников — «детей Арбата» (так он именует детей репрессированных родителей, которые воевали и умирали за родину).

Война завершила историю моего поколения. Те, кто не пропал в тюрьмах, лагерях, ссылках, погибли на полях сражений. Этим я должен был заключить трилогию.

Зимой 1992 года мы с Таней приехали в Нью-Йорк. Дожидаясь презентации «Страха», я продолжал набрасывать главы последней книги. У меня возникла мысль расширить повествование, показать нашу войну частью второй мировой.

Сняли квартиру в доме для профессоров, приезжающих в Колумбийский университет, в тамошней библиотеке материалов достаточно, я продолжал работать, но вскоре от своего замысла отказался: моей войной была та, наша, Отечественная. Об этом и должен писать. Из событий, происходивших за границей, оставил только связанные с моим сюжетом (Шарок, Вика, убийство Троцкого). Однако, верный своему правилу не двигаться с места, не закончив очередную работу, я за два года завершил в Колумбийском университете последний роман трилогии, назвав его «Прах и пепел», — мое поколение превратилось в прах, все им содеянное — в пепел.

Жили мы уединенно, Таня еще как-то объяснялась на английском, я ни слова, изучать поздно. Работа с утра до ночи, библиотека, прогулки по кампусу — зрелище праздничное, студенты со всех концов света, всех цветов кожи, молодые, веселые, приветливые, на широких каменных ступенях лестницы, ведущей к главному корпусу, самодеятельные оркестры, чуть поодаль — спортивный

комплекс, с бассейном, разнообразным спортивным оборудованием, хожу туда каждый день, кручу педали на велосипеде. Хорошее упражнение!

На улице разноплеменная толпа — черные, именующие себя афро-американцами, испаноязычные из Латинской Америки, итальянцы, евреи, поляки, русские; корейцы торгуют овощами и фруктами, индийцы — газетами, китайцы и японцы держат рестораны.

Почему люди стремятся в Америку? По количеству миллионеров и миллиардеров Америка на первом месте в мире, но и по преступности на первом (разделяя его, кстати сказать, с Россией), по разводам тоже на первом, а по количеству детей, регулярно посещающих школу, — на восемнадцатом, по продолжительности жизни — на двадцать втором: частная медицина превратила врачей в бизнесменов, по количеству адвокатов — на первом (их больше, чем во всем остальном мире), сутяжничество разъедает страну, жены судятся с мужьями за изнасилование, масскультура вытесняет серьезную литературу и искусство. И все же люди стремятся туда любым путем, легальным, нелегальным, лишь бы в Соединенные Штаты.

Первые переселенцы ехали в Америку в поисках Свободы, религиозной, национальной, социальной, политической. И обрели ее. Идея свободы стала сутью этой страны, помогала преодолеть то бесчеловечное и негативное, что сопровождало ее историю: изгнание индейцев, рабство негров, экономические депрессии. Свобода оказалась для человека важнее всего.

Высокие идеалы, провозглашенные Россией в 1917 году, продержались едва десять лет. Американцы идею свободы хранят столетия, чтут свою страну, ее историю, обычаи, традиции, ее флаг и гимн. В Вашингтоне на Арлингтонском кладбище я видел школьников, наблюдавших смену караула у могилы Неизвестного солдата, убитого в первую мировую войну. Я смотрел на лица мальчиков и девочек в ту минуту, когда часовой произносил слова: «Принимаю караул у могилы солдата, погибшего за Америку». Те мальчики и девочки никогда не забудут солдата, погибшего за Америку. А мы, потерявшие в последней войне 27 миллио-

нов человек, мы, где в каждой семье есть погибшие? Как мы чтим память наших солдат? Один литератор объявил их «красными» фашистами, воевавшими с фашистами «коричневыми». Что было бы с человечеством, если бы победили не «красные», а «коричневые»? Почему демократии всего мира воевали рядом с нами, а не с Гитлером? Наши солдаты ценой своих жизней спасли мир, а их упрекают: не за правое дело вы воевали, после победы у власти остался Сталин!

В войне 1812 года участвовали многие будущие декабристы, впоследствии повешенные или отправленные на каторгу. Они ненавидели самодержавие и крепостничество, но ни один русский офицер не перешел на сторону врага, не изменил родине, хотя после победы над Наполеоном в России осталась монархия, крепостное право, царила злейшая реакция. А у нас Власова и власовцев пытаются объявить героями. С какой легкостью отказываемся мы от нашего прошлого, топчем свою историю.

В июне 1994 года, завершив роман, мы с Таней вернулись в Москву. Она меня поразила. Вывески на английском языке — разве Москва английский или американский город? Рекламы курортов на Багамских островах — для кого, для нашего нищего народа? Бесконечные ларьки с водкой и коньяком, гуляй, ребята! Супермаркеты с залежалыми заграничными продуктами. Ничего своего — Россия перестала производить. И всюду доллар, доллар, доллар. Перешли на иностранную валюту...

В начале двадцатых годов после страшнейшей разрухи наш народ за два года восстановил страну. Среди частных предприятий появились и иностранные концессии. Но, в отличие от нынешней, та власть контролировала ситуацию в стране, не накинула на Россию долларовую удавку. Народный комиссар финансов Сокольников ввел твердую валюту — червонец. Свой, российский червонец, а не американский доллар. Бедные были, но с протянутой рукой по миру не пошли. Развивали прежде всего производство, вместе с ним укреплялись финансы. Нынешние высокомерные недоучки преклоняются перед Америкой, но, видимо, плохо знают ее историю. Американские поселенцы

начинали не с супермаркетов, а с обработки земли, мы свое земледелие забросили. Они строили заводы и фабрики, мы свою промышленность разрушили и разворовали. Они развивали науку, мы свою загубили, они создали цивилизованное общество, мы — хищническое, коррумпированное, выгодное сильным и бессовестным, беспощадное к слабым и честным.

Одинаковых путей в истории человечества не бывает. Демократических стран в мире много, каждая из них шла к свободе своей дорогой. Свой путь должна найти и Россия. Русский человек никогда не испытывал почтения к «купчине толстопузому», к Тит Титычам, Колупаевым и Разуваевым, к мироедам, конокрадам и казнокрадам, стремился не к роскоши, а к спокойной, достойной, духовной жизни, к равенству и социальной справедливости. Капиталистическое общество в его нынешнем исполнении никогда не станет русской идеей. Коммунисты хотели построить социализм без демократии — не удалось. «Реформаторы» задумали демократию без социализма — тоже провалились. Истинный путь России — демократический социализм. Его отвергли и Сталин, и нынешние руководители. Ничего, кроме несчастья, ни тот, ни эти России не принесли.

«Прах и пепел» был опубликован в журнале «Дружба народов», вышел отдельным изданием, переведен в ряде стран. Не все читатели довольны финалом трилогии, гибелью ее героев. Что делать? История моей страны в XX веке не располагает к счастливым окончаниям. Я писал своих героев такими, каковыми они были. Им казалось, что они «штурмуют небо», создают новый мир, верили в братство народов — романтическое, трагическое, обманутое, выбитое и погибшее поколение.

Многие читатели просят продолжить повествование, довести его до нынешних дней. И мне этого хотелось. И есть сюжет нового романа. Но...

Я бродил по дорожкам Переделкина, где прожил более сорока лет рядом с другими писателями. Из них я остался один — самый долголетний здесь житель. Того, моего Переделкина уже нет. Не потому, что живут тут моло-

дые — это естественно. А потому, что вторглись сюда нувориши, наглые, нахрапистые, с мордастыми охранниками — завели и они своих преторианцев.

И все равно Переделкино навсегда сохранится в памяти России — здесь жили ее писатели, их ломали, угнетали, высылали, расстреливали, и все равно они были. Они ничего не могли изменить. И может ли что-то изменить литература? В стране Пушкина и Толстого появился Сталин, в стране Гете и Шиллера возник Гитлер. Однако, не будь Пушкина и Толстого, Гете и Шиллера, человечество бы совсем одичало. И без писателей, живших и творивших в невыносимых условиях, одичала бы и наша страна. И то, что знаю я об этой литературе, о людях, ее творивших, я должен рассказать, рассказать, как жил и работал писатель в моем времени, в XX веке, самом кровавом в истории человечества, веке двух мировых войн, революций, гитлеровской и сталинской тираний.

Когда-то мы, юноши и девушки, были убеждены: после страшных уроков мировой войны человечество больше этого не допустит. Порукой тому — международная солидарность трудящихся. Прошло двадцать лет, и разразилась новая война, еще более кровавая. И после нее, с 1945 года и по сей день, в мире произошло еще 46 войн. В них погибло 6,5 миллионов человек, 42 миллиона оказались беженцами. Прекратится ли это безумие?

«Когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся...», «Пройдет вражда племен, исчезнут ложь и грусть»... Сбудется ли это когда-нибудь?

В восьмидесятых годах как-то летом мы с Таней поехали в совхоз «Игнатьевское» под Малоярославцем, наш друг снял нам дом, там я делал последние поправки к «Детям Арбата». Пришел мужичок, невзрачный, неказистый, с жидкой бороденкой, кивнул на нашу стоявшую возле дома машину:

— Слетай на станцию, там буфет до пяти работает, привези бутылку, тебе полстакана. — И протягивает деньги.

— Некогда, работать надо.

— Работать? Писать, что ли?

— Ага, писать.

— А чего писать-то? Все уже написано.

Мы посмеялись. Может быть, прав мужичок — все уже написано?

Был у меня японский корреспондент, брал интервью, узнав, что я работаю над новой книгой, удивился:

— У нас писатели вашего возраста уже не пишут, ходят на приемы.

Возможно, не пишут, возможно, ходят на приемы.

И все же надо писать.

И вот написан этот роман-воспоминание.

Трудно сказать, что остается в памяти от нашего прошлого. В тяжелое время жили, тяжелую жизнь прожили, но это была твоя жизнь, жизнь твоих близких, твоего народа. Я не праведник, были ошибки, заблуждения, были люди, которых я заставлял страдать, собственные страдания не оправдывают. Ничего не вернешь, не вычеркнешь, не изменишь. Но были и просветления, был порыв к правде, к искуплению.

Теперь начал новый роман. Трудно. 86 лет как-никак.

Хватит ли времени?

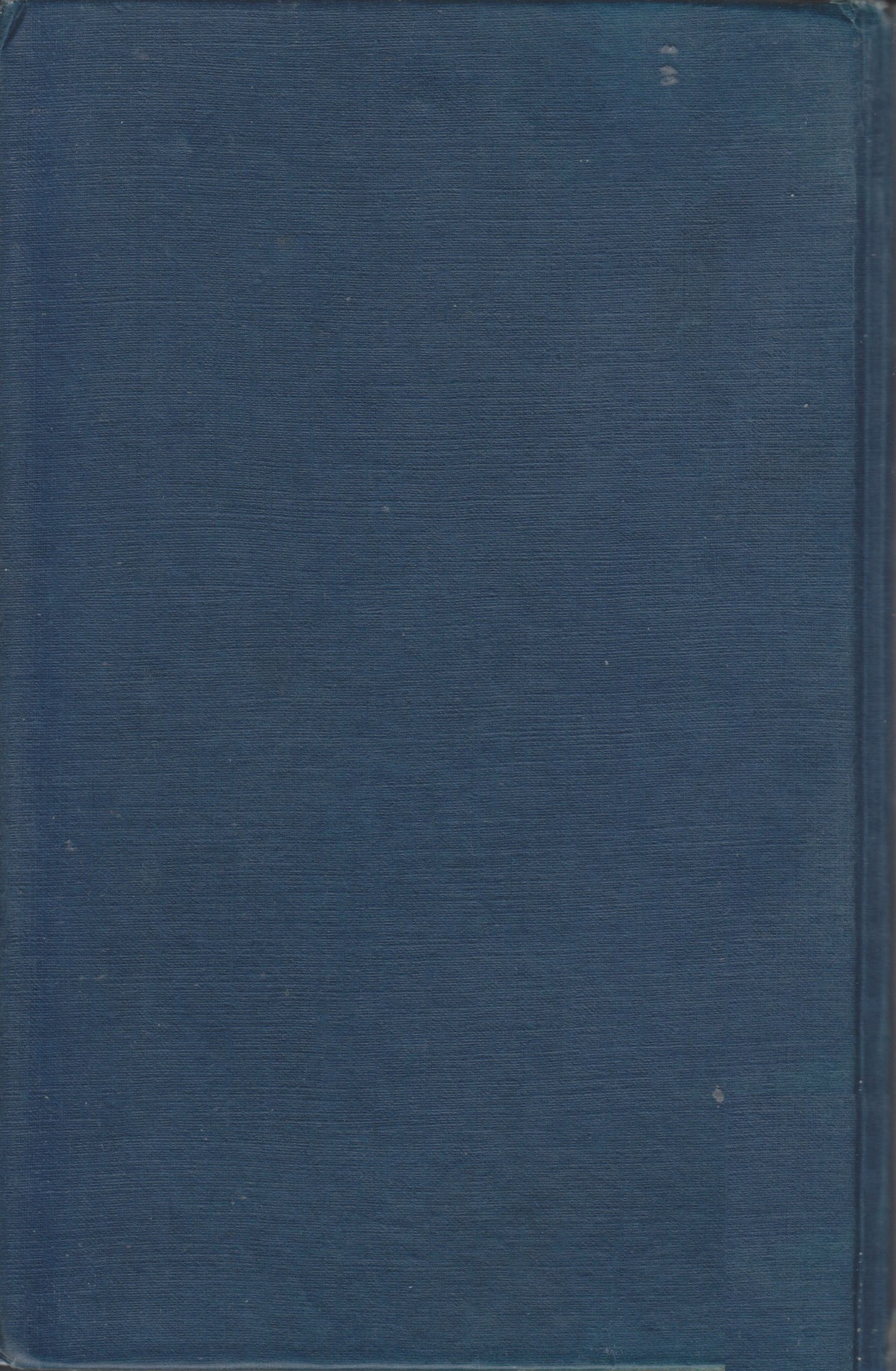
Анатолий Наумович Рыбаков
Роман-воспоминание

РЕДАКТОР
А.С. Захаренко
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
О.Г. Дмитриева
ТЕХНОЛОГ
М.С. Белоусова
ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ
А.В. Волков
ЗАВ. КОРРЕКТОРСКОЙ
А.Ю. Минаева
ЗАМ. ЗАВ. КОРРЕКТОРСКОЙ
Н.Ш. Таласбаева
КОРРЕКТОРЫ
В.А. Жечков, С.Ф. Лисовский

Издательская лицензия
№ 101053
от 4 апреля 1997 года.
Подписано в печать
30.07.97.
Формат 60×90/16
Гарнитура Таймс.
Печать офсетная.
Объем 21 печ. л.
Тираж 20 000 экз.
Изд. № 502.
Заказ № 15.

Издательство «ВАГРИУС»
103064, Москва, ул. Казакова, 18

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Государственном
ордена Октябрьской Революции,
ордена Трудового Красного Знамени
Московском предприятии
«Первая Образцовая типография»
Государственного комитета РФ
по печати
113054, Москва, Валовая, 28.



Анатолий Рыбаков
родился 14 января 1911 года
в городе Чернигове. С 1919 года живет
в Москве. 5 ноября 1933 года,
будучи студентом Транспортного
института, арестован и осужден по
печально известной статье 58-10
("контрреволюционная агитация
и пропаганда") на три года ссылки.
После окончания ссылки скитался
по стране, работал шофером, слесарем,
и даже... учителем танцев.
С самого начала войны мобилизован
в армию. Прошел с боями от Москвы до
Берлина, награжден
многими орденами и медалями.
Первая его повесть, "Кортик", вышла
в 1948 году и сразу имела огромный
успех, как и другие книги
писателя – "Водители", "Бронзовая
птица", трилогия "Приключения Кроша",
"Тяжелый песок"...
А роман "Дети Арбата", вышедший
в 1987 году, стал настоящим событием
в литературной жизни не только России,
но и всего мира.
Впоследствии Арбатскую трилогию
завершили романы "Страх" и
"Прах и пепел".
Анатолий Рыбаков -- лауреат
Государственных премий СССР
и РСФСР. Почти все его произведения
были экранизированы в кино
и на телевидении.



ВАГРИУС

Анатолий Рыбаков

РОМАН–воспоминание









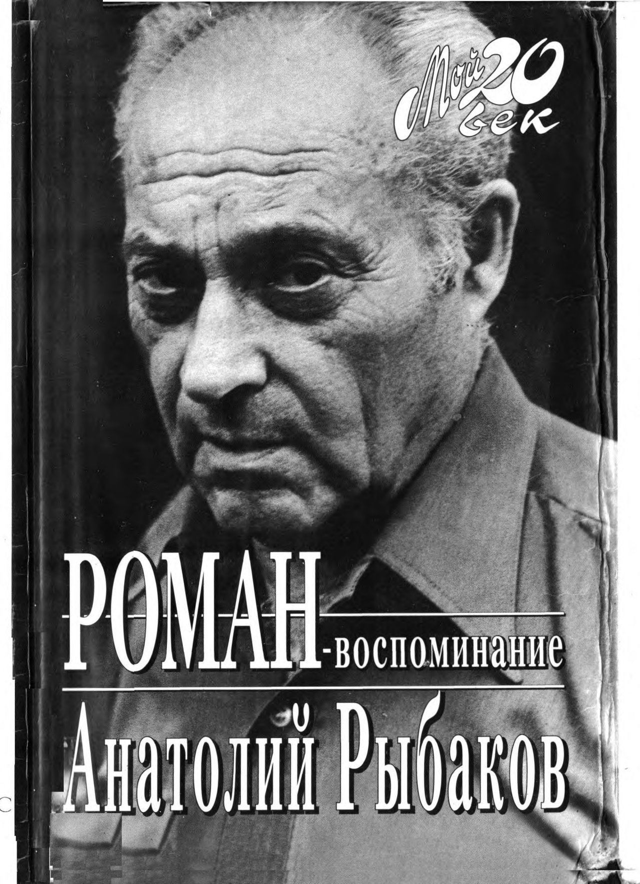


ВАГРИУС



Анатолий Рыбаков

ВАГРИУС



Судьба Анатолия Рыбакова
вместила в себя все ключевые моменты
истории нашей страны
в XX веке, начиная с Октябрьской
революции. Он был первым пионером
и комсомольцем, студентом
и солдатом, строителем
и заключенным, лауреатом Сталинской
премии и опальным писателем.
Его хвалили и ругали, печатали
миллионными тиражами и запрещали.
Не смогли только одного – сломить.
Долгая жизнь писателя легла на
страницы произведения, названного
им лаконично и всеобъемлюще --
"Роман-воспоминание".
В нем много героев –
Сталин и Хрущев, Горбачев и Ельцин,
Каверин и Твардовский,
Трифонов и Окуджава...
Но главный герой – Время, ничем
не приукрашенное, подлинное
и вечное, живущее и дышащее.





ВАГРИУС